ДЭМ

DEM

Князь
Сергей Евгеньевич
Трубецкой

МИНУВШЕЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги - потомок известной аристократической семьи, сын философа Евгения Трубецкого - живо и увлекательно вводит читателя в атмосферу русского общества накануне революций 1917 года. Пройдя тяжкие испытания, выпавшие на его долю в первые годы советской власти, приговоренный к смертной казни по надуманному обвинению и высланный затем из СССР, он стремится в своих воспоминаниях подчеркнуть идеи добра, справедливости, любви к Родине.

- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- ДЕТСТВО
- НАШЕ ВОСПИТАНИЕ
- 1905 ГОД
- СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
- ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
- ВОЙНА 1914 ГОДА
- НА САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ
- РАБОТА В ЗЕМСКОМ СОЮЗЕ
- О КОМАНДНОМ СОСТАВЕ РУССКОЙ АРМИИ
- РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА
- РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕТРОГРАД
- РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕРЕВНЯ
- МОСКВА
- ОКТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
- ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАГОВОРЫ
- БОЛЬШЕВИЦКАЯ МОСКВА
- АРЕСТ. ТЮРЬМА
- ВЕРХОВНЫЙ ТРИБУНАЛ РСФСР
- ТАГАНСКАЯ ТЮРЬМА. МАЛОЛЕТНИЕ ПРЕСТУПНИКИ
- МОСКВА. ВЫСЫЛКА ЗА ГРАНИЦУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминания князя Сергея Евгеньевича Трубецкого (1890—1949), старшего сына известного русского философа и общественного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого (1863—1920), представят, думается, большой интерес для нашего читателя. Они написаны вдали от Родины, когда у автора не было ни малейшей надежды вернуться на родную землю. Но не только ностальгические мотивы были главным побуждением автора написать свои мемуары. Он прежде всего пытается осмыслить жизнь целого поколения на примере ярких представителей русской интеллигенции, многие из которых в силу ряда обстоятельств оказались за пределами родного Отечества.

Воспоминания охватывают период с 90-х годов прошлого столетия до начала 30-х годов нынешнего, но многие размышления автора звучат весьма современно и сегодня. Конечно, восприятие революции Трубецким мы не во всем приемлем. Но вместе с тем автору удалось воссоздать историческую обстановку той эпохи. Позиция его высказана на последних страницах воспоминаний, проникнутых любовью к Отчизне и тревогой за ее судьбу.

Что привлекает в мемуарах князя Трубецкого? Прежде всего — высокое нравственное звучание книги в целом. Мысли Трубецкого во многом перекликаются с идеями Толстого, Чехова, Успенского, с нравственными исканиями передовой русской интеллигенции.

Читатель имеет возможность ознакомиться с особенностями воспитания в семье Трубецких, где превыше всего ценились честь и достоинство, где презиралась ложь, а отношения между детьми в взрослыми основывались на взаимной любви, доброте и душевной щедрости.

Настоящие мемуары - это не только бытописание или любование автора собственной молодостью. Здесь ощущается болезненный надлом его души в силу тех исторических испытаний, которые обрушились на Россию. Но что особенно важно — это не поза обиженного аристократа, а размышления много пережившего и однажды приговоренного к смерти человека. Как вспоминает Трубецкой, в ожидании приговора в тюрьме ВЧК главным для него было — сохранить присутствие духа и принять смерть достойно.

Трубецкой много рассказывает о встречах с революционерами. Казалось бы, здесь мы вправе ожидать самых

резких эпитетов в адрес революционного народа, «мужиков», отнявших все его состояние, тех, кто заточил его в каземат. Но ничего подобного читатель не встретит. Как настоящий историк, Трубецкой придает своему повествованию беспристрастность документа. Мало того, целый ряд описанных в книге эпизодов выдает его прямое сочувствие, понимание, а то и симпатию некоторым социально чуждым ему представителям общества.

Необходимо особо подчеркнуть, что данные мемуары — еще одно, пусть и глубоко личное, однако свидетельство событий тех далеких лет, а их автор — наш соотечественник, с болью в сердце заверивший тех, кто прочтет его исповедь: «Будет ли наш прах покоиться в родной земле или на чужби-не—я не знаю, но пусть помнят наши дети, что где бы ни были наши могилы, это будут русские могилы, и они будут призывать их к любви и верности России».

В тексте книги сделаны отдельные сокращения, касающиеся описания второстепенных, малозначимых для современного читателя событий и оценок.

Сохранено своеобразие написания отдельных слов и выражений, составляющих, на наш взгляд, неповторимый колорит языка того времени.

Руднев Н. А.,профессор, доктор социологических наук

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

Я родился 14 февраля 1890 г. (по старому стилю) в Москве, в доме моего деда с материнской стороны, кн. А. А. Щербатова, на Большой Никитской, № 54.

Родился я в «приемный день» моей бабушки, кн. М. П. Щербатовой, но, конечно, по случаю моего рождения прием был отменен.

По тогдашним обычаям, в великосветских домах швейцар вел книгу посетителей. В день моего рождения страница книги осталась пустая. Но дворецкий Осип приказал швейцару единственным посетителем записать *меня* —полным моим именем — ив графе адреса записать «здесь». Впоследствии я сам видел эту запись в огромной, переплетенной книге. Этот поступок был типичен для Осипа: он любил порядок, форму и церемониал. Через несколько дней после моего рождения мой дед показал меня Осипу и спросил, на кого я похож. «Лоб *наш,*—отвечал он,— об остальном не могу доложить Вашему Сиятельству». *«Наш»* — означал Щербатовский:

Осип, как и многие старые слуги того времени, чувствовал себя заодно со своими господами — «своей фамилией», как говорил он.

Мой отец говаривал, что наше детство и детство его поколения не так уж различны между собой. Совсем другое дело, говорил он, детство его родителей (моих дедов) и детство его собственного поколения: между ними легла резкая черта — уничтожение крепостного права.

Между моим поколением и поколением моих детей прошла другая, несравненно более глубокая черта — большевицкая революция.

Уничтожение крепостного права, разумеется, очень глубоко отразилось на той аристократической и помещичьей среде, к которой принадлежали все наши деды и прадеды, как с отцовской, так и с материнской стороны. Однако ломка жизненных условий была тогда относительной: тут была эволюция, а не революция. Старое отживало и постепенно уходило, а не рухнуло так, как это случилось на нашей памяти.

Существенные рамки жизни нескольких поколений наших предков оставались в общих чертах теми же. Атмосфера, в которой они жили,— атмосфера героев «Войны и мира», кажется мне лично и многим людям моего круга и поколения донельзя родной и близкой. Другое дело атмосфера жизни наших предков Петровской эпохи, а тем более до-Петровской, или даже до-

Московского времени. Эти эпохи для нас уже не живы: мы можем их *знать,* но не можем уже их полностью *чувствовать.* Вряд ли разрыв между жизнью нашей и наших детей меньше, чем разрыв между нами и Петровской эпохой. Несколько уменьшает этот разрыв лишь возможность живого общения нового поколения с поколением нашим, жизненными корнями своими уходящим в «потонувший мир». Я принадлежу к последнему поколению, знавшему *лично* помещиков и крестьян, живших в эпоху крепостного права. Хотя эта личная связь была у меня лишь в детские годы, она позволяет мне не только понимать, но и *переживать* тогдашнее время. Однако этой связи с прошлым мы нашим детям уже не можем передать: близкое и живое для меня время моих дедов — для них уже перешло в сухую Историю... Теперь, дай Бог, чтобы наши дети хотя бы отчасти, но живо, почувствовали столь близкое и вместе с тем столь далекое время нашего детства.

1894 год. Мне 4 года, брату Саше — 2. Мы сидим на диване в «проходной детской» нашего киевского дома. Няня и подняня одевают нас на прогулку. Вдруг входит Мама, и мы видим, что она чем-то взволнована. Она говорит, что Государь умер (Александр III). В комнату входят люди («люди», вот тоже слово, чуждое новому поколению!)—Иван, Митрофан, Анета, кто-то еще... все крестятся, все глубоко переживают... «Царь умер»,— повторяю я, и на меня это производит впечатление не меньше, чем если бы упала часть неба... «Теперь все будет не так, как прежде, все переменится»,— думаю я (хотя и не понимаю, что именно переменится),—и, уж конечно, мы не пойдем сегодня гулять...» Но в этом я ошибся: гулять нас повели, и я ясно помню ощущение в городе какой-то торжественной придавленности; все переживали событие и это живо передавалось моей детской душе. На рукавах офицеров начали появляться черные, траурные повязки, а афишные столбы заклеивали белой бумагой. Это произвело на меня большое впечатление: «Да, теперь, должно быть, все будет только белое или черное,— думаю я.— Царь умер; что теперь будет с нами, с Киевом, с Нарой, с Россией?» Это было детское, но очень глубокое патриотическое и монархическое переживание,— переживание личное, но в то же время — коллективное. Россия была еще тогда глубоко монархична, и это личное переживание дало мне в дальнейшем не только понять, но и почувствовать *дух* многих рассказов людей поколения моих дедов, с их, ничем не затронутым, цельным и органическим монархическим миросозерцанием.

Помню, как тогда наш лакей Иван, бывший обычно не в ладах с няней, проникновенно говорил с нею о смерти Государя... А

десяток лет спустя тот же Иван, узнав о революции в Китае, восторженно произнес:

«Там теперь республика, то-то народ блаженствует!»

Надо признать, что не революция подорвала в русском народе его монархический дух: дух этот хирел уже раньше и тем самым создал самую возможность революции. Уже десять лет спустя после смерти Императора Александра III дух русского народа был не тот, который я ощутил и пережил тогда ребенком. При этом монархическое чувство хирело не только у тех, кто был задет революционной пропагандой. Я сам, будучи принципиальным монархистом, с огорчением не ощутил в себе *живого* монархического чувства при торжественном выходе Государя в Москве, в начале войны 1914 года. В том же признавались мне и другие убежденные монархисты, например Сережа Мансуров, а потом, уже в большевицкой тюрьме, А. Д. Самарин и другие...

Да что говорить о детских проявлениях монархического чувства, если наши чувства к родителям, самый дух наших семей ощущался тогда иначе,

Отец и мать, деды и бабки были для нас в детстве не только источниками и центрами любви и непререкаемого авторитета; они были окружены в наших глазах еще каким-то ореолом, который не знаком новому поколению. Мы, дети, всегда видели, что к нашим родителям, к нашим дедам не только мы сами, но и многие другие люди, в первую голову многочисленные домочадцы, относятся с почтением. Высокий социальный ранг, материальная независимость, иногда значительное богатство — казались совершенно естественной и неотъемлемой принадлежностью *обязывающей* —«noblesse oblige». Наши отцы и деды были в наших детских глазах и патриархами и семейными монархами, а матери и бабки — семейными царицами. Мы прекрасно понимали, что «простые» дети любят своих родителей (мы даже не могли бы представить себе обратного!), но у нас было еще какое-то дополнительное чувство иерархического почтения к нашим родителям и дедам. В нынешнее время и любовь, и почтительность принимают «облегченные» и «упрощенные» формы. Я никогда не был сторонником такого «упрощения» семейных отношений. Все можно довести до абсурда: усложнением — довести до формализма, упрощением — до нигилизма... В наше время опасности «переусложнения» я не вижу, наоборот, опасность «переупрощения» я вижу во многих семьях...

Лев Толстой говорит, что помнит себя, начиная с возраста в несколько недель... Даже в этом, скромном отношении, я не могу

сравниться с Толстым, и мои самые ранние, достоверные и яркие воспоминания относятся к возрасту 3—4 лет.

Правда, есть у меня смутные воспоминания и более ранние, но я не уверен, не плод ли это моего воображения на основании рассказов старших. Так, например, мне кажется, что я неясно, но все же помню мою бабушку Щербатову, склоняющуюся над моей кроваткой. Но бабушка скончалась, когда мне было всего два года, и очень может быть, что тот смутный образ, который встает из моей памяти, относится не к ней, а к какой-нибудь другой даме.

Начиная с 3—4 лет мои воспоминания носят совершенно иной характер: они эпизодичны, как вообще все детские воспоминания, но несомненно реальны и очень живы. Иной раз, непонятно почему, в моей памяти запечатлелись — и с какой яркостью! — совершенно незначительные сцены моего детства. Например, я помню, как будто это было вчера, такую картинку. Я стою на утренней молитве в нашей киевской детской. Я ясно помню не только отдельные предметы обстановки, но даже освещение, падающее из окна. Я еще не дорос до того, чтобы носить штаны,— в те времена маленьких мальчиков долго одевали в платья, как девочек. Няня повязала мне поверх белого платьица широкий и жесткий темно-красный муаровый кушак и завязала его сзади бантом. Я заметил, что бант этот настолько велик, что я могу видеть его концы, если смотреть через плечо, и это мне очень понравилось. И вот, во время молитвы, я, вполне сознавая, что это непозволительно (это я хорошо помню), тихо поворачиваю голову, чтобы взглянуть на бант через левое плечо. Няня стоит сзади меня и говорит слова молитвы. Я их повторяю. Она замечает мое движение и словом останавливает его. Я продолжаю молиться. Однако искушение слишком сильно, и я начинаю тихо и, мне кажется, незаметно поворачивать голову так, чтобы взглянуть на бант с другой стороны, при этом я старательно продолжаю повторять слова молитвы... Увы, мое движение замечено! На этот раз няня ничего не говорит, но моя правая щека встречает ее руку, которая не только не дает мне продолжать запретное движение, но приводит мою голову в исходное положение... Мне обидно не только то, что я не увидел банта, но еще более того, что моя хитрость не удалась...

Мне часто приходилось слышать, что детские воспоминания рисуют исключительно *внешние* явления. Мои личные воспоминания резко этому противоречат: я очень ясно помню не только внешние события, но и мои душевные переживания. Более того, я очень определенно чувствую единство моей личности с самых первых лет и до сих пор и не чувствую никакой грани

между своей «детской» и «взрослой» психологией. Судя по моим воспоминаниям, взрослые обычно склонны считать детей более «детьми», чем это является на самом деле, и приписывать им какую-то надуманную «детскую психологию», далеко не всегда совпадающую с действительной. С ранних лет я понимал, что взрослые — даже самые умные — в этом сильно ошибаются, и мне были ясны многие их «промахи», но я всегда старался не показывать вида, что понимаю их «хитрости»: они обычно выгодны для детей... Например, когда мы в детстве покупали что-нибудь на подаренные нам деньги, взрослые постоянно уменьшали цены наших покупок, чтобы у нас осталось бы побольше денег... Они думали, что мы этого не замечаем или не понимаем. А мы, между тем, только делали вид, что не понимаем, но понимали не только это, но и то, что нам это очень выгодно... Много друзей моего детства говорили мне то же самое. Я уверен, что теперь я сам делаю такие же психологические ошибки в отношении моих детей.

Вот еще картина из моего раннего детства. Я совершенно ясно помню свои тогдашние переживания. Дело происходит летом 1894 года. Мне 4 года. Доктора послали мою мать лечиться за границу, с нею поехал и мой отец, а мы с двухлетним братом Сашей были оставлены в подмосковной моего деда Щербатова, Наре, на попечение его самого и старой немецкой гувернантки моей матери, Fraulein Thekia Kampfer («Теклички»), которая была совершенным членом Щербатовской семьи. Мы, дети, как и взрослые, очень ее любили (слава Богу, она не дожила до Русско-Германской войны!). Разумеется, при нас были наши няня и подняня.

До момента отъезда моих родителей я как-то не осознавал полностью, что буду с ними разлучен месяца на два. Настал день отъезда. После общей молитвы мои родители сели в экипаж, запряженный четверкой лошадей (я прекрасно помню караковую пристяжную, Красавчика). На козлах сидел кучер Гурьян (бывший крепостной) и «выездной» Алексей,— этот выездной казался мне тогда совершенно естественным. Мама старалась нам улыбаться на прощание, но меня поразил странный блеск ее черных глаз на ее очень худом и страшно бледном лице. Сидя в коляске, Папа и Мама перекрестили нас с братом. «С Богом, пошел!» — сказал Папа Гурьяну, но тут произошла короткая заминка: Красавчик переступил через постромку. «Трогай!»—раздражительно крикнул Дедушка, не заметивший причины задержки. К пристяжной бросилось несколько человек, в том числе старый кучер Никита, с белой бородой по пояс; мигом все было исправлено, и четверка тронула тяжелую коляску с места крупной рысью. Папа махал

шляпой и что-то кричал, Мама глядела на нас...

Я стоял в оцепенении, но выкрик Дедушки, хотевшего скорее положить конец тяжелой сцене расставания, вывел меня из равновесия. Только коляска тронулась, я дико заревел и, оттолкнув руку милой Теклички, которая хотела вести меня домой угощать в неурочный час какими-то замечательными сладостями, бросился бежать по аллее к дому и помчался наверх, в детскую. Там я вскочил на полосатый диван (как ясно я его помню!), начал топтать его ногами и кричать, что я «не хочу, чтобы Мама уехала!». Няня всячески пыталась меня успокоить, но тщетно: я продолжал кричать и бесноваться по дивану. Пришла Текличка, ноэто не помогло... Меня оставили одного — и правильно сделали! Скоро я стал отходить и, хотя не переставал кричать и плакать, я начал чувствовать, что веду себя совершенно непозволительно и что я кругом виноват. Новыми взрывами крика и усиленным топотом я старался заглушить в себе голос раскаяния. «Мама говорила мне, что я теперь большой мальчик и должен показывать Саше хороший пример,— говорил мне внутренний голос,— а я вот что делаю!» Мне становилось все более стыдно. Я уже стал уставать от крика и топота, а голос раскаяния все усиливался: зачем я обидел няню и Текличку?!

Вдруг я услышал из соседней комнаты голоса Теклички и... Дедушки,—Дедушки, появление которого в наших комнатах в это время было совсем необычным... «Они, конечно, идут меня бранить»,— подумал я. В глубине души я считал, что меня действительно очень и очень стоило бранить, и что Мама была бы совсем недовольна мной...

Дедушка и Текличка, однако, не вошли ко мне, а продолжали тихо говорить между собой по-немецки. Я тогда не понимал этого языка, но по интонации голосов я прекрасно понял, что они не возмущены моим поведением, а... жалеют меня!

Все разом переменилось во мне! Оказывается, поведение мое не возмутительно, наоборот, меня надо жалеть! Новая волна криков и бешеного топтания...

Не помню, сколько времени это продолжалось, но я вижу себя в комнате Теклички; по моему лицу еще не перестали течь слезы, но я ем что-то очень вкусное, а Текличка рассказывает мне, на своем ломаном русском языке какой-то чрезвычайно интересный рассказ.

Огромное большинство взрослых считают, что детство — «самый счастливый период жизни». Мне кажется, что и тут мы отчасти имеем дело с той психологической ошибкой, о которой я говорил выше: взрослые неправильно судят о детской психологии.

Конечно, тех тяжелых забот, того горя, которое мы испытываем в позднейшие годы, дети, к счастью, обычно не знают, а то, что представляется им горем, часто кажется нам, взрослым, достойным улыбки. Но надо перенестись в душу ребенка и понять, что даже то его горе, которое представляется взрослым пустяком, для него самое настоящее горе и он от него действительно тяжело страдает. Правда, утешается ребенок гораздо скорее взрослого, но зато всякую мелкую неприятность он воспринимает куда острее.

Я помню, как шести лет, в Тироле, я изобрел очень веселую игру: я сделал что-то вроде саней из большой картонной коробки, в которой нам прислали пальто из магазина в Вене, и катал в этих санях четырехлетнего брата по комнатам или притягивал на блоке. Эта игра особенно нравилась Саше. Настал день отъезда. Вещи все уложены, и вдруг мы видим, что нашу картонку не уложили... ее оставили! Как «большой», я отнесся к этому довольно философски, тем более что в Риме, куда мы ехали, нам обещали дать другую большую картонку, чтобы сделать новые сани. Но Саша воспринял это совсем трагически: он хотел взять с собой именно эти сани, которые он полюбил. Взрослым казалось, что они в конце концов утешили Сашу, но это было не так.

В момент отъезда Саша пропал. Его нашли в каком-то уголке, в своих «санях», обессилевшего от слез: «je voudrais mourir»...— шептал он.

С высоты моих шести лет я смотрел на Сашу с иронической жалостью, но разве это не было *настоящее* и глубокое горе, пускай скоропреходящее?

А сколько тяжелого испытывают даже самые счастливые дети от подчас даже незаметных для взрослых уколов обостренного детского самолюбия! Сколько страданий — не только физических, но и нравственных — причиняют в раннем возрасте хотя бы обычные и благожелательные приказания взрослых: «ты должен доесть, или допить это!»

А ученье! Мне лично оно давалось легко, и все же систематическое изо дня в день ученье казалось мне иногда «рабством».

И все же, оглядываясь назад, я не только ни в чем не могу упрекнуть моих родителей, но я им всецело благодарен. Я отнюдь не жалею, что наше образование и воспитание не были «свободными» в смысле потаканья ребенку, как это, к сожалению, уже тогда практиковалось в некоторых семьях. Мало за что я так благодарен моим родителям, особенно моей матери, руководившей нашим воспитанием, как за ту дисциплину, отнюдь не жесткую, но систематическую, к которой нас приучили с

детства. Эта дисциплина, вошедшая в плоть и кровь, облегчила и облегчает еще мне многое в жизни. Но все же эта необходимая и разумная дисциплина не может не давить иногда на ребенка, особенно с живым характером. Он не может не чувствовать себя, как жеребенок, на которого впервые накидывают оброть, а потом и узду...

Лично у меня детство было счастливее юности, но в общем, я считаю, что, если можно говорить о «самой счастливой поре жизни», то эта пора скорее — юность, «университетские годы», а не детство.

Из моих рассуждений о детском горе вовсе не следует, что я сам был, в какой бы то ни было мере, несчастным ребенком. Напротив, я могу только благодарить Бога и родителей за мое светлое и чрезвычайно счастливое детство.

В нашей семье с самого раннего детства я слышал не только хорошие слова, но, что гораздо важнее, всегда видел только хорошие примеры и рос в атмосфере любви.

Мой отец очень любил маленьких детей и умел с ними обращаться; он не находил подхода к мальчикам переходного возраста и совсем не понимал их, но затем он опять сближался с нами в юности.

Как почти все дети, мы в раннем возрасте больше любили Мама, чем Папа, хотя мы и его очень любили и чтили до чрезвычайности. Я помню, как семи лет на первой исповеди я каялся, что «меньше люблю Папа, чем Мама». Отец Климент Фоменко меня не понял и долго говорил мне, что надо любить Папа, что наш Папа очень хороший и что все его любят и почитают, и что это большой грех — не любить отца... Я со слезами в голосе повторял: «Но я очень люблю Папа!» — «Но тогда что?» — с недоумением произнес о. Климент. Мама отнеслась к моим мученьям по этому вопросу гораздо тоньше, чем о. Фоменко, и авторитетно объяснила мне, что я просто ошибаюсь и не понимаю своих чувств. «Дети,— сказала Мама,— любят своих Папа и Мама*по-разному,* но это не значит, что они любят одного больше, чем другого, и ты любишь нас с Папа*одинаково*и больше об атом не думай». Такое объяснение Мама меня совершенно удовлетворило и успокоило.

Чтобы понять наше детское отношение к Папа, надо почувствовать особую атмосферу нашего дома. Папа был ученый и философ и обладал огромной способностью отвлечения (в «Из прошлаго» Папа писал об этой черте у своего отца и брата, так что эта черта — семейная, да и у меня она тоже имеется). Уходя к себе в кабинет заниматься, Папа как будто покидал землю и уходил в какие-то другие, нездешние области. Иногда это

случалось с ним и не в кабинете, и тогда он делался совершенно отсутствующим, что порой смущало мало знавших его людей. Для нас это было обычно, и мы прекрасно понимали, когда Папа с нами, а когда он уходит в какой-то таинственный для нас мир, и это даже придавало Папа в наших глазах особый ореол — он был совершенно не как остальные люди и возвышался над ними.

Папа ежедневно весело играл с нами вечером, после обеда, и мы чувствовали себя с ним совершенно просто. Сразу после обеда, до подвижных игр, мы с братом усаживались по бокам Папа на большой тахте в гостиной и он с большим талантом в течение нескольких лет рассказывал нам нескончаемую историю и приключения «Коли и Миши». Некоторую способность в этом отношении я унаследовал от Папа, и в дальнейшем мне приходилось много рассказывать разных историй моего изобретения моей младшей сестре Соне и другим детям, в частности своим старшим дочерям. Младшим своим детям я очень мало рассказывал и в этом отношении тоже как бы соблюл традицию: Папа много рассказывал нам — старшим мальчикам, и почти ничего не рассказывал сестре Соне, родившейся на 10 лет позднее меня.

Не помню, сколько лет мне было, когда я вообразил, что «большому мальчику стыдно слушать рассказы», и хотя мне на самом деле очень хотелось Продолжать слушать Папа, я демонстративно покинул традиционную тахту, ааявив, что теперь я слишком велик для того, чтобы слушать «Колю и Мишу»... Недолго после этого Папа рассказывал одному Саше, но скоро рассказы совсем прекратились.

Когда Папа общался с нами, мы чувствовали себя с ним совершенно просто, но когда он «начинал о чем-то думать», а тем более уходил в свой кабинет, отношения между нами совершенно прекращались. Нам было запрещено входить в кабинет Папа, когда он занимается, но мы и так не посмели бы туда войти. В кабинете Папа был окружен для нас какой-то мистической атмосферой, и мое почтение к нему в раннем возрасте принимало чуть ли не религиозные формы.

Не помню, сколько мне было лет, когда мне впервые вместо платья надели мальчишеские штаны. Я был в восторге. «Жалко, Папа не видит!» — сказал я. «Пойдем к нему»,— предложила Мама. «Но он в кабинете!»—произнес я. Мама взяла меня за руку и повела к кабинету: «Папа захочет поскорее увидать тебя большим мальчиком». Не без робости я постучался в дверь. «Войди!» — не тотчас ответил Папа и, когда я вошел, посмотрел на меня поверх очков не то отсутствующим, не то строгим взглядом. Папа был не на земле, и Мама сделала

психологическую ошибку, думая, что он заметит, что я не в платье, а одет мальчиком. «Что такое?» — спросил Папа. Мое настроение совершенно упало... «Ты видишь, Женя, как одет Сережа!»—подчеркнуто радостным голосом сказала Мама. Папа понял, на минуту спустился на землю и совсем другим голосом произнес: «А-а!», и поцеловал меня... С ледяными руками я вышел из кабинета...

Мы боялись не Папа, а «Папа в кабинете», хотя и самого Папа мы все же боялись, несомненно, больше, чем меня — мои дети.

Припоминаю по этому случаю другую картину. Мама не было дома, а к нам зашла графиня Мусина-Пушкина, мать наших друзей детства, звать нас куда-то с ее детьми, на что требовалось разрешение Мама.— «А Папа дома? Спросите его».— «Папа в*кабинете»,*—ответил мой младший брат, и, взглянув на нас, графиня поняла, что пойти в кабинет просить разрешения Папа нам представляется почти столь же трудным, как влезть на небо и просить разрешения у самого Господа Бога. Но это, повторяю, был не страх, а какое-то полумистическое чувство... На этот раз все уладилось очень просто: в это время вернулась Мама и отпустила нас с Пушкиными.

Во многом такое наше отношение к «Папа в кабинете» было создано Мама. Мама всегда и всячески стремилась облегчить Папа возможность «уходить от земли», когда он этого захочет. Она во всем и всегда брала на себя неблагодарную роль Марфы, предоставляя Папа роль Марии, причем делала это так, что Папа этого не замечал или почти не замечал. Евангельская Марфа даже упрекнула Марию, что та ей не помогает в ее хлопотах, а Мама не только этого не делала, но, наоборот, всячески пыталась затушевать свою тяжелую и неблагодарную роль Марфы, старалась сделать свое служение незаметным. При характере Папа ей легко удавалось скрыть от него, сколько скучных и тяжелых забот и хлопот она принимала на себя одну, чтобы дать ему возможность «витать в эмпиреях». Этот умственный и духовный полет Папа был безмерно ценен. И Бог даровал ему для этого мощные крылья — но без каждодневного, смиренного марфинского подвига Мама эта редкая возможность отвлечения от земного была бы для Папа в такой же мере невозможна. Мама незаметно создавала*земные* условия для*надземного* парения Папа.

Переношусь мыслями в наш милый киевский дом — Левашевская улица, № 4 (через дом от дома Генерал-Губернатора). Этот дом был куплен Папа в 1893 г., к нему тогда же была сделана большая пристройка по плану, выработанному Мама. Здесь мы жили зимами (за исключением зим, проведенных за границей) с 1894 по 1906 год, когда наша семья переехала в

Москву. Я слышал, что дом этот сильно пострадал от обстрела во время гражданской войны и что в нашем саду похоронено много убитых; что стало с домом сейчас — не знаю. В этом доме я провел много счастливых дней и вспоминаю его всегда с любовью.

Внешний распорядок жизни нашей семьи был, для тогдашнего времени, очень обычным, теперь он представляется даже мне самому чем-то старинчатым.

Утром, от 8-ми до 9-ти, пили кофе. Я так ясно вижу строгий белый с черным фарфоровый сервиз, с золотым шифром Мама! (Ни одного предмета из этого столь памятного мне сервиза, как и из такого же сервиза столового, не сохранилось на память моим детям, ничего из старинного фарфора, серебра и кубков — ничего материального.)

Ровно в 12 часов, минута в минуту (Мама была аккуратна, а Папа аккуратен до маниакальности в вопросе времени, чем напоминал нашего прадеда, кн. Петра Ивановича), Иван докладывал Папа и Мама: «Ваше Сиятельство, кушать подано!» Иван был в черном сюртуке и белых перчатках — значит, завтрак (или обед) был простой, домашний, иначе он был бы во фраке. Нам это казалось более чем естественным, но моим детям — это было бы сейчас необычно! И это еще была «простота»: у Дедушки люди подавали в синих ливрейных фраках на желтой подкладке, пуговицы на ливреях были с гербами. Мне очень нравился ангел, держащий огненный меч, в щербатовском гербе, но еще больше нравился скачущий всадник с мечом в нашем собственном гербе...

За завтраком у нас было два блюда и десерт. В 3 часа был чай, в 6 часов — обед. Обычный обед был в четыре блюда, причем, конечно, пирожки и т. п. за блюдо не считались; при гостях было минимум 5 блюд и разные закуски. У Дедушки в городе за обедом было нормально 5 блюд («перемен») и кроме того разнообразные закуски; в деревне, как и у нас, было 4 блюда. В 9 часов подавался вечерний чай.

Оба мои деда, особенно Щербатов, любили покушать, отец же и мать относились к еде весьма равнодушно (особенно Мама), но, конечно, считали естественным, чтобы еда была очень хорошая. Несмотря на нашу «скромность» в еде, иметь кухарку, а не повара даже на ум не приходило, а повару был нужен еще помощник, а еще на кухне считалась необходимой специальная судомойка. Все это на семью из четырех человек (потом—пять, когда родилась сестра Соня). Еще была многочисленная прислуга, штат которой, искренно, казался нам очень скромным по сравнению, например, с большим штатом людей у Дедушки Щербатова. Дедушка же рассказывал, что штат прислуги у их родителей (моих прадедов)

был*неизмеримо* больше, чем у них. Так шло упрощение быта наших семей, из поколения в поколение, еще до всяких революций...

Как мы ни «скромно» жили, ели мы очень вкусно и, конечно, с теперешней медицинской точки зрения, слишком много. Часть прислуги (няня, девушка Мама) ели в «застольной», т. е. пользовались нашим «княжеским столом». Остальная прислуга ела за «людским сто» лом», который и по качеству и по обилию был бы для нас сейчас совершенно недостижимым идеалом. Наши люди ели «вволю»; только мясо (гораздо лучшего качества, конечно, чем то, которое мы, в микроскопических дозах и то не на каждый день, едим теперь) нормировалось, в городе — по фунту на человека в день, в деревне эта норма иногда повышалась. Кроме того, на «людской стол» шли остатки — часто значительные — «княжеского стола». О качестве и обилии «людского стола» можно было судить хотя бы по тому, с какой поразительной быстротой, до неузнаваемости, толстели поступавшие к нам «буфетные» и «кухонные» мужики.

Вина Папа пил очень мало, что не мешало все же, при всей скромности нашего погреба, выписывать из Германии бочонками любимый Папа рейнвейн, а специально для Дедушки держать какую-то замечательную мадеру. При званых обедах подавать за столом русское вино казалось тогда неприличным, для них было совершенно необходимо бордо — красное и белое — и, надо сказать, что такого Сотерна, или Икема, который я пил у нас и у других в России, во Франции мне пить не приходилось.— У нас были отличные наливки, запеканки и фруктовые ликеры домашнего изделия, но на обедах с гостями эти напитки не подавались, не говоря уже о разных квасах — хлебном, сухарном, клюквенном, яблочном, и водичках — черносмородиновой и др. Все это подавалось только за нашим обычным столом. Водки у нас в доме почти не употребляли, а мы с братом до самой Мировой войны ее совсем не пили (не считая иногда зубровки).

К столу подавалось и у нас и у всех родных и знакомых столько, что всегда можно было накормить нескольких случайных гостей. Традиционная русская «широта» сказывалась тогда во всем, и мы все так к ней привыкли, что просто ее не замечали, но черта эта поражала иностранцев,—не только гувернеров и гувернанток, приезжавших в Россию, но и иностранцев более высокого и богатого социального круга, привыкших у себя к тому, что мы тогда называли «европейской скаредностью» и к чему сейчас нас приучает жестокая нужда. У нас «широкими» должны были быть даже далеко не богатые помещичьи семьи, и общественное мнение принуждало к «широте» даже скупых

людей. Отчасти эта «широта» была проявлением традиционного русского гостеприимства и хлебосольства, отчасти пережитком «натурального» крепостного хозяйства. То, что я лично видел в этом отношении, совершенно не может идти в сравнение с тем, что было раньше. Так, за каждодневный стол моего прапрадеда Апраксина никогда не садилось меньше 40—50 человек, а часто и больше... Много дворянских семей разорилось от ставшего им непосильным хлебосольства, от которого они не могли отказаться. Можно сказать с уверенностью, что апраксинский открытый стол на полсотни человек уже больше не найдет подражателей; в свое же время Апраксин был яркий, но далеко не единственный образчик широкого барского радушия. Среди Трубецких прежних поколений можно назвать не одного, спустившего большое состояние вследствие безграничной широты своей природы.

Ни Папа, ни Мама не любили светской жизни: Папа непомерно страдал от всех пут и обязательств, которые она накладывает, и, как мог, от них уклонялся. Как «философу» ему в свете прощалось многое, за что осудили бы другого. Надеть фрак и ехать куда-нибудь для светского времяпрепровождения было для Папа действительно настоящим страданием. Всего больше он любил заниматься в своем кабинете, слушать серьезную музыку или проводить время в тесном семейном кругу. Однако горячий патриотизм и высокое чувство ответственности постоянно толкали его на путь общественного служения, к которому, по существу, у Папа было мало вкуса, но тут он не щадил ни сил, ни времени. То, что Папа писал в своем «Из прошлаго» про своего брата Сергея, относится одинаково и к нему самому.

Мама, как я говорил, тоже не любила светской жизни, но она все же не могла, в своей молодости, отказаться от нее столь же полно, как то сделал Папа; она и тут брала на себя некоторые скучные светские обязанности, хотя бы для того, чтобы освободить от них Папа. В частности, Мама была во всем очень далека от мира «профессорских жен», но принуждала себя поддерживать отношения с ними, чтобы не давать пищу нареканиям, что «княжеская семья снобирует профессорский мир»... Таким образом, Мама как бы прикрывала собой почти полное отступление Папа. В «настоящем свете» положение было проще, и Мама там было менее трудно, но в профессорской среде положение Мама, как «социально чуждого элемента» (сказали бы большевики), было куда сложнее и требовало с ее стороны много такта.

К счастью Мама, у нее в Киеве образовался небольшой, но тесный кружок друзей, из них на первом месте — кн. Н. Гр.

Яшвиль, наиболее богато и разнообразно одаренная женщина, какую мне пришлось знать. Дети ее были одними из наших друзей детства. По возрасту они были ближе к Саше. Бедная кн. Наталья Григорьевна, рано потеряв своего мужа, пережив обоих своих детей, для которых она исключительно жила, скончалась в 1939 году в Праге. Да будет ей легка земля на чужбине! Много светлых воспоминаний детства связано у меня с ее образом...

Зиму мы проводили в Киеве, в нашем доме, лето же в Наре (Верейского уезда), подмосковной Дедушки Щербатова, где провела свое детство и Мама.

В самом раннем детстве мы ездили летом в подмосковную Трубецких Меньшово (Подольского уезда). С тех пор как Дедушка Щербатов овдовел (1892 г.), чтобы не оставлять его никогда одного, его дочери чередовались при нем. Зимой с ним в его московском доме (Большая Никитская, 54, где я родился) жила со своей семьей моя тетя Новосильцева, а летом в Нару приезжали мы. Осенью мы иногда ездили вместе с Дедушкой в его огромное екатеринославское имение Хорошее (Павлоградского уезда), больше 20000 гектаров, там я впервые увидал безбрежные русские степи и почувствовал особую прелесть степного воздуха.

Нару; мы, дети, очень любили, и она была для нас родная. Большой недостаток Нары — близкое соседство с хлопчатобумажными ткацкими фабриками Якунчикова (впоследствии Цинделя), но в детстве мы этого недостатка почти не замечали.

Мне стоит закрыть глаза, и я вижу нас в Наре. Няня открывает шторы и окна, ив нашу комнату врывается ослепительный летний свет и пьянящий утренний воздух. Мы спешим одеваться. В соседней комнате нас уже ждет молоко. Мама приходит к нам здороваться. Папа еще не встал. Дедушка вставал часов в восемь, и Мама всегда спешила встать раньше него, чтобы пить с ним кофе.

Не успели мы поздороваться с Мама, как по коридору слышится хорошо нам знакомый звук шагов в туфлях, и в дверях появляется в халате верблюжьего цвета наш милый Дедушка. Лицо его так и сияет добротой и любвеобилием. Дедушка любил приходить к нам ежедневно в детскую здороваться, а вечером присутствовать при нашей молитве перед укладываньем спать.

— Поздно, поздно сегодня встаете! — говорит он, если застает нас еще в детской, а не в нашей столовой.

— А мы, Дедушка, уже давно встали,— говорим ему мы, если он застает нас в столовой.

— Знаю, как давно вы встали,— говорит Дедушка,- я только что вошли: я слышал! И обращается к Мама:

— Verotchka, tu es deja prete? Tu es encore plus matinale que moi!

— Mais non Papa, je me leve toujours a cette heure.

— Voulez vous prendre Ie cafe?[1]

Родители Дедушки, как все тогдашнее поколение, свободнее говорили по-французски, чем по-русски, но большинство поколения моего дедушки, и в том числе он сам, уже лучше говорило по-русски, чем по-французски. Однако, по традиции, Дедушка обычно говорил со своими детьми по-французски, а писать ему иначе чем по-французски его дети не смели, хотя это и затрудняло обе стороны. Для нас, внуков, в этом отношении было сделано большое послабление: мы писали Дедушке по-русски и, кроме того, говорили ему «ты», в то время как его собственные дети (наши родители, дяди и тети) говорили ему «Вы». Разумеется, оба деда, Трубецкой и Щербатов, тоже говорили своим родителям «Вы»; тогда дети «тыкать» родителей, конечно, не смели и помыслить.

Дедушка с Мама уходил вниз, а мы, кончив пить молоко, бежали с няней, а позже с гувернанткой, в аллею перед домом. Впрочем, раньше мы заходили в буфет, где ежедневно просили старого буфетчика Егора, с большими баками и бритыми усами, дать нам хлеба для лошадей. Из специального ящика Егор доставал много недоеденного вчерашнего хлеба и еще часто давал нам корки дыней и арбузов. Все это мы несли в корзине на конюшню, чтобы угостить лошадей. На подходе к конюшне нас охватывал столь мною любимый запах лошадей, конского навоза и хорошо смазанной упряжи. Как редко теперь приходится чувствовать этот запах! Кучера пускали нас в стойла и денники к «смирным» лошадям, а сами давали, на наших глазах, хлеб и дынные корки менее смирным. Мы обходили и угощали всех лошадей на «княжеской конюшне», а если оказывался остаток угощения, передавали конюху, который шел на «рабочую конюшню» и при нас раздавал его стоявшим там лошадям. Кучера считали, что рабочих лошадей мы сами кормить не можем: по-видимому, честь им была бы слишком велика...

Няня или гувернантка спешили увести нас с конного двора, мы же, напротив, любили оставаться там подольше. Там всегда было много интересного: то гоняют на корде застоявшуюся лошадь, то смазывают экипажи в каретном сарае, то работает шорник по мелкой починке сбруи, иногда кузнец кует лошадей... Старые кучера Никита и Гурьян любили наше утреннее появление на конном дворе, и тон их с нами представлял удивительное, но тогда обычное, смешение покровительства (как к детям) и почтительности (как к «князькам»). Из дома мы с братом сами

несли корзину с угощением для лошадей, но твердо установленный старыми кучерами этикет не позволял нам нести ее самим по конному дввру. Как только мы подходили к конюшне, корзину от нас брал встречавший нас кучер, но и он считал для себя неуместным носить ее, а вызывал для этого конюха, сам же он; идя впереди, отпирал для нас денники и кричал на лошадь: «Прими!», громко ударяя ладонью по лоснящемуся крупу...

Мне было лет шесть или семь, когда я однажды спросил кучера Гурьяна, почему он знает, что вновь купленная лошадь — кобыла? — «Сразу по всему видать,— с большим тактом ответил Гурьян,— потом сами будете узнавать».— «Чего, дурак, смеешься! — строго обратился он к конюху Павлу, несшему корзину с хлебом и почему-то улыбнувшемуся.— Понятие надо иметь!» Кучер Гурьян умел «политично» выражаться. Помню, как говоря о плохо выезженном Богатыре, он выразился с презрением: «не плейсированная морда, простой мужик!».

Для нового поколения стоит, пожалуй, отметить то, что нам представлялось совершенно естественным и не могло быть иначе: всем старикам кучерам, буфетчикам и даже дворецкому Осипу мы говорили «ты». «Ты» же мы говорили всем крестьянам и вообще «простому народу». Нам говорили «Вы». Впрочем, в народе тогда еще сохранялись исчезающие следы патриархальности, и некоторые говорили «ты» не только нам, детям, но и нашим родителям и Дедушке, при этом была в ходу оригинальная формула: «Ты, Ваше Сиятельство»...

У нас с Сашей на конюшне были, конечно, любимые лошади (мой любимец был Баскач), но когда, с семи лет, я стал ездить верхом в у меня появилась собственная Башкирка, подарок Дедушки, она затмила в моих глазах всех остальных лошадей.

С конного двора мы шли в парк, на огород, «на ферму» (так назывались в Наре хозяйственные постройки), изредка катались с Папа по реке Наре на лодке. На реке было много кувшинок — желтых и белых, но мы с презрением относились к желтым и стремились нарвать белых. В парке была «гимнастика», то есть разные гимнастические приспособления, устроенные еще для дяди Сережи Щербатова, были качели, гигантские шаги; у нас был детский огород, где мы разводили сами овощи (я этого никогда не любил, и занимался им Саша), был деревянный детский домик, в котором можно было сидеть и играть.

Без десяти минут двенадцать раздается звон колокола на аллее близ дома — это первый звонок к завтраку. Надо идти домой и привести себя в порядок ко второму звонку. После него все немедленно собираются в столовой, где мы обедали со всеми,

начиная с пяти-шести лет. Все ждут Дедушку, который выходит последний из своего кабинета и садится на председательское место. Дедушка всегда — и зиму и лето — невзирая ни на какую жару, ходил в черном суконном сюртуке, с таким же жилетом, в черных брюках (по старой моде без проглаженной складки) и белой накрахмаленной рубашке (накрахмалены были не только воротник и манжеты, но и грудь—«манишка»). О том, чтобы из-за жары снять хотя бы жилет, не могло быть и речи. Не удобство, а традиции и «стиль» руководили тогда жизнью. Надо всем этим теперь многие посмеиваются, совершенно упуская из виду огромное воспитательное дисциплинирующее значение соблюдения внешних форм вопреки личным неудобствам.

Все очень просто, но чинно. Мы, дети, сидим на нижнем конце стола с нашими учителями и гувернантками и должны вести себя тихо, но запрета разговаривать между собой нет, мы только не должны мешать взрослым и вмешиваться в их разговоры, если они сами к нам не обращаются.

После завтрака взрослые переходят в гостиную, или на крытую террасу, и Папа обычно играет с Дедушкой в шашки. Дедушка — страстный курильщик, без папиросы его почти нельзя вообразить; только за столом он не курил. В те времена курить до полного окончания еды было просто немыслимо — это было бы грубо по отношению к некурящим. К сожалению, теперь некоторые смотрят на это иначе... Зато после еды, до того, чтобы приняться снова за свои вечные папиросы, Дедушка курил трубку. Трубка эта была с длиннейшим чубуком (куда больше метра), и зажечь ее самому курильщику было совершенно невозможно. Дедушка сидел в кресле и тянул дым через широчайший янтарный мундштук, а у его ног на корточках сидел Алексей или Осип (не дворецкий, конечно, а другой) и раскладывал целый костер из спичек на заранее набитой табаком трубке, доходившей до самого пола. Как только табак принимался, спички спешно убирались, и Дедушка долго и со вкусом курил свою любимую трубку. У него был целый набор разных трубок на особой стойке. Некоторых я никогда не видел в руках Дедушки. Иногда он приказывал подать себе после завтрака «короткую» трубку (около полуметра), но почти всегда курил самую длинную, которую я тоже больше всех любил. Тогда я мечтал, что «когда я буду большой», я тоже буду курить точно такую же трубку... Судьба здесь решила иначе — я совсем не курю...

После завтрака мы, дети, занимались разными тихими играми и занятиями дома или на верхней террасе. Обычно Мама или Мадемуазель нам читали, причем отдельно мне и брату, ввиду разницы в возрасте.

В три часа мы шли опять в столовую, пить молоко. После этого, если была хорошая погода мы ездили кататься с Дедушкой, Папа и Мама. Часто мы ездили в окрещенные Текличкой на немецкий лад леса «Александерспарк» (по имени Дедушки) и «Мариенпарк» (по имени Бабушки), Сорокин лес и другие окрестности. Там все выходили из экипажей и гуляли. Иногда собирали ягоды и грибы, но я очень рано вообразил, что это — не мужское занятие, и не принимал участия в сборах.

Часто мы ездили кататься одни, без кучера, с Папа и Сашей, в «кабриолете» или «шарабане», в одиночку, в шорах. На хорошей дороге Папа давал нам вожжи и учил править, или правил он сам, причем Саша тогда держал в руках конец вожжей; я считал это для себя унизительным, а он это любил. Мы тогда с Сашей изобрели особый возглас—«утилили!», при котором, как нам казалось, лошадь шла особенно размашистой рысью. Я так хорошо помню моего любимого огромного, рыжего с проточиной англичанина, с совсем не английским именем Баскач. Баскач был уже не молод, прекрасно выезжен и поводлив; с маленькой старой Кореизкой приходилось труднее: она была очень пуглива. Ездить на белоснежной, раскормленной «поньке» мы не любили: она не давала хорошего хода и потом это была «детская» лошадь, а я себя уже совсем не считал ребенком... Когда я стал ездить верхом, я вообще стал презирать «шарабанчик» как «детский» экипаж. Сопровождал меня верхом кучер Тимофей, человек очень богобоязненный, и на которого — совершенно правильно — рассчитывали, что он ничему дурному меня не научит. Я сам научил Тимофея, что земля — шар. Он почтительно поблагодарил меня «за науку», но я совершенно не уверен, признал ли он мое поучение за истину. Мне скорее кажется, что он считал его еретическим, так как утверждал, что «в Писании сказано, что земля стоит на китах»... Сам он, впрочем, не мог этого прочесть, он был неграмотен. Тимофей мне рассказывал про Турецкую войну (1877—1878 г.): «Стоим это мы на Шипке, вдруг смотрим, откуда ни возьмись, два меллеона, а то и больше, турок на нас из-под горы лезут... Ну и задали же мы им тут!» Я и так уже горел патриотизмом, и Папа с самого раннего детства много рассказывал нам про подвиги русской армии.

Когда я вкусил прелесть верховой езды, то стал ездить уже*каждый*день, несмотря ни на какую погоду. Мама правильно считала, что мальчиков следует закалять, и не препятствовала мне выезжать верхом даже в самый дождь; Дедушка — старый кирасир — это очень одобрял. Дедушка дал мне первые уроки верховой езды, причем требовал старой «николаевской» посадки. Когда потом я стал брать уроки езды в манеже, и мою посадку

изменили и позволили мне ездить «облегченной» рысью, Дедушка этому не перечил, но только качал головой: «В наше время...»

Домой с прогулки мы возвращались так, чтобы ни в коем случае ни на минуту не опоздать к обеду (6 часов). Ранний обед часто стеснял не только нас, детей, но и взрослых, и даже самого Дедушку, но... так было заведено и так должно было быть.

Несколько раз в лето устраивались пикники в лесу. Мы выезжали туда скоро после завтрака, а еще до нас отправлялась телега с провизией, сервизом, самоваром, креслом для Дедушки и т. п. Во время пикников мы очень любили устраивать в лесу на поляне костер. В дни пикников было заранее решено, что обед будет позднее, в 6.30, а иногда даже и в 7 часов!

Ложились спать мы, дети, рано: в 9 часов все должно быть уже потушено. Мне очень было завидно, что «взрослые продолжают жить», когда мы должны спать, «наверное тут-то у них самое интересное и веселое», думал я...

В Наре была одна атмосфера, а в Хорошем, несмотря на то, что мы жили там с тем же Дедушкой, совсем иная.

Помню осенний приезд на станцию Лозовую и ночную поездку в нескольких экипажах, за 40 верст, в Хорошее. Впереди ехал верховой с пылающим керосиновым факелом, причудливо и тускло освещающим дорогу.

Однажды, недалеко от дороги, по которой мы проезжали, в степи, старый чабан с подпаском пасли отару овец. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Вдруг чабан видит, как по воздуху, выше земли несется пламя (наш факел). Он крестится и протирает глаза, но пламя не только не пропадает, но еще движется что-то с горящими огненными глазами (фонари передней кареты). «Антихрист!» — мелькнула мысль у чабана, он вскрикнул и упал в обморок. Испуганный подпасок со всех ног бросился бежать в степь. Только под утро он пришел в деревню, где узнал, что конец мира еще не наступил... Пошли искать старого чабана. Переживание отразилось на нем так сильно, что его пришлось отправить в больницу... Я потом видел этого чабана: прекрасный тип старого запорожца! Никакой*реальной*опасности он, наверное, не испугался бы. Вообще, когда я читаю «Тараса Бульбу», я вспоминаю некоторых хорошевских чабанов и мужиков. Часть же тамошних крестьян сохранила чисто великорусский тип. Это были потомки крепостных, переселенных туда еще моим прадедом кн. А. Г. Щербатовым из Самарской губернии. Однако быт этих крестьян был уже чисто малороссийский, начиная с того, что они жили не в избах, а в хатах, мазанках. К сожалению, они отказалась и от великорусскик бань. Чистоту малороссийских жилищ они

усвоили, но переняли их обычай жить без бань.

Нара была имением в две с лишним тысячи десятин. Большая часть Нары были леса, а на пахотной земле сколько-нибудь серьезного хозяйства не велось. Другое дело было Хорошее: хозяйство — полеводство и овцеводство — велось там в огромном масштабе. В этом хозяйстве оригинально сочетались черты очень отсталые и очень передовые. Так, допотопное «переложное» хозяйство велось там при помощи самых усовершенствованных по тому времени машин.

Я исключительно рано стал интересоваться сельским хозяйством и первые уроки получил в Хорошем. Кое-что рассказывал мне Дедушка, он очень одобрял мой интерес к хозяйству. Кое-что показывал и объяснял управляющий Хорошим, агроном Петров, человек очень практичный и опытный. Дедушка ему верил безусловно (он был, вообще, чрезвычайно, прямо по-детски доверчив). Я помню, как широко и трогательно Дедушка праздновал в Хорошем 25-летний юбилей службы Петрова и как Петров благодарил своего благодетеля. (Гораздо позже выяснилось, что Петров систематически обкрадывал Дедушку, причем в невероятных масштабах. Многие, оказывается, знали про хищения Петрова, который, уверенный в непоколебимом доверии к себе. Дедушки, дошел до полного цинизма и открыто покупал на свое имя один доходный дом за другим. Все выяснилось скоро после кончины Дедушки. Петров сам подал в отставку, но очень скоро сошел с ума,— не пошли ему впрок наворованные деньги!) Этому Петрову я, однако, могу быть благодарным за многие сведения, которые он мне дал тогда по хозяйству и отчасти даже за самый интерес к нему, который он возбудил во мне. По-видимому, Петрова забавлял необычный интерес к хозяйству мальчика, которому в последний приезд в Хорошее было не больше 9-ти лет. Я сам теперь удивляюсь этому интересу и усвоенным мною тогда сведениям. Память не может меня обманывать — во всяком случае полностью — и относить к тому времени то, что я узнал позднее. Овцеводством, например, мне никогда не приходилось заниматься, и мои познания в этой области (конечно весьма ограниченные) несомненно получены именно в детстве, в Хорошем, а не позже.

Ежедневно утром я ездил верхом, а днем с Дедушкой в экипаже. Он объезжал разные хутора, расположенные иногда за 15—20 верст от усадьбы. В то время об автомобилях еще не помышляли, и для поездок по имению у одного управляющего было не менее трех троек лошадей. Выездной Дедушки, Алексей, хвастливо рассказывал людям в Наре про Хорошевское великолепие; «Князю никогда два раза той же тройки не подают

— каждый день новую, а не понравится, князь еще другую требует!» Разумеется, здесь была большая доля воображения, но, действительно, выездных лошадей в Хорошем было множество. Был там и рысистый конный завод.

В доисторические времена Екатеринославская и смежные с нею губернии были покрыты морем. В Хорошем в земле часто находили окаменелые остатки морских животных, и в детстве у меня даже была маленькая коллекция их. Но самый вид бесконечных степей, только изредка перерезанных балками, как-то убедительно свидетельствовал, что тут действительно было морское дно. Только по берегу реки шла кайма дубовых лесов — большая редкость и богатство в этих безлесных местах! Земли были — тучнейший чернозем. Не видевшим таких земель даже трудно себе представить, насколько они черны, особенно после дождя, когда поднятая земля лоснится жирным блеском.

Если в хорошевских землях можно было наблюдать остатки доисторических существ, то в хорошевском быту можно было найти немало следов былого времени. Я и в Наре видел общение Дедушки с народом, но здесь общение это носило еще более яркие черты старого уклада жизни.

После приезда Дедушки в Хорошее крестьяне, деревнями, приходили приносить ему хлеб-соль. В Наре, и позже у нас в Бегичеве, крестьяне тоже приходили «поздравлять с приездом», но хлеба-соли, как в Хорошем, не приносили.

Хорошее — огромное село, и когда Дедушке доложили, что хорошевские пришли поздравить с приездом, я увидел на дворе перед домом толпу во много сот крестьян. Другие деревни, приходившие поздравить с приездом, были менее многочисленны, но все же эти толпы никак нельзя было сравнить с нарскими или беги- чевскими.

Дедушкин «выход» носил одновременно двойной характер: он был очень прост и в то же время во всей це-

ремонии чувствовалась очень старая традиция. Приблизительно так же, думается мне, выходили на крыльцо к народу еще наши удельные предки.

Дедушка выходил на подъезд с колоннами хорошевского дома не один, а со всеми нами. Папа был в это время в Киеве; Мама не любила этих выходов, но скрывала это от Дедушки и тоже выходила; мы с Сашей очень любили эту церемонию. Дедушка выходил всегда в шляпе, опираясь на палку. Мужики и бабы стояли отдельными толпами. Впереди мужиков стоял староста деревни и десятские; староста держал на руках

деревянное блюдо, покрытое вышитым полотенцем, на нем лежал каравай хлеба и соль в деревянной солонке. Мужики были без шапок, причем они не снимали их при появлении Дедушки, а уже стояли с непокрытой головой. Бабы чинно кланялись.

«Рад вас видеть! — говорил с крыльца Дедушка.— Мой наследник (дядя Сережа) жалеет, что быть не мог; вот приехал к вам с дочерью и внучатами!» Потом Дедушка сходил со ступеней крыльца, подходил к старосте, брал у него из рук блюдо и благодарил за хлеб-соль. Староста и мужики низко, но с достоинством кланялись. Никакого подобострастия не было в помине. Блюдо Дедушка тут же передавал стоявшему наготове человеку. Все было необычайно чинно и просто. Далее Дедушка входил в расступающуюся перед ним толпу крестьян, я шел за ним. В это же время Мама, держа за руку Сашу, входила в толпу баб и разговаривала с ними. Я думаю, это было ей нелегко, но чувство долга было в ней всегда необычайно сильно, и она никогда и ни в чем не уклонялась от его выполнения,— «выходить» же вместе с Дедушкой она, конечно, считала своим долгом.

Дедушка разговаривал с отдельными мужиками, особенно со стариками, иногда он обращался к целым группам. Разговор шел обычно об урожае. «Я еще не видел ваших зеленей,— говорил Дедушка,— как они?» — «Слава Богу, зеленя хорошие! — ответил какой-то старик,— вот утром князек верхом катался, так видел их».— «Да, слава Богу, зеленя хорошие!» — счел я долгом сказать и успокоился, услышав звук своего голоса... На самом деле я не обратил внимания на качество зеленей... Потом, когда прием кончился и мы вернулись домой, Дедушка сказал мне: «Молодец!», и я молча гордился своим публичным выступлением.

Между тем, из «экономии» (контора и хозяйственные постройки имения) принесли водку и сало, любимую малороссийскую закуску. Дедушка взял стакан водки, пригубил и сказал: «Пью за ваше здоровье», рукой он пригласил мужиков брать стаканы и сало. Баб угощали пряниками и разными другими сластями, но, разумеется, без водки.

Дедушка удалялся с нами домой, а крестьяне, съев все обильное угощение, тоже расходились.

Так происходили выходы к каждой деревне отдельно, с незначительными вариантами. Раз, помню, Дедушка долго говорил с одним севастопольским солдатом, местным крестьянином. Подробно узнав о положении семьи и хозяйства этого мужика, Дедушка сказал ему:

«Ступай в контору и скажи, что я приказал тебе дать...» Не помню, что именно приказал дать мужику Дедушка, но дар был,

видимо, щедрый, судя по благодарности старого солдата и по гулу толпы.

По этому случаю Дедушка рассказал нам потом с Сашей, как он, адъютант Главнокомандующего, был послан с поручением в осажденный Севастополь и как за ним и сопровождавшим его казаком гнались французские разъезды. У Дедушки была прекрасная, кровная лошадь, и он легко мог ускакать, но у казака лошадь была хуже, и Дедушка мучился: с одной стороны, надо исполнить поручение, но с другой — как оставить казака одного? Дедушка не решился бросить его па произвол судьбы и, сдерживая лошадь, скакал с ним рядом. Французы настигали. Дедушка уже вынул пистолет из седельной кобуры. Вдруг французы остановились и дали залп, слегка ранивший дедушкину лошадь. К счастью, французы бросили преследование в самую критическую минуту («должно быть, лошади у них выбились из сил», сказал Дедушка), и они оба с казаком благополучно прибыли на место...

«Общение с народом» в Хорошем было постоянное. То и Дело Дедушке докладывали, что из церкви приехала свадьба крестьян такой-то деревни. По распоряжению Дедушки, в залу входили молодые, их родные и некоторые поезжане. Они были смущены обстановкой и робко ступали по паркету в своих кованых- сапогах и чоботах. Дедушка никогда не принимал крестьян дома, а всегда выходил к ним, но для свадеб делалось традиционное исключение.

Молодые одним движением бросались Дедушке в ноги, так же, как они это делали перед своими родителями, возвращаясь из церкви. Дедушка терпеть не мог, когда какой-нибудь проситель бросался перед ним на колени, и кричал: «Только перед Богом на колени становятся!» — но тут было другое дело: это была традиционная церемония, и он был отцом «своих» крестьян. Потом молодые вставали, Дедушка их поздравлял, иногда говорил несколько назидательных слов и всегда дарил золотой. Свадьбе приносилось угощение, а молодые плясали перед нами. Мы с Сашей очень любили на это смотреть.

Осень — время деревенских свадеб и их прошло довольно много на моих глазах, иногда, в праздник, несколько в один день. Дедушка всегда неизменно лично принимал свадьбы и никогда не сокращал времени приема, хотя бы и плохо себя чувствовал; он считал, что не имеет права от этого уклоняться...

Раз только произошла неприятная сцена. Молодая во время пляски поскользнулась, и кто-то из поезжан при этом что-то сказал... (Я, конечно, ничего не понял, а после мне объяснили, что он сказал «глупость». По-видимому, это была не совсем

приличная шутка.) В группе поезжан раздался сдавленный смех, но он немедленно прекратился... «Как ты смел, дурак! — крикнул Дедушка.— Вон!» — «Ваше Сиятельство...» — начал было испуганный поезжанин, но Дедушка не дал ему кончить: «Молчать, вон!» Виноватый быстро вышел. Праздничное настроение пропало, но милый Дедушка хотел это исправить, он сказал смущенным молодым и их родителям, что они никак не виноваты, и дольше обыкновенного разговаривал*сними*, прежде чем их отпустить.

История эта имела продолжение. Когда мы в следующее воскресенье выходили из церкви (где мы стояли на особом «княжом» месте, что нас тогда не поражало), к Дедушке подошел церковный староста, вернее «заместитель старосты», так как во всех церквах своих имений старостой числился сам Дедушка, назначавший своим заместителем какого-нибудь почтенного крестьянина. Этот староста смущенно просил Дедушку простить виноватого, который «мужик хороший», но был «выпивши»... Дедушка был отходчив и, конечно, уже давно не сердился. Однако он наставительно и строго сказал несколько слов очень смущенному виноватому. Все это, разумеется, происходило публично и кругом стояла толпа крестьян. «Смотри,—сказал Дедушка,—уж борода седая! Ты пример должен молодым подавать, а ты такое говоришь,*да еще при мне!*Ну, ищи,— кто Богу не грешен, кто бабе не внук». Думаю, что во времена крепостного права эта сцена развернулась бы точно так же!

Дедушка был с молодости сторонником освобождения крестьян от крепостной зависимости и одним из деятелей в «эпоху великих реформ» Императора Александра II, любимого царя Дедушки. Однако, после освобождения крестьян, Дедушка не счел*себя*освобожденным от заботы о своих прежних крепостных. Крестьяне уже были не «его», но он по-прежнему оставался «их» барином. Дедушка постоянно заботился о благосостоянии крестьян и о всех их нуждах. В своих имениях он повсюду строил церкви. Даже продавая одно из своих имений («Улыбовку» Саратовской губ.), он поспешил отстроить там новую прекрасную церковь вместо старой, которая стала слишком мала; иначе он не чувствовал себя вправе продать имение и тем самым уйти от своих бывших крестьян, не позаботившись о них.

Церкви были не единственной, хотя и первой, заботой Дедушки. Во всех своих имениях он строил также школы и часто больницы. В Хорошем при нас освящали большую каменную школу, где, по специальному желанию Дедушки, была большая зала для «народных чтений» с волшебным фонарем (кинематографа тогда еще не было).

Пожары — бедствие русских деревень, особенно в Великороссии, где избы стоят скученно, а не отделены садами, как в Малороссии. Когда такие пожары бывали в деревнях бывших дедушкиных крестьян, он неизменно оказывал погорельцам щедрую помощь, чтобы заново отстроиться. А сколько помогал Дедушка отдельным крестьянам и вообще нуждающимся! Очень часто о такой помощи узнавали только стороной и случайно: у Дедушки, по-евангельски, левая рука не знала, что делала правая...

Я говорил о широкой общественно-благотворительной деятельности Дедушки в деревне, но это не значит, что меньшую щедрость он проявлял в городе, особенно в своей родной Москве. Дедушка очень любил Москву и в свое время был ее первым выборным «всесословным» городским головой, по Городскому положению Императора Александра II. Недаром до революции несколько московских больниц и школ носили имя «Щербатовских».

Общественно-благотворительная деятельность Дедушки была очень широка: у него были для этого — исключительно горячее сердце и большие материальные возможности. Но пусть не думают поколения, не знавшие старой России, что Дедушка был в этом отношении каким-то единичным светлым исключением. Он был, наоборот, образчиком — правда выдающимся — того, чем всегда будет вправе гордиться наше оклеветанное старое поместное дворянство[1]. Дедушка во многом показывал путь, но по этому пути шел не он один, а многие. Нигде в Западной Европе я не видел более глубокого чувства социальной ответственности, чем то, которым были проникнуты у нас очень многие представители старого поместного дворянства. Даже совсем небогатые помещики считали своим совершенно естественным долгом — на свои счет строить церкви, народные школы и больницы.

Кажется, все наши родственники — а родственников у нас было очень много! — были помещики, и все тратили иногда значительные, по своему бюджету, средства на общественно-благотворительную деятельность в деревне. Даже самые средние помещики делали и д о л ж н ы были делать хоть кое-что для крестьян. К этому побуждало их не только их собственное сердце, но и семейные традиции и даже общественное мнение. Конечно, и среди русского поместного дворянства, как и повсюду, встречались негодные элементы, но, повторяю, в смысле социальной ответственности, сословие это стояло исключительно высоко.

[1] Вот что пишет о Дедушке Щербатове в своих

«Воспоминаниях» ученый Б. Н. Чичерин, человек большого ума и кристальной души, но известный скорее резкими отзывами о людях:

«...Князь Александр Алексеевич Щербатов, человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оцепила Москва, выбрав его первым своим городским головой при введении всесословного городского управления. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно такого человека, который способен соединить вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять а направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба — твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову».

(Б. Н. Чичерин. «Воспоминания. Москва сороковых годов», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1929, стр. 53—54.)

НАШЕ ВОСПИТАНИЕ

На наше воспитание и образование Папа и Мама обращали самое большое внимание.

Было решено, что мы с братом будем учиться дома. Это давало два главных преимущества. В смысле воспитания —мы получали полностью благотворное влияние семейной обстановки, и влияние это не было разбавлено ничем. В области образования — домашнее учение можно было поставить лучше, чем в гимназии. Учителя, ведущие классное обучение, не могут, конечно, применяться к индивидуальности каждого ученика, что возможно в обучении домашнем. Кроме того, домашнее обучение позволяло не только следовать программам гимназического курса, но и уделять гораздо больше времени и внимания иностранным языкам. Конечно, домашнее образование требовало значительных материальных затрат, но на эту цель мои родители денег не жалели. С некоторого возраста, продолжая учиться дома, мы с братом ежегодно держали при гимназии «поверочные испытания» и переходили из класса в класс.

Однако, мои отец и мать, как мне кажется, совершенно правильно решили, что если в детские годы важнее всего воспитательное значение семьи, то позднее мальчикам очень полезно окунуться в школьную «общественную» жизнь. В частности, мои родители опасались оставлять нас слишком долго в очень хорошем, но чересчур замкнутом круге наших родных и детских друзей. Они считали желательным, чтобы мы столкнулись с гимназическими товарищами из других социальных слоев, чем тот, к которому мы принадлежали по рождению. Вот почему мои родители решили — лет до пятнадцати давать нам домашнее образование, а потом отдать нас — приходящими — в гимназию: именно в гимназию, а не в какое-нибудь привилегированное учебное заведение. И за то и за другое я могу быть только благодарен своим родителям.

Основные линии нашего воспитания и образования устанавливались Папа и Мама совместно, но вся организация этого сложного дела лежала на одной Мама.

Самые первые уроки Мама давала нам сама. Я начал обучаться грамоте четырех лет. Позднее Мама передавала наше обучение учителям, которых она же выбирала и приглашала. При

этом Мама продолжала тщательно следить за нашими уроками и, в нашем раннем возрасте, иногда на них присутствовала. Очень значительное внимание она обращала на приготовление уроков, приучая нас к большой добросовестности в этом отношении. Мама правильно придавала огромное значение тому, чтобы мы привыкли работать самостоятельно, и систематично добивалась этого при приготовлении нами уроков. Прежде, чем помочь каким-нибудь указанием или объяснением, она всегда заставляла нас стараться самим превзойти встретившуюся трудность. Когда это было необходимо, она помогала нам, но старалась делать это путем наводящих вопросов, будя нашу мысль, а не просто подсказывая решение, что ей самой было бы, конечно, проще. Образование здесь сливалось с воспитанием.

Учили нас учителя, но воспитывала нас Мама и этой своей основной материнской обязанности она никому не передавала: гувернеры и гувернантки были ее помощниками, но она им никогда не поручала дела нашего воспитания и всегда сама во все входила.

Как Мама нас воспитывала?

Не по какой-либо «системе» воспитания, а создавая тихую и благотворную семейную атмосферу любви и стройного порядка, со всех сторон нас окружавшую. Мы дышали этой атмосферой с самого детства и она нам казалась вполне естественной. На самом деле это была атмосфера исключительная, которой могли бы только позавидовать многие и многие семьи.

Главная основа воспитания была у Мама — религиозная. Религия была отнюдь не формальная и даже далеко не в такой мере традиционно-церковная, как бывало в прежних поколениях. «Бог есть любовь» — вот чем было проникнуто религиозное сознание Мама и, естественно, все ее воспитание нас. Даже голос Мама становился совершенно особенным, когда она читала нам в Евангелии о любви, как о первой и главнейшей заповеди Господней. Может быть, именно вследствие этой религиозной атмосферы, которой я дышал с детства, по-

нятие «страха Божия» сделалось мне понятным только гораздо позднее, и то больше умом, чем чувством. Мама прививала нам именно любовь к Богу, а не «страх Божий», который, конечно, отнюдь не противоречит любви, но относит человека к Богу как бы под другим углом зрения.

Основное духовное качество Мама — смирение. Может быть даже именно вследствие переизбытка в ней самой смирения. Мама менее прививала его нам, но покорность воле Божьей

всегда и во всем она старалась нам внушить с самого раннего возраста.

Другие, скорее нравственные, чем религиозные, черты характера Мама — душевная дисциплина и обостренное чувство долга. Дисциплина эта была в ней от природы, но она кроме того была сильно развита немецким воспитанием (Текличка!). Эту нравственную дисциплину и это чувство долга Мама также стремилась внушить нам.

Мама сеяла в наши души только добрые семена, но, как и в евангельской притче, не все зависит от семени, но также и от той почвы, на которую это семя падает.

Я уже говорил об исключительно хорошей атмосфере, которой Бог привел нас дышать в нашей семье с самого рождения. Но мы видели с детства любовь и хороший пример не только со стороны наших родителей. Очень большое влияние в детстве оказала на меня Бабушка Трубецкая. О ней писал Папа в своем «Из прошлаго». Конечно, мы, дети, не могли до глубины понять исключительно даровитую, тонкую и одухотворенную природу Бабушки, но мы безошибочно чувствовали ту тихую благодать, которую она излучала на все вокруг себя. Главное, что сохранила мне память о ней — я не могу передать словами, это ощущение какого-то тихого, струящегося света. Оккультисты сказали бы, что я своей детской душой ощущал исключительно светлую «ауру» Бабушки. В детстве, слыша слова молитвы «Свете Тихий», я вспоминал о ней. Тогда я не осознавал своей мысли, но теперь понимаю, Бабушка была для меня образом «Тихого Света»,— такой она осталась для меня и поныне...

Помню, как один раз — и это был единственный раз! — Бабушка очень огорчила меня... при этом без всякой вины со своей стороны.

У нас в Киеве, ближе к весне, гостили Дедушка и Бабушка Трубецкие. Дедушку я тоже хорошо по-

мню. Конечно, я любил его, хотя мало его знал. Дедушка Трубецкой довольно мало обращал внимания на детей. В самом раннем возрасте — это одно из первых моих воспоминаний — он сажал меня на колено и заставлял подскакивать. Потом он открывал о мой нос крышку своего золотого брегета, который тихо звонил... Когда дети немного подрастали, Дедушка Трубецкой по-видимому уже не знал, что с ними делать: он ласково здоровался и прощался, когда мы к нему подходили, но не общался с нами...

Так вот, помню, как однажды Бабушка показала мне ордена Дедушки Трубецкого. Они мне очень понравились, но из них мне невероятно приглянулся орден «Белого Орла». Бабушка надела мне ленту через плечо и велела придерживать орден рукой, чтобы он не волочился по земле. Мне было очень жаль снимать ленту, и Бабушка сказала мне, что я «потом сам его заслужу». Я неверно понял Бабушку и подумал, что я могу потом получить орден в подарок от Дедушки; но Бабушка мне тогда объяснила, что орден нужен самому Дедушке и что он должен его надеть, чтобы идти в Церковь на Пасху. Я примирился с мыслью, что «Белого Орла» я не получу...

Вдруг, вскоре после этого, за завтраком я услышал. разговор между большими, из которого я понял, что Дедушка Трубецкой получил известие о награждении его новым орденом — «Александром Невским». Дедушка сказал, что получить знаки нового ордена к Пасхе он все равно не успеет. Бабушка, зная, что Дедушке доставит удовольствие надеть на Пасху новый высокий орден, сказала, что следовало бы телеграфировать о срочной высылке ордена. Папа тоже, но явно неудачно, попробовал успокоить Дедушку тем, что можно будет пойти на Светлую Заутреню не в домовую церковь генерал-губернатора, куда они собирались идти, а в приходскую церковь, где не нужно надевать никаких орденов... Вдруг Папа, поймав взгляды Мама и Бабушки, резко переменил тактику «успокоения» Дедушки и сказал, что он немедленно после завтрака пошлет телеграмму о спешной присылке ордена...

Детская память фотографически точно сохранила мне сценку, психологическое значение которой я, конечно, не мог тогда понять. Но мне было тогда не до того! Я сидел за столом с напускным хладнокровием, но в душе сиял: «Теперь Дедушке «Белый Орел» уже не ну-

жен! Бабушка знает, как я хочу его иметь, и, конечно, теперь его мне подарят на Пасху! Только мне пожелают сделать сюрприз, поэтому я буду делать вид, что ничего не понимаю...»

До самой Пасхи я жил светлыми надеждами: мне редко что-либо так хотелось получить в жизни, как тогда этот орден.

И вот настала Пасха... и я испытал одно из наибольших разочарований в моей жизни! Дедушка и Бабушка подарили мне не «Белого Орла», а что-то другое!

Я был потрясен: «Бабушка знает, как мне хочется получить орден; теперь он Дедушке болыше совсем не нужен; почему же мне его не подарили?» — это была единственная в жизни, но

глубокая обида на Бабушку. Я скрыл эту обиду ото всех, проявив таким образом немалое самообладание, но, вероятно, именно поэтому я переживал обиду дольше и глубже...

Я хочу рассказать об одном полученном мною уроке, память о котором остается у меня всю жизнь.

Мне было лет девять. Мы проводили лето в Наре. Дедушка Щербатов любил всякие технические новшества и выписал в Нару фонограф. Тогда этот аппарат был еще редкостью. Звук записывался на нем не на круглых пластинках, как в современных граммофонах, а на восковых пустых валиках.

Этим летом в Наре жили кроме нас еще мои двоюродные братья, Петрово-Соловово. Детям было запрещено без взрослых пускать фонограф. Однако скоро для меня, как для старшего, было сделано исключение и Мама позволила мне его пускать, «когда это никому не мешает».

Пользуясь этим правом, я однажды сидел один после завтрака в пустой гостиной и слушал, как сейчас помню, арию тореадора из «Кармен». Через комнату неожиданно прошел Дедушка, он имел озабоченный вид. Вдруг он заметил меня: «Сережа, что ты тут делаешь? Тебе же запрещено пускать фонограф!».— «Нет, Дедушка,— ответил я.— Мама позволила мне его пускать».— «Неправда! — сказал Дедушка раздраженно,— останови фонограф и иди к себе!»

Я был оскорблен до глубины души — Дедушка сказал мне, что я говорю неправду, он не поверил мне!

- 42 -

Я сразу побежал рассказать о случившемся Мама и сказал ей, что отныне мои отношения с Дедушкой будут исключительно формальные. «После того, что мне сказал Дедушка, я могу быть с ним только почтителен, но любить его я больше не могу и не полюблю его никогда в жизни!». Мама ответила мне, что со стороны Дедушки тут было просто недоразумение, которое, конечно, скоро выяснится, но она обрушилась на меня за мои «бессердечные» заявления, «как тебе не стыдно так говорить о Дедушке...»

Однако я остался сух и непреклонен...

Мама, очевидно, хотела переговорить с ним о случившемся, но не успела. Дедушка пошел к себе отдыхать. Настало время дневного чая, и мы все спустились вниз. За чаем я сидел с подчеркнутым чувством собственного достоинства, чего, к моему большому сожалению, Дедушка даже не заметил; сам он был как всегда...

После чая все поехали в Алексеевский лес в нескольких экипажах, я должен был ехать туда же верхом, но... я поехал в другую сторону.

К обеду приехало несколько гостей из Литвинова — имения тети Софьи Щербатовой (урожд. гр. Паниной), вдовы старшего брата Дедушки. Не помню, приехала ли сама тетя Софья, но тетю Машеньку Долгорукову (ее дочь) я в этот день хорошо помню, и она была не одна.

После второго звонка к обеду мы, дети, с нашими учителями и гувернантками стояли, как полагалось, у нижнего конца длинного обеденного стола. Я был по-прежнему полон достоинства...

В столовую вошел Дедушка с Папа, Мама, дядями, тетями и гостями. Все шло, как обычно... Вдруг Дедушка, вместо того чтобы пойти к своему креслу, направился на наш конец стола и мне, как и всем, сделалось ясно, что он идет именно ко мне.

— Сережа! — громко сказал Дедушка, так что все присутствовавшие, в том числе — люди, это услышали,— я тебя сегодня обидел. Я думал, что ты сказал мне неправду. Но я был неправ: ты неправды не сказал. Прости меня!

Я стоял в оцепенении. Все смешалось в моих глазах. Я не мог выговорить ни слова. И вдруг я зарыдал...

Даже сейчас, при воспоминании об этой сцене, что-то подкатывает у меня к горлу... Такие уроки — незабываемы!

- 43 -

Строго установленный уклад полной содержания жизни, стройность и чинность во всем — самая лучшая, незаменимая обстановка для воспитания детей. Именно в такой атмосфере, по милости Божьей, протекло мое детство.

Кто бы мог тогда подумать, что наши дети будут лишены не только этого, но даже... самой России!

Россия — наша Родина и наше Отечество — страна, где мы родились, страна, созданная нашими предками! Всем этим мы от рождения дышали, как воздухом,— воздухом, которого даже не замечаешь, но без которого жить невозможно.

Слава Богу, наши дети не лишены *главной* основы воспитания — основы религиозной, но вторая основа воспитания — патриотическая — для молодого поколения в корне искажена. Россия для наших детей — не ощущаемая всем существом, близкая сердцу реальность, а лишь отвлеченное понятие! Для детского сознания этого безусловно мало Оно не может жить только «заданным», ему нужно «данное». Не «искание» Отчизны ему нужно, ему нужна сама эта Отчизна в ее несомненной

реальности. Чем глубже чувствуем мы, родители, то счастье, которого мы не замечали, пока им обладали,— счастье иметь Россию, тем острее ощущаем мы тот ужас, что этой*живой, реальной*России у наших детей нет!

Все мы, русские дети, были связаны с Россией от самого рождения бесчисленными нитями. Для нас лично очень существенную роль играла наша связанность с землей — принадлежность к поместному классу. Можно чувствовать эту органическую историческую связь с Отечеством и не зная истории. Так чувствует ее крестьянин, безвестные деды и прадеды которого покоятся на сельском кладбище.

Люди, знающее историю своих предков, к какому*бы*сословию они ни принадлежали, конечно, не могут претендовать на монополию любви к Отечеству, но мне кажется бесспорным, что в их сознании имеются нити, связывающие их с родной землей и ее прошлым, которых не может быть у других, у какого-нибудь «Ивана Непомнящего». Любовь к Родине сплетается в нашем представлении

с картинами дорогих нам родных мест; любовь к Отечеству связывается с памятью о наших отцах и дедах

В своих воспоминаниях я говорю только о ближайших моих предках, но если я смогу передать своим детям хотя бы самую незначительную частицу той любви, которая неразрывно связывает меня с моими родителями и дедами, то тем самым они крепче укоренятся и в любви к Отечеству, в любви к той России, которая является нашей общей Матерью.

«Не одни они живы,— писал мой отец про своих родителей и дедов,— живо то святое, что наполняло их души. Да будут же их имена благословенны во веки!»

«Да будут же их имена благословенны во веки!» — повторяю и я вслед за моим ушедшим в вечность отцом.

Будет ли наш прах покоиться в родной земле или на чужбине — я не знаю, но пусть помнят паши дети, что где бы ни были наши могилы, это будут русские могилы и они будут призывать их к любви и верности России.

Размеренная жизнь: серьезное зимнее учение, здоровый летний отдых и соприкосновение с родной природой — все это дало мне в детстве очень много. Но очень много также дали мне два заграничных путешествия, которые я совершил в возрасте семи и десяти лет. Оба раза мы были в Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Оба путешествия, давшие мне массу новых впечатлений, ясно врезались мне в память.

Мы путешествовали всей семьей, с педагогами и даже частью прислуги. Таким образом мы возили с собой как бы частицу атмосферы нашего дома. Но все же во время путешествия менялось очень многое. Не только во внешней обстановке, но и во внутренней жизни нашей семьи происходила огромная перемена. Более всего менялся Папа, и это меняло все.

Правда, Папа путешествовал не иначе, как с большим количеством книг, и куда бы мы ни приезжали, у него всегда был свой кабинет для занятий, но во время путешествий Папа гораздо чаще, чем в городе или даже в деревне, «спускался на землю» и жил общей жизнью с нами. В Папа просыпалась туристическая жилка и он с увлечением совершал с нами большие экипажные и пешеходные экскурсии и прогулки. От этого особенно выгадывал я, так как Саша был еще слишком мал. Ни-

когда в детстве я так много не общался с Папа, как за границей. Он много разговаривал со мною во время прогулок, обо многом рассказывал, многое показывал и объяснял.

У Папа была очень талантливая, художественная природа. К моему горю, я не унаследовал от него его «музыкальной души». Но не только музыка находила живой отклик в художественной природе Папа. Красота в природе и искусстве, во всех ее формах и проявлениях, воспринималась им с удивительной чуткостью. Он был эстетически одарен гораздо более разносторонне, чем его исключительно музыкальные родители, Дедушка и Бабушка Трубецкие, и его брат дядя Сережа Трубецкой. К Тому же Папа обладал большой художественной культурой.

Философия Папа — насквозь религиозная — вся была проникнута также и эстетикой. Папа в философии всегда вслушивался в пифагорейскую «музыку сфер» и упивался и вдохновлялся ее гармонией. Ощущение красоты не нарушало философского парения мысли Папа, а сияющей многоцветной радугой соединяло в его душе небо и землю.

Таков был Папа всегда, но во время заграничных путешествий он приходил в особенно восприимчивое состояние для ощущения красоты. Как Папа любил Рим и Флоренцию! Надо было видеть его там! Его многогранная природа, одаренная ко всему — кроме как к практической жизни! — являлась там для тех, кто мало его знал, под неожиданным углом зрения.

В человеке такой глубины культуры, какой обладал Папа, не удивлял, конечно, подход к произведениям искусства утонченно культурный и глубоко продуманный, гораздо удивительней была его способность подходить к ним с полной непосредственностью

эстетической интуиции.

Конечно, семилетним мальчиком я не мог понять того, что я понял впоследствии, но могу сказать с уверенностью, что основы моего эстетического воспитания и образования были положены именно тогда и именно Папа. Мне даже непонятно, как Папа мог найти верный подход к моему детскому сознанию, но он его нашел, и печать, которую он тогда положил на мою душу, неизгладима.

Папа не давил на мое детское эстетическое сознание, но как бы вел его за собой. Я помню, как при пер-

вом моем посещении Ватикана (мне было семь лет) — мне больше всего понравилась фреска «Битва императоров Константина и Максенция». Она, конечно, никак не могла быть одним из любимых произведений искусства Папа, но он, видя мое увлечение, не отвлек меня в другую сторону, а, напротив, указал мне на некоторые не замеченные мною красоты в этой фреске. Большая фотография с нее долго висела потом в моей детской комнате. Через несколько лет я перерос это увлечение и «Битва Константина и Максенция» перестала быть моим самым любимым произведением искусства...

Семилетним мальчиком меня, конечно, мало водили по музеям и картинным галереям (пятилетний Саша прямо заявил: «Je suis trop petit pour les musees[1]), но, катаясь в экипаже и гуляя по Риму и другим городам, я видел и запомнил много памятников архитек-туры. Когда я потом был за границей, я многое узнавал из того, что видел тогда и помнил, как будто это было накануне.

Гораздо больше, чем произведений искусства, я навидался в моих детских путешествиях разнообразных красот нерусской природы. Мне стоит закрыть глаза, и предо мною проносятся пейзажи Римской Кампании, с особенно поразившим меня тогда акведуком; передо мною Неаполитанский залив с дымящимся Везувием, форма которого была тогда красивее, чем нынешняя; я вижу прелестные очертания и краски тосканских холмов, искрящееся Лаго Маджиоре, горы и озера Швейцарии, Французскую Ривьеру с ее сияющим морем и горами в дымке...

Я жадно упивался разнообразными впечатлениями, но вкусы мои были уже во многом довольно определен-ны: Вена, например, понравилась мне бесконечно больше, чем Берлин... Во время путешествия я часто испытывал увлечение и очень редко — разочарование. Помню, однако, мое разочарование при виде Рейна, около Висбадена. Особенно после дивного Днепра в Киеве

Рейн показался мне прямо жалким. «Только не говори этого Текличке»,— сказал я тогда брату Саше, презрительно отзываясь о Рейне. Я не хотел оскорблять патриотических чувств Теклички, которая, вероятно, и была виновницей моего разочарования: она мне так восторженно рассказывала о Рейне! Я ожидал чего-то не-

[1]Я слишком мал для музеев.

вероятно грандиозного и поэтического, но действительность обманула мои ожидания.

Большое образовательное и воспитательное значение имели для меня в детстве те разговоры взрослых между собой, которые велись в моем присутствии. Понятно, я далеко не все понимал и далеко не все меня интересовало, но с каждым годом я понимал все больше и больше, и разговоры между взрослыми представляли для меня все больший интерес.

«Пустых», светских разговоров я почти не слышал; разговоров о еде и тому подобных практических, домашних вопросах, которые занимают такое огромное место в разговорах большинства нынешних семей, тоже почти не было. Вести в своей среде такие «terre-a-terre» разговоры считалось в наших семьях унизительным и даже почти неприличным. Отчасти это объяснялось тем, что, благодаря состоянию, «земные» вопросы стояли тогда куда менее остро, чём ныне. Однако приписывать атому *все* было бы, конечно, неправильно. Культурный уровень наших семей того поколения был, несомненно, гораздо выше нынешнего. Этому есть много веских объяснений и оправданий, но факт остается фактом...

Из разговоров старших между собой я с самого раннего детства усвоил, что они думают и разговаривают об очень «умных» и серьезных предметах, и это еще увеличивало их престиж в моих глазах. Впоследствии я убедился, что это вообще способствует созданию престижа высшего сословия в глазах низшего. Так, в большевицкой тюрьме, при полном уничтожении материальных преимуществ, я видел, как действует на простолюдинов ощущение высшего культурного уровня и какой престиж он придает в их глазах его обладателю.

Разговоры среди старших часто бывали на общественные и политические темы. С раннего детства я слышал имена русских и иностранных политических деятелей, ученых, художников. Я помню, как совсем маленьким мальчиком я спрашивал, кто были Бисмарк, Гладстон, Пастер, Менделеев; что такое славянофилы или земство. Конечно, на мои вопросы я получал весьма

поверхностные и краткие разъяснения, но эти имена и понятия перестали быть мне чужды уже с раннего детства. Когда в Берлине Папа показал мне экипаж с

проезжавшим Бисмарком (он был уже в отставке), я знал, кто он такой. Кстати, Бисмарк только промелькнул перед моими глазами, королеву же Викторию я видел на Ривьере в 1897 году гораздо лучше. Она каталась в экипаже с каким-то благообразным господином с белой бородой, который показался мне гораздо более импозантным, чем маленькая старушка, королева Великобритании и Императрица Индии! — как все это уже ушло в историю!

Взрослые редко отдают себе точный отчет в том, что и как понимают дети из их разговоров между собой. Я помню, как большие переглянулись, когда я спросил про франко-прусскую войну, о которой они говорили между собой: «А кто был из них прав?» Восприятие детей — своеобразно, и я помню, как я невзлюбил дядю Алешу Долгорукова за фразу: «Россия неправильно поступила в этом вопросе...» По моему мнению, Россия никогда неправой быть не могла!

Во всяком случае, из разговоров между взрослыми я твердо понял, что все большие (конечно, мужчины) должны принимать какое-то участие в общественных делах. Быть «богатым бездельником» и только жить в свое удовольствие казалось чем-то очень стыдным, почти позорным. Понятие «noblesse oblige» молчаливо считалось совершенно обязательным. Из разговоров и критических замечаний взрослых я сделал вывод, что мы обязаны служить какому-то не личному, а общественному делу, науке, искусству. Все это отнюдь не высказывалось в виде прописных истин, но вытекало как нечто само собой понятное и обязательное.

Ни малейшего кичения аристократизмом в наших семьях как с отцовской, так и с материнской стороны совершенно не было. Вообще, с понятием «аристократия» у меня с, детства неразрывно связалось чувство*обязанностииответственности,*но никак не мысль о превознесении себя над другими и о привилегиях, Я хорошо запомнил фразу Дедушки Трубецкого, говорившего о ком-то с Папа: «Когда князь делается хоть чуточку хамом, он хуже всякого хама!»...

А Дедушка Щербатов в публичной речи, обращенной к московскому дворянству в «эпоху великих реформ», говорил, что «не само дворянство должно возлагать на себя венец, а пусть его возлагают на него другие, видя его ревность к общему делу и его

способность руководить обществом».

Такая аристократия, достойных представителей которой я имел счастье видеть среди старшего поколения, действительно была *лучшим,* что было тогда в России. Конечно, таких людей было сравнительно немного, но всякая настоящая «элита» — немногочисленна.

Из разговоров между взрослыми я рано усвоил, что мы обязаны быть «культурными людьми». Я помню, как раз, совсем маленьким мальчиком, я сказал про кого-то, что он «культурный человек». «Что это значит?» — с улыбкой спросил меня дядя Миша Веневитинов. «Он много вещей знает и любит картины»,— ответил я. Меня похвалили за ответ.

Я всегда слышал, что все должны как-то «служить» России, но слово «чиновник» было скорее уничижительное. Точно так же быть «культурным человеком» было хорошо, но слово «интеллигент» было столь же мало похвально, как и «чиновник»... Все это вошло в мое подсознание еще раньше, чем в сознание... Теперь я вижу, что не все в этом отношении к «чиновникам» и «интеллигентам» было справедливо.

Позднее, в мои гимназические и университетские годы, мне посчастливилось слышать у нас дома разговоры людей, представлявших цвет тогдашней русской общественности и ученого мира. Эти разговоры мне очень многое дали как в смысле прямого на меня влияния, так и в смысле отталкивания моей мысли, приучения меня к критическому отношению к тому, что я слышал. Конечно, в детстве это было совсем не так, и сознание мое не могло многого воспринять и на многое реагировать. Но то, что мне пришлось тогда слышать, оставило огромный и полезный след в моей душе. То, что я собирал тогда крупинками из разговоров взрослых, я не мог бы почерпнуть ни из каких учебников или уроков. Помню, например, разговоры между Папа и Дедушкой Щербатовым про эпоху Александра II. Эти разговоры, слышанные мною в детстве, не только развили тогда мой ум, но многое мне осветили в дальнейшем под особым углом зрения.

24 января 1904 года вспыхнула Русско-Японская война.

Внезапное нападение японцев на нашу эскадру в Порт-Артуре поразило меня как громом. Я хорошо по-

мню это первое впечатление — почти физическое — какого-то оглушающего удара.

Война еще обострила мое патриотическое чувство. Я был с самого раннего детства совершенно уверен в непобедимости русского оружия, и наши последовательные военные неудачи в течение японской войны от этого особенно тяжело переживались мною.

Вся наша семья переживала поражения России крайне болезненно, но у старших патриотическая боль отчасти переливалась в политический протест, у меня же она оставалась только болью.

Совершенно для меня неожиданное поражение России дало резкий толчок к быстрому созреванию моей политической мысли, до того времени дремавшей. Во многом японская война подготовила то, что окончательно сделала последующая революция: она разбила в моей душе столь же прекрасное и цельное, сколь и наивное детское общественно-политическое мироощущение.

Еще куда тяжелее, чем поражения, переживались мною — как и моим отцом — сдача Порт-Артура и эскадры адм. Небогатова. Душевные раны от военных поражений в конце концов затягиваются и заживают; память о геройстве и позоре навсегда остается живой: она возвышает душу или невыносимо жжет ее...

Память о позорном пятне небогатовского дела на нашем славном Андреевском флаге переживается мною сейчас, на шестом десятке, столь же остро и вероятно даже глубже, чем тогда четырнадцатилетним мальчиком.

1905 ГОД

Я уже говорил; что мои родители решили дать нам с братом домашнее образование, а лет с пятнадцати отдать — приходящими — в гимназию. Когда родители принимали это принципиальное решение, они не могли знать и предвидеть, в какое исключительное время мне придется окунуться в эту «школьную общественность» !

Осенью 1905-го — пятнадцати лет — я поступил в 6-й класс Киевской Первой гимназии.

1905 год! — год так называемой «Первой русской революции». Можно спорить, конечно, произошла ли или нет тогда в России «революция», но совершенно несомненно, что настроения широких народных масс были тогда весьма революционные. И вот в эту эпоху общественного брожения я попал в гимназию. Там все кипело, как в котле, и мои товарищи-шестиклассники — шестнадцатилетние юноши, считали себя призванными принимать самое деятельное участие в политической жизни страны. Можно сказать, что для того, чтобы научиться плавать, я был брошен не в тихую воду, а в бурлящий океан!

В нашей семье, или точнее, в наших семьях, общественно-политический интерес был всегда очень значителен, но он никогда не имел того доминирующего, совершенно исключительного значения, какое ему придавалось, особенно в это время, в среде интеллигенции. В гимназии я столкнулся именно с таким настроением: для огромного большинства моих наиболее способных товарищей казалось, кроме политики на свете вообще ничего не было и все сводилось к ней одной. Те, кто в моем классе не интересовался исключительно политикой, вообще ничем не интересовались, кроме чисто личных дел. Кажется, единственное исключение представлял собой В. Н. Ильин, который тогда только и думал, что о паровозах и мечтал сделаться инженером... (После долгих лет перерыва в знакомстве я встретил его в Париже... профессором богословия!)

Нет человека, на которого не действовала бы «массовая психология», но степень этого действия весьма различна. На опыте оказалось, что я принадлежу к числу людей, сравнительно трудно поддающихся массовому гипнозу, и часто даже массовое увлечение действует на меня отталкивающе, вызывая сопротивление. Это ясно сказалось в 1905 году в моей тогдашней гимназической «общественной жизни».

Не только по сравнению с моими товарищами по гимназии,

но даже с очень многими людьми старшего поколения, я остался как-то мало затронут политическим опьянением, охватившим тогда столь многих и, в особенности, молодежь. При несомненном интересе к политике я, насколько помню, сохранил большую трезвость в суждениях. Сколько я видел тогда и юношей и людей уже зрелых лет, которые были буквально «влюблены» в те или иные политические программные требования. «Влюбленный» в глазах невлюбленного представляется несколько наивным. Это чувство, как это ни странно, я не раз мальчиком испытывал тогда по отношению к людям с проседью в бороде... Я помню, например, одного профессора-политехника (проф. Рузский), который совершенно экстатически говорил о «четыреххвостке» (всеобщее, тайное, равное и прямое избирательное право). Тогда, пятнадцатилетним юношей, я был поражен странным опьянением от такого безалкогольного напитка! Только позднее я понял, что это было просто влюбление, влюбление... в отвлеченную формулу... Таких людей, как этот профессор Рузский, было тогда немало среди людей всякого возраста. Субъективно, такие «влюбленные политики» могут быть симпатичны, но они, в лучшем случае, пустоцветы, а в худшем — их наивный идеализм открывает путь самым темным силам...

Если такое политическое опьянение было в 1905 году даже у взрослых, то что же говорить о гимназистах? В моем классе было несколько (немного) «черносотенцев», но среди них не было ни одного мало-мальски культурного. Наш киевский класс был ненормально велик — 54 человека. Среди них огромное большинство интересовавшихся политикой — были либо эсерами, либо эсдеками. Было не лишено комизма наблюдать горевших несомненным идеализмом юношей, влюбленных в учение, так отрицательно относящееся ко всякому идеализму,— «исторический материализм» Маркса. Понятно, весь комизм этого я понял уже позже, но в достаточной мере ощущал его уже и тогда, и даже — помню — в лицо подсмеивался над иными молодыми эсдеками и их увлечениями.

Мое положение в классе было не совсем обычное. К «черносотенцам» я Примкнуть не мог по двум основным причинам. С одной стороны, они были примитивно и грубо некультурны, а с другой — «черносотенство» не соответствовало ни моим начинавшим тогда слагаться убеждениям, ни самой моей природе. Я родился с несомненными задатками консерватора, но был с детства проникнут атмосферой умеренного либерализма. Поэтому моя консервативная природа включила либерализм в число тех принципов, которые надо охранять, тем более, что эти либеральные принципы уже вошли в

плоть и кровь русской жизни, особенно со времени «эпохи великих реформ». Вообще, «черносотенство» являлось в России отнюдь не здоровым консервативным направлением, а вредно-реакционным и притом демагогическим, как и направление его крайне левых противников,

Так или иначе, я не мог примкнуть к нашим гимназическим черносотенцам, которых, однако, в те времена (позже было иначе!) нельзя было не уважать, так как в гимназии они плыли против течения, что требовало с их стороны немало мужества.

Среди «левых» я тоже никак не мог быть своим человеком, да и не стремился к атому. Среди них было, конечно, куда больше мысли и образования, чем среди «черносотенцев». Наш класс был по способностям и развитию значительно выше среднего. Социалистических и революционных увлечений «левых» я совершенно не разделял. Маркс был кумиром многих в нашем классе, причем, конечно, многие его и не пробовали читать... Я помню, какой эффект произвела среди наших эсдеков моя критика материалистического объяснения крестовых походов. Это было для них почти кощунство, но, с другой стороны, они оценили такую мою «дерзость» в отношении Маркса и не уклонялись от споров. Эти разговоры имели вообще большое значение для моего положения в классе. Надо сказать, что мое «княжество» естественно вызывало холодное и недоброжелательное отношение среди «левых» и даже вообще интеллигентов. Но я немало смутил их тем, что я не подходил к тому типу аристократа, который они себе почему-то рисовали. Я не был «пшютом» и «белоподкладочником», и, «кроме того», лидеры наших «левых» не без удивления заметили, что «князь» во всяком случае не менее образован, чем они сами, а, может быть, даже и более... Все это имело большое значение, и «левые» скоро стали ко мне относиться без первоначального недоброжелательства, но как к чему-то странному, чтобы не сказать ненормальному. Я уже тогда заметил—дальнейший опыт подтвердил мне это,— что культурный аристократ никак не подходит к той упрощенной схеме, которую рисует себе о нас огромное большинство интеллигентов. При встрече с таким человеком в их сознании образуется какая-то странная мешанина отталкивания и притягивания: они одновременно видят в нас что-то чуждое, любопытное и порой ценное. Мне пришлось это наблюдать особенно впоследствии, но начались эти наблюдения еще в гимназии. Вообще, всюду, где я сталкивался с интеллигенцией, у меня всегда устанавливались недурные отношения, отмеченные, впрочем, некоторым холодком с обеих сторон. Я знал многих очень симпатичных интеллигентов, но

внутренне интеллигенция всегда оставалась мне глубоко чуждой (как, очевидно, и я — ей!). Лучших представителей интеллигенции несомненно привлекает старинная и утонченная культура, но они стараются не показывать этого и даже как бы стыдятся. Вообще, одной из неприятных черт интеллигенции являлась ее чрезвычайно развитая и щекотливая спесь. Большинство интеллигентов станут страстно отрицать это, но черта эта несомненна. Скажу более: черта эта в интеллигенции распространена гораздо шире, чем пресловутая «аристократическая» спесь: надо сказать, что*настоящий* аристократ «спесив» не бывает. Встречаясь с аристократом, типичный интеллигент прежде всего обдавал его своей интеллигентскою спесью; надо было хладнокровно пройти через это, и тогда могли установиться простые и хорошие отношения.

При своей некоторой «бесформенности» русская интеллигенция обладала довольно значительной силой ассимиляции. Мне пришлось впоследствии видеть совершенно «обынтеллигентившихся» представителей других слоев общества, а также иностранцев, полностью усвоивших черты русской интеллигенции. (Все, что я говорю об интеллигенции, относится к*старой* русской интеллигенции; интеллигенция советская слишком во многом отличается от нее.)

Из трех лет гимназического обучения всего больше я получил от первого — в Киевской гимназии, в 1905/06, и дало мне больше всего общение с товарищами. Особенно полемика с нашими «марксистами» побудила меня к усиленному изучению аргументов против них и дала мне, кроме того, умение спорить. Споры на «марксистские» темы из стен гимназии перешли в гимназический кружок, собиравшийся по праздникам. Среди членов этого кружка только двое — сын известного киевского адвоката А. Гольденвейзер и я, были антисоциалистами. Все остальные были либо с.-р., либо с.-д. Но против «марксистов» нам с Гольденвейзером удавалось иногда получать союзников из среды эсеров. Среди последних был будущий министр иностранных дел петлюровского правительства, будущий «щирый» украинец — А. Шульгин.

Когда в 1906 году мы всей семьей переехали в Москву, я перешел в тамошнюю Седьмую гимназию. Я был поражен разницей уровня классов. В Москве я попал в очень средний класс и тогда еще больше оценил богатый способностями класс киевский. Конечно, это наблюдение не дает права делать какие-либо выводы: думаю, что*средний* уровень московской и киевской гимназий был приблизительно одинаков.

В Киевской гимназии мне пришлось выступить со своей первой публичной речью. Забастовочное движение по всей России разрасталось и захватило даже средние учебные заведения. Во время уроков три или даже четыре старших класса гимназии созвали сходку, на которой «единогласно» решили объявить забастовку. О таком «единогласном» решении объявил наш председатель — восьмиклассник с еле пробивающимися усиками, которыми он, по-видимому, гордился не менее чем своим «марксизмом». Между тем при голосовании я поднял руку против забастовки (я знал, что на сходке я был далеко не единственный противник забастовки, но кроме меня никто руки не поднял). Я громко запротестовал: «Нет, не единогласно: я голосовал против!» Вся толпа гимназистов закричала, меня подхватили на руки и поставили на стол, откуда говорили ораторы, чтобы я «объяснил свое голосование». Наши «левые» говорили очень бойко, я никак не мог состязаться с ними в этом искусстве. Совсем не в митинговом тоне я стал излагать мои мысли: Сходка не слушала меня и только перебивала. Председатель добросовестно пытался дать мне вбзможность говорить, но и он ничего не мог поделать. Моя речь, конечно, никакого значения не имела и иметь не могла, даже если бы я обладал большим ораторским талантом, а этого таланта у меня нет совсем. Мыслить и связно высказывать свои мысли, или быть оратором — вещи совершенно разные.

Как раз среди моей речи на сходку пришел директор с требованием немедленно разойтись по классам... Толпа, конечно, ответила на эти слова только дикими выкриками. Директор видел, что я стою рядом с председателем сходки и ораторствую... Я заметил изумление в его глазах. При директоре, который скоро ушел, я прервал свою речь, так как *при начальстве* говорить против забастовки я, понятно, не хотел. Я знаю, что потом некоторые «левые» это оценили.

Несмотря на мой протест, сходка все же решила, что забастовка в нашей гимназии решена «единогласно», и я понял, что наши «черносотенцы», с которыми в вопросе забастовки я был единомышленником, поступили мудрее меня, вовсе не пойдя на сходку... Больше па-сходки ни в гимназии, ни в Университете я никогда не ходил: с меня было довольно и этого опыта! Разумная аргументация на таких собраниях совершенно невозможна, а сами сходки производили на меня отталкива-ющее впечатление. Я помню чувство почти физической тошноты при истерических выкриках какой-то курсистки на сходке в Университете. Я слышал эти выкрики, проходя по коридору мимо аудитории, где происходила сходка...

Несмотря на революционное брожение, забастовку идаже

«химическую обструкцию» (в классах, чтобы помешать урокам, разливали какую-то невероятно вонючую жидкость; делалось это, конечно, «с политической целью»), 1905/06 учебный год все же прошел не совсем бесплодно для учения.

Сравнивая мои впечатления от преподавания в двух гимназиях, где я учился, с впечатлениями моего отца от тех двух других гимназий, где учился он, могу сказать, что прогресс в постановке преподавания был несомненен. Только в отношении мертвых языков в прежнее время гимназия добивалась больших результатов. Постановка обучения живым языкам была во время моего отца и осталась в мое время совершенно неудовлетворительной, но в целом преподавание было недурным, а иногда и просто хорошим.

Среднее образование в России было, в общем, поставлено удовлетворительно и несомненно прогрессировало.

Бурление 1905 — революционного — года, то, что я слышал и у себя дома и в гимназии,— все это очень подхлестнуло мою мысль и общественно-политические интересы.

Убеждения человека растут в нем, как коралловые острова в океане. Долгие годы ничего не заметно на поверхности моря, долгое время ничего нет и на поверхности сознания, а между тем в темных глубинах морских, как и в глубинах нашего бессознательного «я», происходит таинственная строительная работа. Растут и крепнут коралловые рифы, растут и крепнут наши убеждения. И вот вдруг из глубин моря показываются очертания вновь народившегося острова, а мы — в нашем сознании — «находим» сложившиеся убеждения- Убеждения эти отнюдь не случайны — они складываются в каждом человеке в зависимости от его природы, от его сложной наследственности, от внешних влияний на него, от его собственных мыслей и переживаний. Эти органически зреющие убеждения питаются той средой, в которой живет человек с самого своего рождения. Многое из того, что входит в сознание, часто как бы бесследно исчезает в нем, но исчезновение это кажущееся: в глубинах подсознания происходит усвоение и созревание тех семян, которые в него запали и нашли подходящую для себя почву. Из глубин бессознательного тянутся новые ростки и достигают наконец поверхности дознания. Так зреют в нашей душе и добрые семена и плевелы...

В пятнадцать лет я не имел еще, конечно, установившихся политических убеждений, а только определенные задатки для них. Та атмосфера, в которую я попал в 1905 году, подействовала на мое сознание и подсознание, как теплица, ускоряющая рост и развитие растений. На мое счастье, потому что эпохи брожения

чаще действуют на человека не как теплица, а как ломающий ураган.

Когда я попал в гимназию и встретился с товарищами, кичившимися своими «политическими убеждениями», я яснее почувствовал, что таких оформленных убеждений у меня нет. Я, конечно, не сознавал тогда, что вызубренные и принятые на веру положения Маркса и Энгельса не являются настоящими, органически сложившимися и продуманными убеждениями.

Однако постепенно, за гимназические годы, я почувствовал, как под моими ногами крепнет почва... То, что входило в мое сознание (а я много читал, слушал и думал в эти годы), органически соединялось с тем, что росло из глубин моего подсознания. Мои политические убеждения, или, скорее, государственное чувство сложилось, таким образом, довольно рано.

Папа в своем замечательном «Из прошлого» дает талантливую характеристику двух «стилей» — трубецковского и лопухинского, сочетавшихся и боровшихся в их семье. Сам Папа был более проникнут либеральным стилем лопухинской семьи, и в нашей собственной семье этот стиль чувствовался сильнее, чем стиль старо-трубецковский. Однако — я сужу теперь на расстоянии! — у меня в душе было заложено, по-видимому, больше задатков трубецковского стиля. В частности, в политике я был консервативнее и более скептичен, чем Папа, и поэтому всегда был несколько «правее» его. В нынешнем поколении совершенно обычно, что дети «правее» (и часто намного!) своих отцов, тогда же было скорее обратное, и мой брат Саша, заявлявший, что он «левее» Папа, более подходил к веянию времени.

Между политическими убеждениями моего отца и моими не было глубокого и идейного противоположения «отцов и детей», но разница в оттенках была часто очень существенная. Если убеждения моего отца, как и мои, можно было охарактеризовать двумя словами — «умеренный либерализм», то у Папа ударение безусловно ставилось на «либерализм», у меня же — на «умеренный». Папа был в политике более идеологом, я же, по молодости лет не могший участвовать в политической работе, был, как ни странно, более реалистом. В дальнейшем между моим отцом и мною было коренное несогласие в оценке политики Столыпина. Папа был его горячим противником, я же был его сторонником. Поколения здесь как бы поменялись ролями: Папа «юношески увлекался», я же, как будто, был «охлажден жизненным опытом». Странного здесь, по существу, ничего не было. Я говорил уже, что природа Папа была чрезвычайно

талантлива и он был одарен во всех отношениях, кроме как в практическом. Так как политика относится прежде всего к практике, то тут у Папа, думается мне, часто недоставало чувства реальности. Мне невольно вспоминается то, что он писал о своей матери (моей Бабушке) и ее способности к «экзальтации», над которой нежно подтрунивал Дедушка. Как и его мать, Папа имел склонность пропускать действительность через призму своего поэтического воображения. В реальной политике это не всегда давало хорошие результаты... Поскольку же политика должна быть освещенной идеей, Папа был в своей области.

У Папа не хватало практического «государственного чутья», но его острый ум и широкое образование позднее открывали ему самому его ошибки, сделанные под влиянием чувства или «идеологии». В общем, политика совсем не была сферой Папа, но он считал своим долгом ею заниматься и бросался в нее с самоотвержением, потому что горел патриотизмом. Папа был полной противоположностью тех отвлеченных философов, которые, как Гегель, спокойно писали философские трактаты под гром Иенских пушек, разрушавших их отечество... Чтобы понять и оценить Папа в этом отношении, надо прочувствовать то, что он вдохновенно писал в «Из прошлаго» о своем брате, дяде Сереже Трубецком. Я часто критиковал частности политической деятельности Папа, но если бы он мог от нее совсем отказаться в такое критическое для России время, Папа не был бы тем, чем он был, и светлый образ его был бы не так ярок!

В области политики я как-то избежал увлечения отвлеченными формулами, чем в 1905 году и позже столь многие пленялись в России и к которым была так особенно падка молодежь того времени. Я уверен, что память меня не обманывает и правильно рисует мне мои тогдашние настроения. Отвлеченное доктринерство 1-й Государственной Думы, где собрался «цвет русской интеллигенции», меня чрезвычайно раздражало. В па мять у меня с того времени врезались прекрасные слова Н. Н. Львова, произнесенные им с думской трибуны: «Бойтесь, господа, самого худшего деспотизма — деспотизма голых формул и отвлеченных построений!»

Это были слова «вопиющего в пустыне»! Мне чрезвычайно понравилась тогда прекрасная речь Н. Н. Львова, он выразил то, что я смутно чувствовал.

В начале этого столетия русский государственный механизм (в очень многом оклеветанный) оказался не на высоте положения: японская война и последующие революционные потрясения свидетельствуют, что он провалился на трудном государственном экзамена. Но провалилась на этом экзамене и наша

самовлюбленная и захваленная «прогрессивная общественность». Провалилась она потому, что в ней не оказалось государственного смысла и она жила лишь «голыми формулами» и «отвлеченными построениями». Среди представителей государственной власти нашлись люди — на первом месте Столыпин,—которые поняли, что государственный механизм России нуждается в серьезной перестройке; они поняли, что бюрократический строй отжил и что надо призвать к государственному строительству и русское общество; они поняли, что многое в России надо перестроить, но что для этого не надо всего ломать... Попытка осуществить эту государственную реформу при сотрудничестве лучших элементов русской общественности — а Столыпин честно стремился это сделать — сама по себе говорит в ихпользу.

Напротив, представители «прогрессивной русской общественности» не поняли, что благо России требует от них работать рука об руку с этими представителями власти. Они не поняли, что сложный государственный механизм должен быть осторожно перестроен, но отнюдь не сломан... Провал «прогрессивной общественности» на государственном экзамене был полный.

Но это было бы еще полбеды, если бы наша «прогрессивная общественность» осознала свои ошибки и готовилась бы к возможной переэкзаменовке. Но нет! Уверенная в своей непогрешимости, «она ничего не забыла и ничему не научилась»!

Настала трагическая переэкзаменовка 1917 года. Условия были несравненно труднее, чем в 1905 году. Можно ли удивляться результату?!

Когда мне приходилось переживать тяжелые неудачи и поражения России, мне служило облегчением сознание, что горе это переживается не мною одним, а всеми русскими людьми, и в этом единении я чувствовал залог лучших дней.

Я помню, напротив, чувство тупого, беспросветного ужаса, который охватил меня при первом известии о «великой, бескровной» революции 1917 года. Вокруг меня были только радостные лица... Люди эти наивно верили, что над Россией «занимается светлая заря»... Я никогда не испытывал такого чувства духовного одиночества и отчаяния, как тогда. Даже большевицкий переворот я пережил легче: тогда я был уже окружен единомышленниками...

Я говорил выше, что революция 1905 года повлияла на быстроту моего умственного созревания, но она оставила и другой глубокий след в моей душе — след разрушения.

Я описывал патриархальную, идиллическую обстановку

нашего детства в деревне. Дедушка Щербатов, в имениях которого мы проводили лето, был, как я говорил, проникнут сознанием, что и после уничтожения крепостного права он — «отец своих крестьян». Но, с другой стороны, он не сомневался в том, что и крестьяне считают себя «его детьми». «Мы — Ваши, Вы — наши!» — эта старинная крестьянская формула звучала для его слуха без малейшей фальши.

Я рос в этой атмосфере; она казалась мне, следовательно, совершенно естественной. Да я и видел людей, «по-старинному» преданных Дедушке, например тех старых кучеров, Никиту и Гурьяна, о которых я рассказывал, да и не их одних. Я уверен, что преданы они были действительно, и не за страх, а за совесть...

Все же, насколько я помню, уже в детстве яркие краски этой патриархальной идиллии несколько поблекли в моих глазах. Я продолжал верить, что «хорошие» мужики относятся к господам, как это полагалось по схеме Дедушки, но я начал замечать, что есть и «дурные» мужики и что они даже не единичное исключение... Как бы то ни было, до конца японской войны и 1905 года патриархальная идиллия — «мы — Ваши, Вы — наши», если и потускнела, все же продолжала жить в моем сердце.

Любовь к мужику — отнюдь не народническое преклонение перед ним! — чувство особо близкой связи с крестьянством я впитал в себя из окружающей меня среды с самого моего рождения. До некоторой степени мои чувства к крестьянину носили какой-то смутный отпечаток родственности, чего совершенно не было, например, в отношении к рабочему, разночинцу или интеллигенту. Такое восприятие не было индивидуальной моей особенностью: таково же было ощущение моих сверстников, росших в той же атмосфере, что и я.

В детстве я слышал только от двух лиц «антикрестьянские» суждения. Они меня тогда так поразили, что я запомнил их на всю жизнь.

Я помню, как однажды тетя Паша Трубецкая (рожд. кн. Оболенская), жена дяди Сережи, говорила о чем-то с другими взрослыми. В комнате находились сын тети Паши, Котя Трубецкой (мой двоюродный брат и однолетка), и я. Вдруг тетя Паша резко повернулась к нам и, обращаясь именно к нам, а не ко взрослым, сказала своим своеобразным, глухим, отрывистым, грудным голосом: «Знайте, что мужик — наш враг! Запомните это!» Меня это так поразило, что я это запомнил, хотя и не понял тогда, что хотела сказать тетя Паша. Это так отличалось ото всего, что я слышал.

Помню я и суждение по этому вопросу старого дворецкого Дедушки Щербатова Осипа. Он не раз и по разным случаям

говаривал: «А отчего я такой вышел? — (он был очень доволен собой) — Потому что родился и воспитан при крепостном праве. Вот почему! Без крепостного права народ пропадает! Народ теперь стал не тот! Народ стал разбойник и будет еще хуже». Слова

Осипа меня всякий раз поражали: он был почти единственным и во всяком случае самым страстным сторон- ником крепостного права, которого я знал в жизни. Я помню, как раз (я был тогда очень мал) я стал убеждать Осина, что освобождение крестьян было очень хо- рошо: «Это мне Дедушка сказал...» (Осип был очень предан Дедушке). Я вижу и сейчас улыбку сожаления, с которой Осип посмотрел на меня: «Дедушка Ваш — слишком хороший человек, он мужика не знает... Может быть, когда-нибудь, не дай Бог, Вы узнаете. Вспомните тогда...»

Позднее (мне было тогда лет девять) я помню, как Осип разговаривал о мужиках с нашим учителем И. В. Сторожевым. Разговора я не помню, он велся в стороне от нас, но последние слова Осипа меня поразили и врезались в память. «Господа деревни не знают,— говорил Осип.— Мужик — зверь! Руку лижет, а норовит укусить! Уж я-то знаю, свой же брат! Только управы на него теперь нет. Зазнался мужик! И все хуже будет... Вот старый князь (Дедушка), Бог даст, не доживет, а князьков-то (Осип показал на нас с братом), может, когда мужики и прирежут...» Осип, очевидно, думал, что мы с Сашей не слышим его слов, так как мы чем-то занимались. Но я спросил его с удивлением:

«Почему прирежут?» — «Что Вы, что Вы! — смутился Осип,— это Вам так послышалось, я этого не говорил... За что прирезать-то? Что Вы!» Иван Владимирович (Сторожев) покраснел и тоже уверял меня, что я ослышался... Но я знал, что Осип сказал именно так и что это мне не послышалось... Все это было так непонятно!

Может быть, слова тети Паши и Осипа, столь дисгармонировавшие со всем, что я всегда слышал, способствовали потускнению красок патриархальной идиллии, о которой я говорил, но они не разбили ее в моем сердце. Это сделала революция 1905 года.

Была ли эта *идиллия* всегда только иллюзией или она потом сделалась такой, но когда она была разбита, я пережил это очень болезненно...

Собственными глазами «аграрных беспорядков» и разгромов усадеб я не видел, но достаточно слышал о них... В нашем Бегичеве (Калужской губернии и уезда) настоящих аграрных волнений не было, но, проезжая через деревни, нельзя было не чувствовать, что отношения между господами и крестьянами чем-

то отравлены. Чувствовалась неопределенная, но злая психическая зараза.

Дважды летом 1905 года нас «по секрету» предупреждали, что в нашей местности появились какие-то «агитаторы» («одним словом, политики,—в остроге сидели») и что ночью хотят поджечь «экономию» и «княжеский дом»...

Моя мать с сестрой Соней проводила это лето в Швейцарии по предписанию врачей из-за здоровья Сони. Папа велел мне Сашу не волновать, но у нас с ним в эти ночи лежали в комнатах недалеко от кровати револьверы и охотничьи ружья с картечными патронами... Трудно вообразить Папа в таком положении!

Раз ночью по нашему парку прошла группа людей — человек пятнадцать — двадцать, судя по голосам. Они вызывающе громко пели революционные песни. Ночной сторож, который должен был охранять усадьбу, так перепугался, что убежал в соседний лес, откуда вернулся только утром, после чего был отставлен от должности и... никем не заменен. Наш человек, Иван, был тогда очень захвачен революционными идеями, но к нам он их не относил. В то время как революционное пение приближалось к нашему дому, Иван с охотничьим ружьем в руке устремился к подъезду. В его глазах светилась решимость и охотничий задор (он был страстный охотник!): «Я сейчас в них стрелять буду!» — задыхающимся голосом говорил он... Я стоял в коридоре с ружьем в руке. Вдруг из спальни вышел Папа, не захвативший с собой ружья. Узнав, что Иван стремится к «превентивному» нападению на вызывающий хор в парке, Папа мудро воспретил это и сказал, что стрелять надо только «в самой крайности»... Но до этого, слава Богу, не дошло — хор вдруг стал удаляться и замер... Вокруг дома продолжали бешено лаять собаки, Саша, насколько помню, даже не проснулся, а мы легли спать, и наш сон уже ничем не нарушался до утра.

У нас все ограничилось пустяками и мелкими трениями, но по всей России пылали усадьбы!

Это было время, когда эсеры, руководившие аграрными беспорядками (эсдеки специализировались на фабриках и заводах), пустили крылатое слово: «Разоряйте гнезда, воронье разлетится!»

«Воронье» — это были мы, помещики!

Много было тогда разрушено наших родных гнезд, много пропало бесценных культурных сокровищ. Моралъно удары эти переживались еще куда тяжелее, чем материально. Болезненно разрывались нити, веками связывавшие нас с крестьянами...

В это время с трибуны Государственной Думы кадет Герценштейн (не стоит говорить о «крайних левых») с

непристойным юмором говорил об*«иллюминациях*дворянских усадеб»!

«Патриархальная идиллия» была разбита вдребезги... Это было одно из тяжелых переживаний: в моей жизни.

Мне приходилось слышать, как, критикуя разрушительные последствия революции, «объективные люди» добавляют: «Но все же революция, как ураган, очищает воздух...» Это совершенно неверно! Революция не очищает воздух, а заражает его, оставляя после себя злую отраву в душах.

Всякий социальный строй — иерархичен. Вопрос только в том, как создается эта иерархия и какова ее ценность.

Держится установленная иерархия, как и всякая власть, массовым гипнозом.

Я помню, как однажды особенно ярко бросилась мне в глаза сила этого гипноза. Это было при объявлении войны 1914 года. Я видел, как толпа крестьян молча смотрела на объявлениеомобилизации. Многие должны были идти на призыв, другие отправлять своих близких... Всем было тяжело, никому не хотелось идти. Индивидуального сознания печальной необходимости войны почти ни у кого не было («мы — калуцкие, нам море не нужна...»). И вот все безропотно бросали все и шли... Что их побуждало к этому? Патриотизм? Только в исключительных случаях. Масса шла потому, что она чувствовала принуждение идти. А какова была реальная, физическая сила, стоящая за этим принуждением? Два, три урядника на огромную волость! Если бы люди на мгновение вышли из-под действия массового гипноза власти и чувства необходимости ей повиноваться, власть эта ничего не могла бы с ними поделать, и вся сложная постройка государственного здания рассыпалась бы в прах...

Революции разрушают в народе гипноз, поддерживающий в нем старые формы государственных и социальных отношений. Если революция «удается», то есть если революционеры прочно захватывают власть, они в свою очередь создают новый массовый гипноз и опираются на него. Без этого гипноза никакая власть существовать не может.

Революция разрушает гипноз власти в двух направлениях: она подрывает его в душах гех, кто должен повиноваться, и в тех, кто должен приказывать.

Приказывать, когда не чувствуешь полной уверенности, что твоего приказа послушаются, очень трудно. Всякий, переживший революцию на каком-либо «командном посту», это понимает. Я испытал это лично в революцию 1917 года. В 1905-м я был еще слишком молод, но и тогда уже разложение освященной седой

стариной массовой психологии коснулось и меня.

Я помню такую характерную в нескольких отношениях картину. Это было, должно быть, в 1906-м, мне было лет 16. Я шел по нашему бегичевскому парку, возвращаясь домой. Вдруг я вижу Папа, выходящего из дома и направляющегося к «экономии». На его лице было явное выражение скуки и раздражения, потому что его оторвали от занятий... Папа обрадовался, увидя меня: «А, Сережа! Я посылал за тобой. Из конторы прибежали сказать, что какие-то рабочие перепились и даже бросились на Конрада Желеславовича (наш управляющий Лучицкий, обрусевший шляхтич). Черт знает что! Какой-то бунт! Один даже укусил его за ухо! Пойди там покричи и наведи порядок!»

Папа было очень скучно самому идти «покричать и навести порядок», он рад был послать меня. Если бы у Папа хотя бы только мелькнула в голове мысль, что пьяные и взбунтовавшиеся рабочие, бросившиеся на управляющего, могли броситься и на меня, он, конечно, не послал бы меня, а пошел бы сам. Но эта мысль, которая кажется всем нам теперь совершенно естественной, Папа в голову не пришла. И не потому, что он в ту минуту витал где-то вне земли: вызов в контору уже заставил его спуститься на землю. Дело в том, что Папа еще сохранил тогда цельность старой психологии, унаследованной от отцов и дедов: он был бессознательно и абсолютно уверен, что мужики не посмеют не подчиниться моему авторитету, для него было совершенно ясно, что на нас они не дерзнут броситься, как на управляющего.

Моя психология была уже не та! Разложение ее уже началось...

Я почувствовал, что положение рискованное, и совсем не был уверен, что моя попытка «покричать и навести порядок» приведет к желательным результатам.

«Хорошо, Папа!» — сказал я и пошел на «экономию»; Папа вернулся домой...

День был праздничный; несколько наших рабочих, подгулявших в Полотняном, вернувшись домой и еще напившись по дороге, насильно ворвались в контору и потребовали от управляющего «денег вперед». Очевидно, они хотели ехать пьянствовать дальше. Управляющий отказал. Произошла дикая сцена. Рабочие кричали на управляющего и угрожали ему, а двое-трое наиболее пьяных бросились на него. Началась свалка. Один из рабочих, подмявший под себя управляющего, укусил его за ухо. Управляющему как-то удалось выбежать из конторы, и он послал сказать в наш дом, что «рабочие бунтуют».

Я старался идти спокойно, но мне было жутковато. Когда я подошел к «проспекту», навстречу мне вышел управляющий. Вид его был далеко не успокоительный: он был бледен как полотно, и ухо его было в запекшейся крови. Оказалось, что тем временем все рабочие, кроме двух «самых озорных», сами ушли из конторы, где они только сломали стул и разорвали дойную ведомость. Но двое «озорников» там остались и «бунтуют», отказываясь выйти, если им не дадут сейчас же денег, и грозясь все переломать.

«Не ходите туда одни,—говорил мне управляющий,— я сейчас пошлю за Лаврентием и Михайлой, мы войдем вместе, а то мало ли что может случиться... Это такой народ! — на все готовы!»

Жуткое чувство во мне усилилось, но я заметил группу рабочих перед конторой, которые смотрели на нас с управляющим с каким-то странным выражением... Я понял, что ждать на их глазах вызова подмоги совершенно невозможно, это роняет мое достоинство.

«Нет, я пойду сейчас же»,—сказал я управляющему. Мой твердый тон не соответствовал моему внутреннему состоянию: я очень боялся, но чувствовал, что *обязан* так поступить.

Пройдя мимо рабочих, толпившихся у крыльца, я взошел на лестницу и решительно открыл дверь конторы, за которой слышались невнятные крики.

«Что! — закричал я,— как вы смеете! Вон отсюда!» Мой уверенный голос очень ободрил меня самого. Один из «озорников» был сломлен немедленно, я сразу это увидел, и это тоже немало меня ободрило. Смущенно что-то бормоча, он вышел из конторы. Но другой не двинулся. Он молча и мрачно смотрел на меня. Это была решительная минута. Чувство страха вдруг как-то пропало в моей душе. «Ты пьян,— сказал я без крика, но решительно,— ступай вон и протрезвись. С пьяным я говорить не буду!» Рабочий продолжал мрачно смотреть на меня... но вдруг повернулся и пошел к двери...

Этот тип лиц я видел позже в большом количестве: тип тупого и озлобленного запасного солдата-большевика...

Эта сцена свидетельствует о том, что расшатывание старой психологии под влиянием настроений 1905 года зашло уже довольно глубоко, но еще не до конца. В 1917-м это кончилось бы, вероятно, менее благополучно...

Я совсем не родился смельчаком и совсем не люблю острый физический риск, который привлекает многих именно чувством опасности. В опасные моменты я очень определенно испытываю чувство страха. Однако, слава Богу, мне не так уж трудно пересилить свою физическую природу и не поддаться этому

чувству, или, по крайней мере, действовать так, как будто его не было. В жизни моей не раз бывали случаи проявления того, что называется «спокойной храбростью», в условиях куда более страшных, чем в описанном случае, но в полном смысле слова «смелых» своих действий я не припоминаю.

Я уже говорил, что поступление в гимназию дало большой толчок моему умственному развитию. Ввиду засилия «марксистов» в нашем классе, я был как бы вынужден заняться этим предметом, чтобы противостоять им. Не один гимназический «марксист», важно ссылавшийся на 1-й том «Капитала», никогда не открыв этой неудобоваримой и неталантливой книги, бывал удивлен, узнав, что я ее читал...

Это повлекло за собой в дальнейшем углубление постепенно интересы мои ушли в сторону чистой философии и в восьмом классе я уже твердо решил поступить на историко-филологический факультет, где в те времена существовала особая «философская группа». Папа, конечно, радовался моему решению, но не давил, предоставляя мне полную свободу выбора.

Весной 1906 года я выдержал «экзамен зрелости» и подал прошение о приеме в Университет.

Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Между гимназистом и студентом грань очень резкая! Гимназист — «мальчик», в лучшем случае — «юноша», студент же— «молодой человек»!

Гимназист подвержен каждодневной классной дисциплине. Вообще, к нему относятся совсем не как ко взрослому.

Студент — другое дело! Внешняя дисциплина занятий почти совершенно отсутствует. Студент сам выбирает, какие курсы лекций он будет или не будет слушать. Принудительность остается только в области экзаменов и, отчасти, практических занятий.

Студент — полноправный участник светской, жизни. Он*делает визиты,* бывает на балах и раутах. В Петербурге на балах кавалерами были, главным образом, офицеры нескольких, «элегантных» гвардейских полков. В Москве гвардии не было вовсе, а офицеры «тянущегося» за гвардией Сумского гусарского полка в лучшем обществе, за редчайшими исключениями, не бывали. Сумской мундир я встречал в свете только на вольноопределяющихся «из общества». «Сумцы» блистали больше в купеческом кругу, в мое время не менее «светском» и конечно куда более богатом, чем тот старый «свет», о котором говорю я, состоявший, в своем ядре, из старинных московских аристократических и дворянских семей.

Положение студента светского круга было, таким образом,

относительно выше, чем в Петербурге, хотя сам этот «свет» и был гораздо меньше. Именно студенты были в мое время, главным образом, кавалерами на московских балах. (Конечно, все, что я пишу про светскую сторону студенческой жизни, относится к очень ограниченному кругу, а отнюдь не ко всему многочисленному студенчеству, где были представители самых разнообразных слоев населения, более всего интеллигенции.)

Я помню, с какой радостью, вернувшись с последнего экзамена зрелости, я совершенно мальчишеским движением сбросил с себя гимназический пояс с широкой блестящей металлической пряжкой-бляхой, на которой были выгравированы инициалы гимназии!

Конечно, не было никаких опасений, что я не буду принят в Университет (кончил я гимназию с золотой медалью), но все же мне доставило удовольствие получить через некоторое время после подачи прошения прейскуранты от нескольких «форменных портных», предлагавших мне заказать у них студенческую форму. Официальный ответ о приеме в Университет — все это знали — приходил всегда очень поздно, но портные посылали свои предложения немедленно по установлению списков принятых, которые они себе раздобывали неофициальным путем, через канцелярских служащих. Так было и со мною, и предложения портных, помнится, на целый месяц опередили официальное уведомление Университета о зачислении меня на историко-филологический факультет.

Лето 1908-го, между гимназией и Университетом, я провел, как всегда, в Бегичеве, а осенью, когда мы всей семьей переехали в Москву, я первый раз, не без радостного волнения, пошел в Университет.

Надо сказать, что посещал я лекции редко. Думаю, что за все четыре года моего университетского курса я был не больше чем на двадцати лекциях, причем главным образом на лекциях В. О. Ключевского (русская история):

В общем, я считал посещение лекций на нашем факультете — потерей времени. За время лекции и поездки на нее я мог дома прочесть гораздо больше и при этом *выбирать* авторов — русских и иностранных, а не всегда слушать того же профессора, иногда и посредственного. Что же касается профессоров талантливых, например того же Ключевского, то их лекции часто весьма мало отличались от их изданных курсов...

Вероятно, на факультетах, где лекции сопровождались опытами и демонстрациями, дело обстояло иначе.

Из четырех «учебных годов» в Университете (1908— 1912) я провел в Москве два с половиной года (точнее — две с половиной

зимы), полгода за границей и год у нас в Бегичеве, откуда только на один день в неделю я приезжал в Москву для занятий в семинарах.

В сущности, в Университете я занимался только в просеминарах и семинарах. На этих практических занятиях профессор находится в живом общении со студентами. Последние пишут и читают «рефераты» на заданные и выбранные совместно с профессором темы. Эти доклады подвергаются обсуждению и критике со стороны членов семинара. В обсуждении принимают участие и профессора. Такие занятия, если они хорошо ведутся,— очень полезны, особенно при небольшом числе участников семинара.

Всего больше мне приходилось работать в семинарах у профессоров Г. И. Челпанова и Л. М. Лопатина. Первый был скорее хороший педагог, чем ценный ученый; он технически прекрасно вел занятия (особенно помню его семинар по экспериментальной психологии). Полную противоположность Челпанову представлял Лопатин. Он был человек безусловно талантливый, оригинального философского ума, но как бы опоздавший родиться и попавший в чуждую ему эпоху. Ему надо было жить во времена Лейбница и Мальбранша, самое позднее — Мен де Бирана... У милейшего Льва Михайловича был большой личный шарм, но, в противоположность Челпанову, он был совершенно не педагог и не умел руководить занятиями, да и не стремился к этому, но зато иногда, когда он был в ударе, из уст его лилась блестящая импровизация. Л. М. совершенно не умел «работать» и трудов по себе почти не оставил, особенно за последний период его жизни. Только в памяти его очень немногих учеников остались блестки его философской мысли! Как в русской сказке, всего несколько драгоценных перьев упало из хвоста пролетавшей Жар-Птицы, да и перья-то эти почти все затерялись...

Философы старшего поколения — В. С. Соловьев, дядя Сережа Трубецкой, мой отец — очень любили Л. М. Лопатина как человека, но как-то не принимали его достаточно всерьез как философа. Мне кажется, что несколько ироническая оценка Л. М. Лопатина со стороны современников, русских философов — несправедлива. Если даже он — «блестящий пустоцвет», как мне пришлось о нем слышать, то это потому, что он не подошел к своей эпохе и не был воспринят ею. Лопатин принадлежал к числу тех — слишком многочисленных в России! — людей, которые далеко не дали того, что могли дать...

В свои университетские годы я работал, собственно, не в Университете, а дома, и даже почти без руководства. Работал я

много, но мало систематично.

Читал я в эти годы, главным образом, труды по философии, но и по истории, литературе, социологии, политической экономии, по сельскому хозяйству, государственному праву... и чего, чего я не читал, вплоть до персидских и индийских поэм...

Молодой желудок переваривает даже слишком обильную и разнообразную пищу. К счастью, так же действовал и мой молодой мозг, хотя опасность «несварения» была, как я теперь вижу,— несомненная.

(Я, конечно, но рожден был сделаться ученым-философом, а тем более профессором. Ясно сознавая это, я с благодарностью отклонил предложения и даже уговоры Л. М. Лопатина и Г. И. Челпанова по окончании Университета подготовляться к магистерским экзаменам (профессуре).

Для занятия философией у меня не только не было таланта Папа, но и его всепоглощающего интереса к ней. Я страдал от многообразия интересов: «от земли» меня тянуло к высотам умозрения, но пребывать там, в отрыве от земли,— я тоже не мог. С возрастом философские крылья моего ума еще ослабели, но любовь к обобщеньям и широким перспективам у меня осталась.)

Но вернемся к моим университетским годам. Я говорил, что занимался больше дома, чем в Университете. Это делал не я один, а и несколько моих родственников и друзей, поступивших в Университет одновременно или почти одновременно со мною. Это были мои двоюродные братья Котя Трубецкой (сын дяди Сережи, впоследствии знаменитый ученый-филолог, профессор Венского университета) и Дмитрий Самарин, а также мой друг Сережа Мансуров.

Все мы были сверстниками, у всех у нас были широкие научные интересы, но мы были совсем не единомышленны между собой, как говорится — «каждый молодец на свой образец». Мы занимались у себя по домам, но взаимное общение оплодотворяло а подталкивало мысль. Особенно много я общался с Сережей Мансуровым. Кроме того, конечно, на семинарах я сталкивался и с другими студентами-философами. Некоторое время я был даже товарищем председателя университетского студенческого философского общества. В этом Обществе читались доклады, и студенты общались с уже кончившими Университет и с профессорами.

Все это дало мне, конечно, безмерно больше того, что могли бы мне дать лекции.

В Университете я попал в среду «неокантианцев». В частности, тогда было сильно влияние так называемой «петербургской школы» профессора Когена. Кантианство стояло в

центре наших университетских споров и разговоров.

С Сережей Мансуровым мы нередко касались вопросов религиозных. Он был неизменно тверд в своей православной церковности. Тогда он еще не помышлял сделаться священником, каковым он стал уже в эпоху большевизма.

Мои философские убеждения были гораздо менее определенны и складывались куда медленнее, чем политические.

Университетской «общественной деятельностью» я совершенно не занимался, не занимались ею и мои приятели и товарищи по научным занятиям. Многое, что делалось тогда в Университете людьми разных политических направлений, было мне несимпатично, а иногда даже противно. Для меня Университет был прежде всего не «общественное», а научное учреждение, и все, что отвлекало его от этой основной его цели, казалось мне вредным.

К самому Университету у меня нет того сильного и нежного чувства, какое мне приходилось наблюдать у некоторых представителей двух предшествующих поколений. Мне дороги университетские годы, но не столько сам Университет. Я храню о нем добрую память, но о Университетом меня связывает не столько личное чувство, как память моего отца и дяди, так сильно его любивших и так много для него сделавших. «Университетский энтузиазм» эпохи Станкевича или Грановского в наше время вообще уже не существовал. Однако духовное уничтожение Университета большевиками больно отзывается в моем сердце. Я болезненно помню, как большевики срывали — буква за буквой — надпись на нашей университетской церкви: «Свет Христов просвещает всех».

Погасив у себя Свет Христов, они загасили и всякий духовный свет!

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В университетские годы я много занимался наукой, но это не мешало мне также — в первые два с половиной года (1908—1910), когда я зимой жил в Москве,— жить и светской жизнью.

В самое первое время — очень недолго — меня привлекали даже визиты. Вчерашний гимназист, я не без внутренней гордости чувствовал себя «совсем большим», входя в студенческом сюртуке со шпагой в приемный день в какую-нибудь гостиную.

Очень редко, где в приемный день присутствовал сам хозяин дома. Обыкновенно ему при отъезде оставлялась визитная карточка. (Кстати, эта последняя должна была быть у светского человека обязательно гравированная, а не напечатанная. Визитную карточку со своим адресом оставлять даме было нельзя и тому подобное.)

Принимала — хозяйка, одна или с дочерьми. После того как я ей целовал ручку, она представляла меня тем дамам и мужчинам старшего поколения, которым я еще не был представлен. При этом моя фамилия часто дополнялась пояснительными словами: «сын Жени!» или:

«сын Верочки Щербатовой!», для самого старшего поколения еще прибавлялось: «внук князя Николая Петровича», или «князя Александра Алексеевича Щербатова». Это вызывало милое приветствиеянесколько слов воспоминаний: «Как же, как же... мы с вашим дедом...» Меня не только не обижало, как некоторых, такое «семейное ситуирование», но я его любил, отдавая этим дань «родовому» чувству.

Иногда во время визитов мне приходилось сидеть и разговаривать исключительно с представителями старшего поколения. При этом число дам всегда намного превышало число мужчин: последние всячески уклонялись от посещения приемных дней, предоставляя делать это своим женам.

Часто хозяйка, непринужденно приняв молодого человека, направляла его в другую гостиную, или в другой угол, где собирался вокруг выезжающей дочери дома кружок молодежи. Тут мужская и женская молодежь бывали обычно равночисленны. Такое отделение молодежи было новшеством: в семьях более консервативных светских традиций выезжающая дочь сидела недалеко от матери. Несмотря на мой консерватизм, я предпочитал новый порядок...

Надо было вести легкий и непринужденный разговор и уметь уйти не слишком рано и не слишком поздно. Мало кто впадал в

первую крайность, но многие не умели уходить. Всего лучше это было делать, когда приезжали новые «визитеры».

Очень скоро — почти немедленно — визиты мне надоели, но известный минимум их был необходим: визиты праздничные, поздравительные, благодарственные (за приглашение) и т. п.

Особо стояли благодарственные визиты на следующий день после балов, вечеров или обедов («visites de digestion»). В этих случаях можно было наверное рассчитывать, что принят не будешь, и дело ограничивалось передачей швейцару загнутых карточек. Поэтому на такие визиты часто ездили даже не надев сюртука. Помню однако, как однажды с моим бальным сотоварищем, Мишей Голицыным («Симским»), случилась маленькая неприятность. Он подкатил к подъезду дома Клейнмихелей, чтобы загнуть там карточки, но, как нарочно, вслед за ним подъехали и сами хозяева. Обе стороны были смущены: Миша не мог загнуть своих карточек, а хозяева не могли сказаться отсутствующими, или сказать в лицо, что они «не принимают». Визит состоялся... и был сделан без сюртука! В те времена это было почти скандалом... Но изо всего бывают выходы и мы обычно оставляли, уезжая с вечера, загнутые заблаговременно карточки швейцару (при рубле), или один из нас, по очереди, возил карточки нескольких друзей: обычая рассылать или оставлять незагнутые карточки в Москве тогда не было. Если визиты мне скоро надоели, то нельзя сказать того же про вечера и балы. Они мне нравились, и я на них откровенно веселился.

В отношении балов и вообще московской светской жизни я должен заметить, что мне пришлось выезжать в эпоху ее заката. Мне посчастливилось еще захватить «вечернюю зарю» и видеть ее последние лучи, но непосредственно за этим она совсем угасла: на долю моего брата, который всего на два года моложе меня, уже почти ничего не осталось. Это случилось еще до войны 1914—1918 годов.

В мое время старая светская Москва уже сильно клонилась к упадку. Та светская жизнь, которая когда-то била в ней ключом, почти совсем замерла или переходила в купеческие салоны. Настоящий «Большой Свет» постепенно делался в России монополией Петербурга; московские семьи начали вывозить там своих дочерей. Но и светский Петербург, ввиду крайней Несветскости Двора при последнем царствовании, тоже переживал заметный упадок.

Если нельзя сравнивать пышность тех многих вечеров и немногих больших балов, на которых я присутствовал, с теми —

прошлыми,— о которых я только слышал от старшего поколения, то все же и то, что я видел, кажется теперь какой-то сказкой.

Помню, например, большой бал у Новосильцевых в Щербатовском доме... Каждый бал имел, разумеется, свою индивидуальность, но они были все же похожи друг на друга.

Перед подъездом через тротуар разостлана широкая красная ковровая дорожка. Около подъезда специальный наряд полиции руководит движением подъезжающих экипажей и не дает сталпливаться глазеющим прохожим.

У подъезда — швейцар Василий (еще с дедушкиных времен), в темно-синей тяжелой ливрее до пят, в синей же фуражке с особым «швейцарским» золотым галуном и широчайшей «швейцарской» же желтой перевязью через плечо, надеваемой только в парадных случаях. Рядом с ним — лакей, помогающий вылезать из карет и саней.

Раздевшись внизу, гости поднимаются наверх по покрытой ковром каменной лестнице, убранной цветами и зелеными растениями. На верху лестницы гостей встречает хозяин дома, дядя Юрий Новосильцев.

Щербатовский дом был очень приспособлен к большим приемам и очень выигрывал при полном освещении.

В очень большой «розовой гостиной» гостей встречала хозяйка, тетя Машенька Новосильцева, самая любимая из моих тетей. Ее милое лицо, при импозантной фигуре, сияло столь свойственной ей приветливой улыбкой. Дядя Сережа Щербатов остроумно заметил, что в таких случаях тетя Машенька напоминала огромную люстру, дающую все больше и больше света, с каждым щелканьем электрического выключателя... Действительно, ее приветливая улыбка при появлении особо близких ее сердцу людей становилась все более и более сияющей.

Постепенно огромная гостиная и несколько «кабинетов» (то есть, но существу, других гостиных) наполнялись нарядной толпой гостей. Дамы в платьях декольте, с длинными (гораздо выше локтя) белыми лайковыми перчатками на руках. Кавалеры — во фраках и шитых золотом студенческих и лицейских мундирах. К сожалению — почти полное отсутствие военных мундиров: только изредка мелькнет па московском балу форма заезжего из Петербурга лейб-гусара или кавалергарда...

Все мужчины, носящие оружие — в том числе студенты с их шпагами — здороваются с хозяевами при оружии, но хозяин потом должен предложить им его снять, чтобы принимать участие в танцах. При этом воспоминании в ушах моих так и раздается голос князя Владимира Михайловича Голицына, с классической «грансеньеристостью» обращавшегося ко мне на своих приемах:

«Разоружитесь, молодой князь, прошу вас!»

Огромная двухсветная щербатовская зала (самая большая частная зала в Москве) залита огнями и украшена зеленью.

Раздались звуки оркестра, и первая пара в вальсе закружилась по зале. Это — открытие бала. Открывает его (с той дамой, для которой дается бал, обычно—дочерью хозяев дома) или хозяин, или—чаще—дирижер бала. Этот бал, помню, открыл дядя Юрий со своей дочерью Соней. Дядя Юрий протанцевал всего несколько тактов вальса «a deux temps», который уже не танцевали в мое время; дальше Соня пошла уже с дирижером бала.

К первой парс присоединяются другие... И скоро вся зала наполняется танцующими.

Принимающие участие в танцах дамы (в мое время в Москве это были почти исключительно девицы, редко — замужние дамы) сидят на обитых голубым шелком белых точеных стульях вдоль стен. Кавалеры приходят приглашать их на танец и после танца, поблагодарив, отводят на место.

Здороваясь, кавалер обязательно снимает перчатку с правой руки; только дама не снимает перчатки, подавая руку. Танцевать кавалер, как и дама, непременно должен в перчатках.

После первого вальса, с которого всегда начинался бал в мое время, в Москве танцевали и другие танцы: венгерку, краковяк, падепатинер, падеспань, падекатр. Я говорю «в Москве», так как в Петербурге из мелких танцев танцевали в это, время исключительно вальс. «Старушка-Москва» вызывала улыбки петербуржцев за свою «трогательную консервативность», или «провинциальную отсталость».

Я лично был рад этой «отсталости», так как почти не мог танцевать вальса: у меня немедленно начинала кружиться голова.

Вслед за мелкими танцами шла 1-я кадриль, потом опять мелкие танцы, 2-я кадриль, мелкие танцы и 3-я кадриль. Иногда после 3-й кадрили и мелких танцев была мазурка (когда бывала 4-я кадриль, мазурка была после нее).

На ужин кавалеры вели своих дам, приглашенных на мазурку. Поэтому мазурка, как и котильон, являлись наиболее «важными» приглашениями на балу.

Если приглашения на мелкие танцы делались всегда на самом балу, то на кадрили, мазурку и котильон обычно приглашали задолго. И у дам и у кавалеров были специальные записи танцев. У «имеющей успех» дамы было почти безнадежно просить какую-нибудь кадриль, а тем более мазурку или котильон, на самом балу: все было разобрано заранее.

Кавалеру надо было не только пригласить даму, но и

сговориться с подходящими визави. Особенно это было важно для мазурки и отчасти — котильона. Тут можно было танцевать больше или меньше и, соответственно, больше или меньше сидеть и разговаривать со своей дат мой. Поэтому важно было найти одинаково настроенных визави. Заранее сговаривались и о совместном ужине.

Ужинали на вечерах и балах за небольшими столами, которые расставлялись и потом уносились. За каждым столом ужинало несколько пар и стремились собраться «своей компанией».

За ужинами не подавали раньше дамам, а потом кавалерам, как теперь это принято. Кавалеры обычно накладывали с подаваемого им лакеем блюда на тарелки своих дам, таким образом лакеям подавать дамам вообще почти не приходилось. Надо признаться, что этот обычай был более галантен, чем удобен, как для кавалеров, так и для дам.

Я забыл упомянуть, что на каждом вечере или балу был буфет с разными яствами, прохладительными напитками, шампанским и крюшоном. Обязанность кавалеров была следить, чтобы у их дам было все, чего они хотят, и угощать их.

Новосильпевские балы были известны обилием цветов, в частности их было много на столах за ужином.

После ужина бывал котильон. К котильону в залу вносили короба с цветами (их обычно выписывали из Ниццы). На более скромных вечерах цветов не было, или почти не было.

Кавалеры разбирали букеты и подносили их своей даме и тем дамам, которых приглашали на танцы.

Дирижер бала и его помощники на шпагах вносили множество перевязей из разноцветных лент, а также узкие и короткие ленточки разных цветов с бубенчиками на концах.

Кавалеры разбирали и то и другое и подносили ленты дамам. Те надевали перевязи через плечо (одну на другую), а кавалеры перевязывали ленточки с бубенцами вокруг их рук (по перчаткам) — от локтя до кисти. Таких лент у дам набиралось за котильон очень много.

Дамам в это время разносили, для раздачи кавалерам, бутоньерки с цветами, разные мелкие вещицы и разноцветные бантики на булавках. Этими бантиками дамы украшали грудь кавалеров. После бала вся грудь мундира бывала покрыта такими бантиками.

Приблизительно то же было на всех балах и вечерах, но количество и качество цветов, лент (всегда шелковых), разных

безделушек—конечно варьировалось» Балы требовали большей широты и размаха, вечера были скромнее. Вместо оркестра на вечерах бывали «таперы»; веселья от этого было не меньше. Конечно, обстановка больших балов была красивее.

Кончался бал всегда полонезом. Все, парами, проходили мимо хозяев и нетанцующих гостей, главным образом матерей, вывозящих своих дочерей. Эти матери сидели по стене залы, где они не мешали танцующим, или следили за танцами из гостиных. Они образовывали так называемый «иконостас». Во время полонеза каждая пара, проходя мимо хозяев, кланялась им... хозяева, в свою очередь, благодарили...

Веселый и довольный, я возвращался домой. Балы и вечера не успели мне надоесть; они прекратились для меня с отъездом из Москвы.

Светская жизнь, которую я видел и в которой участвовал, сравнительно мало разнится от того, что было в эпоху моих родителей и даже раньше. Только тогда размах был шире. Бал, описанный в «Анне Карениной», кажется мне — современным балом.

Отношения между светской молодежью казались нам простыми и действительно таковыми и были. Но какими «чопорными» кажутся наши тогдашние отношения современной молодежи! Никому из нас и на ум не приходило звать, особенно в лицо, наших дам уменьшительными именами. Я, как и все, называл моих бальных, восемнадцати-дегвятнадцатилетних дам (кроме родственниц, конечно) — «княжна», «графиня» или по имени и отчеству, если они не имели титула, «Ольга Александровна», «Вера Петровна» и т. п. Они все называли меня «князем». Никакой «чопорности» в этом не было.

Никак не могу сказать, чтобы нам было менее весело, чем современной танцующей молодежи. Возможно даже, что мы веселились больше, судя по моим, правда немногочисленным, наблюдениям за современными танцами.

В общем, у молодежи есть счастливая и неискоренимая потребность и возможность веселья, для которого нужен только повод. Меняются лишь формы проявления этого веселья.

Я не принадлежал к «кутежной компании», и эта сторона московской студенческой жизни — «Яр», «Стрельня», цыганщина — коснулась меня лишь крылом. Я видел, что это такое, но не жил в этой атмосфере...

Больше познал я традиционно-московское удовольствие удалой — чтобы не сказать дикой — езды... «Ечкинские тройки», «голубцы»! — с ними связаны воспоминания о бешеной скачке с бубенцами по Сокольникам или Серебряному Бору, зимняя ясная

морозная ночь, полная звезд, удары комьев снега о широкое крыло саней, крики «пошел, пошел!», хотя хода уже и прибавить нельзя... и беспричинно веселое, легкое настроение после искристой бутылки... В эти минуты как остро я чувствовал наслаждение молодостью!

ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Зимой 1910 года мы всей семьей поехали в Италию, где несколько месяцев провели в Риме.

Рим требует того, чтобы «вжиться» в него, и тогда ценишь его особенно. Вот уж, действительно, Вечный Город!

Каждый черпает из этой неистощимой сокровищницы в меру своей культуры и эстетического вкуса. При этом можно сказать: «Вкусы меняются, а Рим — остается!» Я был прямо подавлен величием, красотой и неисчерпаемостью Рима. Но помню, как, наряду с другими бесчисленными вопросами, я спрашивал себя, как могли целые поколения боготворить такие произведения искусства, как, например, «Преображение» Рафаэля? В частности, я думал о таких высококультурных людях, как Б. Н. и А. А. Чичерины, для которых «Преображение» и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля являлись непревзойденными и, кажется, даже на веки непревосходимыми достижениями живописи. Для меня лично прерафаэлиты стоят куда выше, чем сам Рафаэль, фрески" и портреты которого я, однако, очень ценю, хотя и не «боготворю». Когда много позднее, в 1922 году, я увидел в Дрездене знаменитую «Сикстинскую Мадонну», она, взятая в целом, произвела на меня почти отталкивающее впечатление. Какой ужас — такая «религиозная» живопись, и какой сравнительно короткий путь ведет от нее к отвратительному «Style St. Sulpice».

Из Рима мы с братом ездили в Сицилию, которую объехали кругом по железной дороге, останавливаясь в разных местах. В Неаполе мы вновь встретились с нашими родителями и сестрой. Проведя некоторое время в окрестностям Неаполя и на Капри, мы — с остановкой в Сиене — проехали во Флоренцию. Вот тоже город, обладающий какой-то особой притягательной силой! Прожив там некоторое время, мы поехали в Венецию, заехав по пути в Болонью и Падую, с незабываемыми фресками Джотто. Оттуда мой отец поехал в Россию морем, через Грецию и Константинополь, я же провез в Москву остальных членов нашей семьи обычным путем - через Вену и Варшаву.

Путешествие это дало мне много разнообразных впечатлений, главным образом эстетических.

Через Москву мы вернулись в Бегичево, где провели лето и

остались зимовать.

Это была моя первая зима в деревне, прежде зимой я бывал там только наездами. Я уже говорил выше, что в эту зиму я ездил из деревни в Москву, в Университет на занятия в семинаре, только раз в неделю. Светской жизни в атом году я совсем не вел, меня к ней не тянуло.

Зимой 1911/12 года я участвовал в Калуге в первом (и последнем) в своей жизни дворянском собрании. Я был на нем избран депутатом дворянства нашего уезда.

Дворянские собрания и выборы происходили каждые три года, и на такие собрания в губернский город съезжались дворяне-землевладельцы, записанные в родословные книги данной губернии. Для участия в собрании надо было владеть определенным минимумом земли (у нас, в Калужской губернии, не менее 200 десятин). Только генералы и соответствующие гражданские чины могли участвовать на них при любом количестве земли («однодесятинники»).

Калужское дворянское собрание во время выборов было сравнительно многолюдно; в иных губерниях почти никто не приезжал на выборы... Однако и тут я вынес очень грустное впечатление: было ясно, что учреждение это — отживающее. На выборы, по старой традиции, приезжали многие дворяне, которые иначе не принимали никакого участия в местной жизни. Дворянство с одной стороны — скудело, а с другой — уходило своими интересами от местной жизни, с которой оно было прежде тесно связано. Принимая участие в выборах, я все время чувствовал, что какая-то тень отживания и обреченности витает над собранием... Я твердо помню, что чувствовал это именно тогда, а не пишу это сейчас под влиянием пережитого в дальнейшем...

Предводители дворянства могли играть очень большую роль в местной жизни. Они, с одной стороны, являлись, по должности, председателями земских собраний: губернского и уездных, а также входили в состав разных административных и иных «Присутствий». Положение выбранного Предводителя (в некоторых губерниях были—назначенные) было совершенно особое: он был, в принципе, совершенно независим, никому не подчинен и не получал ни от кого содержания. Я собирался в следующее трехлетие баллотироваться на Должность предводителя, но к тому времени разразилась война... Дворянские выборы составляли эпоху в жизни провинциальных губернских городов. Из разных мест наезжали в город дворяне, иногда очень важные и чиновные. Городовые на улицах на всякий случай козыряли всем проезжающим «господского» типа...

Гостиницы были переполнены, рестораны делали хороший оборот.

Я помню, как по окончании выборов мы давали ужин нашему переизбранному Предводителю Н. Н. Яновскому (впоследствии расстрелянному большевиками). Пел цыганский «квинтет», как он именовался, хотя составляли его всего четыре человека. Этот ужин тоже произвел на меня грустное впечатление. Я ушел с него задолго до общего разъезда. Среди дворян нашего уезда был сын Льва Толстого граф Илья Львович. И вот подвыпивший Толстой (он этим злоупотреблял) принялся приплясывать и кривляться под пение цыган. Илья Толстой был в то время удивительно похож на своего отца («перьями—да,— говорил он, трогая свою седую бороду,— пером — нет»).

Вид пьяненького, пляшущего Толстого был мне отвратителен, и я поспешил незаметно уйти с ужина... С тяжелым чувством возвращался я в гостиницу. С грустью видел я вырождение того, что должно было быть «элитой» нации... Поведение Толстого напомнило мне слова Ларошфуко: «Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью».

В Бегичеве я порою усиленно занимался философией и уносился мыслью в смелые умопостроения. Порой я бросал философию и приходил к сознанию, что я не создан для нее... Это была для меня эпоха кризиса и личных переживаний. На несколько лет я был как бы выбит из нормальной жизни.

В 1913 году я опять ездил из Бегичева за границу — на этот раз не с семьей, а один. Во время этого путешествия я впервые посетил Голландию и Бельгию, а также в первый раз побывал в Париже и в Мюнхене.

Я нигде долго не жил и благодаря этому особенно ясно воспринял гнетущее впечатление от все растущего однообразия и нивелировки общеевропейской цивилизации, постепенно стирающей все многообразные и ценные различия между странами. Вспоминаю по этому случаю такую — конечно случайную, но характерную - подробность, тогда меня поразившую: в гостиницах, где я останавливался — в Берлине, Амстердаме, Антверпене, Париже, в самый день моего приезда, ч спускался обедать в залу ресторана каждый раз под звуки все одного и того же модного тогда мотива «Пупсик».. В дополнение к этому, несколько месяцев спустя, я прочел в газетах, что немецкие войска вступили в Брюссель под звуки того же «Пупсика».

Наиболее упорно стремилась сохранять свою национальную индивидуальность маленькая Голландия. Честь ей и слава!..

Раз я заговорил о Голландии, не могу обойти молчанием впечатлений, полученных мною в Гарлеме.

В этом городке я решил не останавливаться, а провести только несколько часов, проездом. Приехал я в Гарлем очень рано утром. Картинная галерея, которую я хотел осмотреть, еще была закрыта (между прочим, именно там мне открылся Франц Гальс, о художественной высоте которого, по его отдельным картинам, виденным мною в других галереях, я не имел представления).

Я бродил по улицам Гарлема и видел жизнь просыпающегося провинциального голландского городка. Она не была лишена своеобразия. Голландки, стоя на коленях на каких-то особых не то дощечках, не то деревянных чашечках, чтобы не испачкаться, с примерным усердием мыли мылом и маленькими щеточками тротуары перед своими домиками. Монашенки (точнее «Бегинки») ехали куда-то на велосипедах (тогда эта картина была мне совсем непривычна). Голландцы и голландки, многие из них в своих живописных национальных одеждах, шли на рынок. Я, откровенно, думал, что широчайшие, чем-то подбитые панталоны голландских рыбаков и своеобразные платья и медные бляхи голландских женщин сохранились скорее в изображениях на кондитерских коробках, чем в действительности, но я, к счастью, в этом ошибся... Как жалко и обидно уничтожение наших русских национальных костюмов, порой столь красивых, и замена их безобразным «немецким платьем». Какая была красота — особенно цветов!

Проходя мимо Собора, я заметил, что какой-то человек вошел туда через боковую дверь (большие двери были закрыты). Я последовал за ним. Службы не было. Внутри Собора ничего особенно интересного, помнится, я не нашел и уже собирался выйти тем же путем, каким вошел, когда вдруг услышал звуки органа (потом я узнал, что этот орган — один из замечательнейших в мире). Я сел на скамью в полутемном углу совершенно пустого Собора и долго, до конца, слушал дивный духовный концерт.

Когда я вышел из церкви, я узнал из расспросов, что какой-то знаменитый органист (не помню его имени) репетировал там свой концерт. Репетиция была не публичная и никого на нее не пускали: я проник в Собор по какой-то случайности, он считался запертым. Этот дивный, ни с чем не сравнимый концерт в совершенно пустом Соборе останется навсегда в моей памяти.

В Париже я, главным образом, осматривал его художественные сокровища, то есть то, чего почти не вижу, сейчас, годами живя под самым Парижем...

Помню неожиданно сильное впечатление, полученное мною

от Версаля. Я знал его только по фотографиям и репродукциям. То, что я увидел, во много раз превзошло мои ожидания. Я был буквально захвачен Версалем, покорен им. Целый день бродил я и сидел в Парке, любуясь грандиозно-стройными перспективами. Внутренность Дворца произвела на меня мало впечатления. Я вдыхал в себя прелесть и самого Версальского Парка как такового, и Версальского Парка как предка и прообраза наших русских царских и помещичьих парков, столь мне дорогих и близких.

В воображении я видел Ie Grand Roy гуляющих со своей блестящей свитой по аллеям парка... Мне были противны мелкие, самодовольные «буржуйчики», которые его сейчас профанировали, и я даже стыдился собственного неэстетического «европейского» костюма, столь бесцветного и безвкусного по сравнению с эпохой, которая действительно чувствовала красоту форм жизни...

Остро вспоминались мне гениальные слова Константина Леонтьева, которые, вообще, в разные эпохи моей жизни и под разными углами зрения, мучительно становятся перед моим сознанием.

«Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбелами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?..»

Конечно—не «для того»!.. Но — для чего?..— этот вопрос остается и до конца истории останется без ответа...

Раза два я был в Париже в Опере: раз на опере и раз на балете (не помню, что давалось). Я был очень разочарован. Мне говорили, что опера в Париже стоит не очень высоко, но я все-таки не ожидал,*насколько*она была ниже московской по голосам, постановке и декорациям. О балете и говорить нечего.

В парижской опере меня больше занимала внешняя сторона. Публика была гораздо элегантнее московской обычной оперной публики. Я сказал «элегантнее», но скорее надо было бы сказать, что публика была более богато одета и носила больше видных драгоценностей. Действительно элегантных туалетов я заметил не так много. Когда, после войны, мне приходилось видеть «нуворишей», то их «богатый» вид был уже не столько отличен от

вида той публики, которую я видел до войны в парижской опере. Публика эта была очень «интернациональна» и не знаю, какую именно часть ее составляли французы. Во всяком случае, публика эта произвела на меня неприятное впечатление. Не думаю, чтобы настоящий парижский «свет» был бы значительно там представлен.

Что касается туалетов, то их элегантность была — в ложах и в партере — обязательна. Это было указано даже на самих билетах. Я сидел в партере во фраке и в «chapeau d'Opera», то есть в матового шелка «шапокляке», который надевали не только идя в театр, но и в самом театре, в антрактах. Иначе чем в театр, в такой шляпе идти никуда было нельзя. Как только занавес падал и начинался антракт, раздавался характерный звук открываемых пружинных шляп...

Во время моего пребывания в Париже я случайно встретил там проезжавшую со своими детьми тетю Варю Лермонтову. Она хорошо знала Париж и дала мне немало советов для его осмотра. Раз как-то она предложила мне поехать с нею в какой-то маленький «очень парижский» театрик. Тетя Варя, очевидно, не знала, на что мы с ней попадем! Если бы представление шло на любом другом языке, кроме французского, оно было бы совершенно невозможно в присутствии дамы... Но нет языка, который бы так элегантно скользил по самому лезвию бритвы, на грани недопустимого... Получается более чем «пикантно», но отнюдь не грубо и не сально.

В этом отношении французский язык единственный и совершенно ни с чем не сравнимый.

В те времена (1913 г.) *в*Париже, даже в самом центре его — как это ни кажется невероятным! — существовали еще «конки». Именно «конки» — дилижансы, запряженные лошадьми! Я был поражен, когда впервые увидел эту неожиданную картину. В Киеве я «конок» совсем не помню. Если не ошибаюсь, Киев был первым городом в России, заведшим электрические трамваи. В Москве «конки», постепенно вымирая, существовали еще в начале моих студенческих лет, но к этому времени их уже не было. И вдруг в Париже — «конки»!

Я прекрасно помню, что я нарочно сел в такую «конку» и проехал через центр города, чтобы иметь право «в старости» рассказывать об этом... Теперь — четверть века спустя — это кажется мне самому чем-то совершенно невероятным, а еще более поразительным кажется это современной молодежи.

Говоря о Франции, я хочу рассказать об одном мимолетном знакомстве с французом, которое, однако, произвело на меня глубокое впечатление.

Проездом через Берлин я был приглашен на завтрак в нашем посольстве. Пригласил меня наш тогдашний посол, С. Н. Свербеев. С большой скукой я отправился на этот завтрак, но до сих пор рад, что на нем был.

За завтраком был французский посол в Берлине, Жюль Камбон. По внешности, это был типичный представитель средней французской буржуазии. Никакой изысканности и утонченности в нем не было, и это особенно подчеркивалось его соседством за столом с очень породистой дамой. Но стоило только поймать взгляд Камбона, чтобы сразу увидеть, что это человек безусловно из ряда вон выходящий. Под пенсне взор Камбона буквально *сверкал* умом. Ничего подобного, в такой степени, я никогда и ни у кого не видел.

За столом Камбон участвовал в легком, впрочем не лишенном интереса разговоре, но я хорошо помню свое впечатление именно от личности Камбона, а не от этого случайного разговора. Я чувствовал, что это, вероятно, самый умный человек, которого мне приходилось встречать в жизни. То, что я в дальнейшем слышал и читал о Камбоне, а также чтение его маленькой книжечки «Le Diplomate», только утвердило меня в моем первом впечатлении тонкого и блестящего ума.

Насколько вообще позволительны такие широкие обобщения, я думаю, что французы — наиболее «умный» народ современности... Самый умный, но, конечно, не самый мудрый.

Из Парижа я проехал в Швейцарию, где тогда еще не процветали, как теперь, зимние спорты. Только очень ограниченное число спортсменов, главным образом англичан, занималось ими.

Из Швейцарии я поехал в Мюнхен. Город этот имеет много шарма. Я помню, однако, испытанное мною там разочарование, которое, разумеется, к самому Мюнхену никак не относится! В юности мне нравились, по репродукциям, картины Беклина, и я радовался мысли увидать их в подлиннике. И вот, картины эти меня совершенно разочаровали, вся прелесть Беклина для меня пропала...

Как вообще своеобразна эволюция и смена художественных «очарований» и «разочарований»! Тут, с Беклиным, дело еще сравнительно просто: по репродукциям я, воображеньем, совершенно неправильно представил себе подлинники, а увидев их, разлюбил и репродукции, которые мне раньше нравились... Но какие таинственные душевные процессы приводят к тому, что-то, что раньше приводило в художественный восторг, вдруг теряет всякую прелесть!.. Это мне приходилось переживать и в отношении некоторых статуй и картин, и в отношении

прикладного искусства. Так, одно время я очень любил «датский фарфор», а потом совершенно охладел к нему, любовь же к старинному севрскому и саксонскому осталась неизменной.

Говоря о фарфоре, не могу не сказать, что после того, как я увидел Китайскую выставку в Париже (1936), я глубоко почувствовал, что, по сравнению с китайцами, мы все-таки— *варвары!*Какая бездонная глубина древнейшей и утонченной культуры чувствуется в китайском искусстве, даже прикладном, в том числе в ни с чем не сравнимом древнем фарфоре.

Из Мюнхена, нигде не задерживаясь, я вернулся в Бегичево, куда приехал к самому Рождеству 1913 года, за полгода до войны...

ВОЙНА 1914 ГОДА

Нельзя сказать, чтобы война явилась для меня и для очень многих — полной неожиданностью.

В Европе чувствовалась неустойчивость и нервность.

В Германии было как-то ощутимо, что она «созревает» для войны. На мой наивный вопрос об этом наш посол Свербеев ответил мне с успокоительной улыбкой. Свербеев, как известно, не отличался ни особым умом, ни тонкой наблюдательностью.

В Берлине я встретил жившего там тогда моего двоюродного брата Юрка Новосильцева. Его более основательные наблюдения совершенно совпадали с моими мимолетными. Ничего определенного не было, но в воздухе пахло грозой.

Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда при такой насыщенной грозовой атмосфере было особенно опасно. Известие это мы получили в Бегичеве, и я прекрасно помню, как при чтении первых телеграмм о сараевском убийстве Папа сказал мне: «Это пахнет войной!»

Дядя Гриша (младший брат Папа) был в то время начальником Ближневосточного отдела Министерства иностранных дел и, ввиду своей личной близости к С. Д. Сазонову, играл в министерстве значительно большую роль, чем та, которую он должен был бы иметь по своей должности. Его письма Пана, несмотря на их обычную осторожность, никак не рассеивали, а еще усиливали наши опасения войны.

В таких случаях до самого конца хочется верить, что грозные тучи все же рассеются...

Так или иначе, наша дипломатия делала все, что было в ее силах, чтобы избежать войны. России в это время был особенно необходим мир! После поражения на Дальнем Востоке Россия пережила опасные революционные волнения. Только что выйдя из этих тяжелых потрясений, она начала развиваться во всех отношениях — с невероятной быстротой. Так здоровый организм реагирует иногда на болезни. Экономический подъем России бросался в глаза всякому; темп его в некоторых областях был поистине головокружительный.

Несомненную и очень значительную опасность представляла неустойчивость социального строя России: аграрные волнения — яркое тому доказательство.

Смелая, и в то же время осторожная, земельная и крестьянская политика Столыпина только начинала давать свои плоды. Число хуторских и отрубных хозяйств к началу войны,

если не ошибаюсь, приближалось к миллиону. Цифра эта была огромна, но для безбрежных просторов России этого было еще совершенно недостаточно! Крепкий крестьянин-собственник, на которого сделал государственную ставку Столыпин, еще недостаточно укрепился, а община защищалась своеобразными методами. На память мне приходит разговор мой — примерно в 1912 году—с несколькими очень хорошими стариками-крестьянами соседнего с нами села Васильевского. Я спросил их, не выделился ли кто-нибудь из их общины, как это уже наблюдалось в соседних деревнях?— «Нет,—отвечали старики,— никто не выделился».— «И ошибется, кто выделится!» — спокойно заметил хозяйственный старик Поликарп Паршин.— «Почему ошибется?» — спросил я.—*«А потому, что палить его будем,*—рассудительно сказал другой старик, Столяров.— Так уж решили — значит, не выделяйся!» И действительно в Васильевском до самой революции выделив на основании «закона 9-го ноября» не было...

Пережившая себя крестьянская община еще не была добита и ликвидирована. Она продолжала еще тормозить как экономический прогресс сельского хозяйства, так и процесс укрепления социального строя на новых, более рациональных и устойчивых основаниях.

Община, за которую так цеплялись наши консерваторы (хотя она была и не столь оригинально-русским и не столь древним установлением, как то считали славянофилы), была на самом деле превосходной питательной средой для развития революционных бацилл. Я помню наши споры на эту тему, еще в мои студенческие годы, с дядей Федей Самариным. Консервативный романтизм в вопросе об общине несомненно лил воду на революционную мельницу, но наши крайне-правые этого не замечали, или не хотели замечать.

Я помню, как дядя Федя, обычно очень тихий и спокойный, в пылу спора сказал мне: «Если ты хочешь разрушать нашу традиционную общину,— ты просто — революционер!» — «Дядя Федя,—отвечал я,—доходит ли твой консерватизм до того, чтобы «охранять» даже условия, питавшие движения Разина и Пугачева? Если — да, то сохраняй и общину: она родит новых Пугачевых. Я держусь другой традиции — борьбы с такими движениями!»

Обидно вспомнить, что политика Столыпина встречала непримиримую и мощную оппозицию в таких прекрасных консервативных кругах, как самаринские (дядя Федя был одним из вожаков правой оппозиции Столыпину в Государственном Совете).

Я упоминал выше о некультурности наших «черносотенцев»,

но дядю Федю в некультурности уж никак нельзя было упрекнуть: это был человек широкого образования и глубокой культуры. Здесь был, мне кажется, случай того «консервативного романтизма», опасность которого я тем более признаю, что сам чувствую некоторые его искушения...

Помню мой разговор с С. Мансуровым... «Вам, романтикам старины,— хорошо,— говорил я,— вы, пусть безнадежно, защищаете то, что любите! Хорошо и идеалистам-левым и социалистам, которые наивно верят в земной рай, построенный по их формулам... А мне-то как? Люблю я наши старинные усадьбы и поместья —колыбель нашей утонченной «дворянской» культуры, а разум подсказывает мне, что для пользы России я должен на месте гибнущих усадеб разводить у нас богатых мужиков-фермеров, не способных не только продолжить, но даже понять этой культуры!.. Но я чувствую, что я должен работать в этом направлении, и буду это делать...»

Судьба решила для меня иначе.

Но вернусь к Столыпину. Против «левых», против «правых» и даже против части «центра» Столыпину удалось провести в жизнь свою мудрую аграрную политику. Посаженное Столыпиным в русскую землю здоровое растение прекрасно привилось и начало быстро расти и укореняться, но... не достигнув еще зрелости, оно было сломлено налетевшими военными и революционными бурями!

Наши государственные люди, конечно, не могли не видеть чрезвычайную опасность войны в этот переходный для России период. Поэтому наша дипломатия прилагала самые героические усилия, чтобы сохранить мир. Упрекать наше правительство в «воинственности», как то делала впоследствии германская пропаганда, конечно, совершенно неправильно.

Иные стали теперь, после войны, упрекать нашу дипломатию в том, что она не пошла «на все», только бы сохранить мир. Конечно, после того, что мы пережили,— такие упреки и такие настроение психологически понятны... По этому случаю я вспоминаю разговор, бывший у меня с моим начальником по Русскому Обще-Воинскому Союзу (РОВС), генералом Е. К. Миллером, в 1936 году. Надо сказать, что ген. Миллер был в 1914 году многообещающим начальником штаба Московского военного округа и пошел на войну начальником штаба 5-й армии.

В разговоре со мною ген. Миллер горячо напал на министра иностранных дел Сазонова и на все наше правительство 1914 года:

— Надо было во что бы то ни стало сохранить тогда мир, даже если для этого нам пришлось бы пойти на большие уступки,

— говорил Миллер.— Лет через 10— 15 Россия была бы настолько сильна, что могла бы диктовать Германии и Австрии свои условия.

— Вот именно поэтому я очень сомневаюсь в том, что тогда было возможна сохранить мир,— отвечал я.— Германия видела рост сил России и боялась ее. Проект превентивной войны назревал в Германии давно. Удар по Сербии был, в сущности, ударом по русскому престижу. Войны, мне кажется, можно было избежать только одним способом: перевернув наизнанку всю нашу внешнеполитическую систему и войдя в союз с Германией. Но очень спорно, сулил бы нам этот союз больше роз или больше шипов... Я бы на него не пошел.

— И я тоже,— заметил ген. Миллер.— Я говорю о другом. Надо было тогда бросить Сербию и войны бы не было, а потом, усилившись, мы могли бы воздать той же Сербии сторицей.

— Не думаю,— возразил я,— что таким образом мы сохранили бы мир надолго. Почувствовав нашу слабость, Германия предъявляла бы нам одно требование за другим, и мы, при такой политике, не только не усиливались бы, но ослабевали. Именно это была цель Германии и она бы от нее легко не отказалась. Предав Сербию и получив тяжелый удар по нашему престижу, мы могли бы выиграть, скажем, год времени, вряд ли больше. После этого нам надо было бы идти на новые, тягчайшее уступки, или на войну.

— За год интенсивной подготовки мы очень укрепились бы в военном отношении,— заметил генерал.

— Этого сделать мы не могли,— сказал я.— Усиленно вооружаясь, мы Только провоцировали бы войну и, вдобавок, значительно ухудшили бы наше международное положение. Позвольте Вас спросить, если бы Государь тогда спросил Ваше мнение, выгодно ли было бы с военной точки зрения купить *год* мира, вдобавок без возможности *усиленной* военной подготовки, такой дорогой ценой,— что бы Вы тогда ему ответили?

— Из-за одного или двух лет мира идти на это не стоило,— ответил Миллер.— Но почему Вы думаете, что мы не купили бы этим десяток лет мира? А тогда дело иное...

Конечно, ни ген. Миллер, ни я не могли сказать, «что было бы, если бы»... Однако некоторый намек на ответ, два года спустя, мы все-таки получили. Бедный ген. Миллер не дожил до этого!

Осенью 1938 года Франция, под напором той же Германии, для сохранения мира «пошла на все» и предала свою союзницу Чехословакию. Она купила этим... меньше года мира! При этом для Франции (я не говорю о моральной стороне вопроса!) эта

политика в военном отношении была выгодна, так как ее собственная сила за этот год возросла, а международная обстановка сделалась для нее несравненно выгоднее. Для России в 1914 году вопрос представлялся иначе...

Во всяком случае, мы ясно видим на этом примере, что одной уступкой за счет Сербии Германия тогда бы не ограничилась.

Россия поступила с Сербией рыцарственнее, чем Франция поступила с Чехословакией, с которой ее связывали торжественные союзные обязательства,— за это нам, во всяком случае, краснеть не приходится. Это рыцарство привело нас к гибели, но, думаю, если бы мы поступили, скажем, как Франция в «Мюнхене», война все равно бы разразилась и ее последствия для России были бы вероятно приблизительно теми же. Так по крайней мере честь России осталась незапятнанной.

Я никак не могу бросить камня в наше правительство за его действия в 1914-м — что теперь в моде. Оно сделало все, что могло, для сохранения мира — большего сделать было нельзя.

Что бы сделал в таком случае гениальный государственный человек, мы не знаем и знать не можем — на то он и гений! Но ставя себя на место человека нормальных способностей, например С. Д. Сазонова, я думаю, что я счел бы себя обязанным поступить тогда так же, как и он.

Конечно, теперь, сидя у разбитого корыта русской государственности, легко критиковать все и вся, но критика эта бесплодна, а часто и несправедлива.

НА САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ

Война началась...

Саша, бывший тогда студентом, пошел вольноопределяющимся и был зачислен юнкером в Николаевское кавалерийское училище.

Я, в свое время (1911), хотел отбывать воинскую повинность вольноопределяющимся, но не был принят на военную службу из-за плохого зрения. В начале войны я пошел на переосвидетельствование и был снова забракован: на этот раз не только по зрению, но и по состоянию сердца. Таким образом, в рядах действующей армии на войне мне участвовать не пришлось. Однако не принимать никакого участия в войне я, конечно, не хотел.

В это время Обще-Дворянская организация с московским губернским Предводителем дворянства А. Д. Самариным во главе начала формировать санитарные поезда. Я получил предложение сделаться «помощником уполномоченного» одного из первых поездов. Так как я искал работы для армии, я принял это предложение и совместно с «уполномоченным» — Н. В. Мятлевым, товарищем прокурора Московского суда, я принялся за формирование нашего санитарного поезда.

Работы было довольно много и для меня совершенно новой. Мятлев оказался премилым человеком, но не только не организатором, а почти и не работником. Я этому был даже рад, так как мне хотелось побольше работы, а для двоих ее было маловато.

Откровенно говоря, не могу сказать, чтобы сам я оказался хорошим организатором, но, так или иначе, поезд был сформирован и мы благополучно отбыли в нем «в район действующей армии». Сначала нас было послали в Польшу, на германский фронт, но почти тотчас же перевели на австрийский, где нас окончательно и оставили. Месяца три, в течение которых я был помощником уполномоченного и приблизительно столько же — уполномоченным, после ухода Мятлева, я провел, связывая Юго-Западный фронт с тылом. Когда я сделался уполномоченным, помощника себе я просил не назначать, так как продолжал считать, что работы для двоих было бы слишком мало.

Наш поезд, конечно, не занимал самого привилегированного положения, какое имел, например, личный санитарный поезд Государыни-Императрицы, но мы, несомненно, принадлежали к числу весьма привилегированных. Привилегии эти сказывались,

главным образом, в предоставлении нам — по нашей настойчивой просьбе — работы вне очереди.

Надо представить себе тогдашнее настроение: все рвались работать, и подолгу стоять где-нибудь на запасных путях, без всякого дела, казалось невыносимо мучительно. Во время тяжелых боев работы, понятно, хватало всем, но в другое время «привилегированные» поезда перебивали очередь у рядовых... Я хорошо помню крик души начальника эвакуационного пункта в Бродах (австрийский пограничный город) при получении настойчивой телеграммы ген. Римана, начальника санитарного поезда Императрицы, требовавшего немедленно раненых: «Да не могу же я, наконец,*создать*им раненых!» Действительно, все мы — привилегированные санитарные поезда — немало надоедали эвакуационным властям требованиями работы, чем вносилась некоторая дезорганизация. Особенно усложнял работу властям поезд Императрицы, «выбиравший» раненых, а не бравший их подряд, и часто провозивший их прямо в Петербург, что страшно путало все железнодорожные графики. Конечно, бедная Государыня не подозревала, что ее желание, чтобы ее поезд привез раненых в ее лазарет, вызывает большие трудности и даже задержки в военных перевозках... В гораздо меньшей мере, чем поезд. Государыни — по чину! — этим все же грешили и другие привилегированные поезда. Персонал поезда, особенно женский, был всегда склонен упрекать своего уполномоченного в отсутствии энергии: «Ведь вы бы могли добиться...» Конечно, это были настроения*начала*войны.

Наш поезд был «именной»: он носил имя принца Ольденбургского, что само по себе ставило нас в особое положение. Принц А. П. Ольденбургский был тогда Верховным начальником санитарной и эвакуационной части и пользовался огромными правами. Он был человек огромной энергии, но и не меньшей суетливости. В сущности, хороший человек, он любил быть «грозным» и терроризировать людей своим криком. Его страшно боялись, и одно его имя, написанное на нашем поезде, наводило подчас трепет.

О принце Ольденбургском ходило множество разных рассказов — правдивых и придуманных. Для его характеристики приведу один, но довольно типичный случай.

О нем мне рассказывал в 1916 году военный доктор Вейс, начальник санитарного отдела штаба 12-й армии, Доктора Н., о котором идет речь, я тоже лично знал, он тогда стоял во главе одного из военных госпиталей в Риге. Это был прекрасный доктор, и его госпиталь был великолепно поставлен, но человек он был очень робкий. Внезапно в Ригу приезжает принц

Ольденбургский, вызывает доктора Вейса (которого он знал и ценил) и приказывает отвезти себя как раз в госпиталь доктора Н. Вейс внутренне обрадовался: принц выбрал для осмотра лучший его госпиталь... Принца встречает бледный как полотно доктор Н. Вейс однако успел шепнуть ему: «Все пройдет великолепно! Не пускайтесь ни в какие объяснения, а только отвечайте: — Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество! — больше ничего».

Осмотр госпиталя проходил прекрасно, и принц, любивщий найти недостаток и «разнести», грыз удила, не находя для крика ни малейшего повода. Только в одном месте он приказал немного переставить койки. «Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество!»—ответил Н. Осмотр кончился. Принц уже поставил ногу на подножку автомобиля, как вдруг не помнящий себя от радости д-р Н. обратился к нему: «Все указания Вашего Императорского Высочества будут исполнены немедленно!»

Всем своим грузным телом принц резко повернулся к Н.— «А посмотрел бы я, как бы вы их не исполнили!» — закричал он. Доктор Н. снова стал бледен как полотно: «Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество»,— прошептал он...

Таков был принц Ольденбургский. Но надо добавить, что, порою даже в анекдотических формах, он сделал на своем веку немало полезного для России и есть за» что помянуть*его с*благодарностью, а не только усмешкой. В мирное время он много сделал для развития русского курортного дела («Гагры»), а во время войны он очень подтянул санитарную часть.

За те приблизительно полгода, что я пробыл на санитарном поезде, мой жизненный опыт обогатился, главным образом от погружения в новую для меня среду.

Персонал нашего поезда был сравнительно многочислен и очень разношерстен. «Из общества» были только мы с Н. В. Мятлевым. Старший врач был интеллигент из семинаристов, с типичным «семинарским безбожием» и шуточками... Младший доктор (женщина-врач), фельдшер (студент-медик) и фельдшерица — принадлежали к милой разновидности интеллигенции. Иметь с ними дело было легко. Дальше шли сестры милосердия... Тут все усложнялось!

Сестер полагалось у нас по штату 7—9. По моему мнению, их было слишком много, и это портило дело. Половина сестер были «общинские» — опытные, профессиональные сестры, хорошие работницы, вдобавок «канонического возраста». К «общинским» принадлежала и наша «старшая сестра», довольно милая старушка, обладавшая, однако, очень существенным для ее должности недостатком — полным отсутствием авторитета. Мятлев по своей мягкости, а я по своей неопытности сделали

существенную ошибку: надо было, как это ни было неприятно, заменить нашу старшую сестру другой. Так как этого сделано не было, наша Марья Федоровна валила почти всю административную работу на нас с Мятлевым. Нам приходилось к тому же разбираться в разных сестринских дрязгах. Это было организационно неправильно и часто невыносимо.

«Общинские» сестры, по своему типу, принадлежали к мещанскому кругу. Во время безделья они, главным образом, жаловались на «неподходящие условия» жизни и на стол, так как они «привыкли к лучшему качеству харчей и большему разнообразию». Они считали своим долгом протестовать, чтобы показать, что они «не простые» и привыкли к другим условиям жизни... Все это было очень типично, но очень скучно.

Со стороны людей более высокого культурного уровня таких жалоб, конечно, не поступало. Вообще, от нареканий относительно стола я избавился только, когда перевел весь персонал — по двум категориям — на его собственные харчи, с выдачей денег на руки.

Остальные, не «общинские», сестры резко делились на две половины: одни не доставляли нам совсем хлопот — это были более культурные женщины и девушки, или же, напротив, доставляли их нам гораздо больше, чем «общинские». Особенно намучились мы с Мятлевым с одной сестрой, сердце которой было слишком «любвеобильно». Она не давала проходу ни одному мужчине — из тех, разумеется, которых она считала достойными себя...

Бедный Мятлев сам чувствовал, что необходимо «откомандировать» эту сестру. Я настаивал на том же, но он никак не решался иметь неприятный разговор с сестрой и объявить ей о своем решении. Наконец он предоставил сделать это мне. Мне тоже было нелегко. Во-первых, это было одно из первых увольнений в моей жизни и, вдобавок, я боялся попасть в смешное положение, так как сам я был в числе объектов ее наступательного кокетства... Когда же я откомандировал сестру, Мятлев искренно поздравил меня «с успехом».

Среди «не общинских» сестер была одна — законченный экземпляр «б-у-арышни» из уездного городка. Звали ее подходяще — Пануся Голикова. Она пела какие-то удивительные романсы — откуда только их выкапывала! Дрожащим голоском она выводила;

Я верю, Господь не решится
Разрушить, что было у нас!

Санитаров у нас было человек до тридцати. Состав их был тоже самый разношерстный. Несколько студентов и лицеистов, человек пять — монахов «имяславцев» с Афона, несколько

вольнонаемных простолюдинов и группа военнообязанных меннонитов (протестантская секта из немецких колоний, члены которой, по религиозным мотивам, были освобождены от призыва в войска, а служили санитарами). Были еще одиночки — самого разнообразного типа.

Несмотря на их сравнительную многочисленность, санитары доставляли нам меньше хлопот, чем сестры милосердия. Надо признать, что наиболее тихим и дисциплинированным элементом являлись меннониты.

Монахи «имяславпы» производили на меня (за одним исключением) мало симпатичное впечатление, но, в общем, пожаловаться на них я не мог. Помню один забавный случай с ними. Мы стояли тогда в Дубно (том самом Дубно, которое осаждали казаки в «Тарасе Бульбе»). Там мы получили приказ привить оспу всему персоналу поезда. И вот вспыхнул, как мы его потом в шутку прозывали, «оспенный бунт». Мятлева не было на поезде, он уехал в Москву, и подавлять «бунт» пришлось мне одному.

Один за другим стали ко мне приходить чины персонала, желавшие уклониться от прививки — их было очень много. Та кокетливая сестра, о которой я говорил, заявила мне, что она решительно отказывается прививаться, так как не хочет «портить кожу». «Вы можете привить оспу в ногу»,— не без наивности сказал я. «Я и ляжек своих безобразить не желаю!» —вызывающе ответила она. «Приказ — есть приказ,— сказал я,— и все, кто не пойдут на прививку, будут мною немедленно, списаны с поезда». Сестра пошла после этого «портить свои ляжки»... Только она ушла, как ко мне явился наш кашевар Митусов, здоровенный мужик кучерского типа, лет за сорок. «Ваше Сиятельство,— чрезвычайно мрачно произнес он,— я на прививку ни за что не пойду — не желаю на век уродом делаться!» — Я понял опасения Митусова и объяснил ему, что лицо его от прививки «рябью не покроется», как он того боялся, и что сам я первый пойду прививаться... Сопротивление Митусова было сломлено. Вслед за ним ко мне шли и шли протестующие, и вдруг явились все наши «имяславцы» и как один человек отказались прививаться. «Кого хотите, заставляйте, Ваше Сиятельство,— елейно говорил мне отец Корнелий,— но нас увольте. На нас — чин ангельский, и Писание воспрещает монахам кровь солнцу показывать... это уж — грех». Я ответил, что такое место Писания мне неизвестно и просил мне его показать. Монахи отговорились неимением Писания, но твердо стояли на своем. «Хорошо,— сказал я,— я вам сейчас Дам записку к Архимандриту здешнего монастыря. Я прошу его вас принять, выслушать и написать мне, действительно

ли существует такое правило для монахов. Если он его мне не укажет, все вы оспу привьете, или будете списаны с поезда».

Монахи получили записку и ушли. Через некоторое время ко мне вернулся один о. Корнелий. «Ну что,— спросил я,— принесли записку от отца Архимандрита?» Переминаясь, о. Корнелий робко ответил: «Так что мы решили не ходить в монастырь, а, из смирения, пойти на прививку...» Так был безболезненно ликвидирован наш поездной «бунт имяславцев».

Должен добавить — это тоже типично! — что одна из наших милых сестер милосердия - интеллигентка и неверующая, пришла ко мне, чтобы «выразить свой протест», так как по ее мнению я «не имел нравственного права насиловать религиозное Сознание наших монахов»...

Мы нередко «подвозили» в нашем поезде то спешащего к своей части офицера, то едущую к мужу на фронт жену, то сестру милосердия... Столь же радушно, и столь же неосторожно! — действовали и другие «дворянские» и «общественные» (земские и городские) поезда. Никаких документов от «подвозимых» обычно не спрашивалось, а внешнего контроля за едущими на наших поездах тоже не было. Кто только не мог на них проехать с фронта и на фронт! Только позднее я увидел всю опасность от такого благодушного отсутствия «формализма».

Один раз я сам попал в неприятное положение с таким взятым из любезности пассажиром: мне пришлось провести целую ночь с сумасшедшим. Полковник, который просил меня его подвезти и которого я поместил с собой в купе, за неименьем другого места, оказался бежавшим из отделения для душевнобольных. Полковник был подвержен приступам буйного помешательства, но, слава Богу, все прошло благополучно.

Со мной произошел и другой случай, тоже на почве «подвоза». Мы должны были ехать из Киева в Броды (в Галиции). Дежурный санитар доложил мне, что меня желает видеть какая-то дама. Дама оказалась молодой и очень хорошенькой. Она подробно рассказала мне весьма сентиментальную историю. Суть была в том, что она — невеста офицера, офицер этот ранен и находится в Бродах, и проехать к жениху она может только на нашем поезде, иначе она опоздает и жених будет уже эвакуирован. «Хорошо,— сказал я,— если вы принесете мне записку от Коменданта станции, что препятствий к вашему проезду в Броды нет, то я разрешу вам ехать с нами». Не знаю сам, почему я на этот раз был осторожнее, чем обычно. Возможно потому, что дама показалась мне несколько слишком нарядной и от нее слишком сильно пахло духами... Меня это как-то насторожило, но никаких определенных «подозрений» она во мне

не возбудила. Упоминание о Коменданте, по-видимому, даме не понравилось, и она сделала психологическую ошибку, вероятно рассчитывая на мою молодость. Она вдруг совершенно переменила тактику и определенно дала мне понять, что если я соглашусь взять ее на поезд, она, в пути, согласна... забыть своего жениха! Такая резкая перемена, особенно контрастировавшая с недавним сентиментальным рассказом, определенно возбудила мои подозрения. Конечно, я должен был бы, не выпуская даму из вида, сам пойти с ней к Коменданту, но я этого не сделал, а только сухо повторил мои условия относительно записки. Дама вышла... и не вернулась.

Перед отходом поезда я зашел к коменданту, которого немного знал, и спросил его, была ли у него моя дама? Она у него не была... Тогда я все рассказал коменданту, который посоветовал мне сделать письменное заявление контрразведке. Я так и сделал, уже в пути.

Через некоторое время я вновь был в Киеве и получил приглашение заехать в контрразведку. Та дама, которая просила подвезти ее в Броды, оказалась австрийской шпионкой! Она была до войны танцовщицей на какой-то открытой сцене и имела много знакомств среди офицеров. Ее уже некоторое время разыскивали, и арестована она была в Ровно. Мое заявление было присоединено к ее делу, и меня вызвали для опознания ее фотографий. Их мне предъявили несколько. На одной из них она сидела на коленях одного офицера, два других целовали ее ручки, а один; сидя на земле, целовал ее ногу... Глядя на эту любительскую фотографию, снятую, очевидно, на какой-то лагерной пирушке, я пожалел бедных офицеров, изображения которых были запечатлены в такой компании… На всех предъявленных мне фотографиях я признал ту даму, которая приходила ко мне в поезд. Как мне сказали, показание мое было важно потому, что с несомненностью устанавливало ее пребывание в Киеве, что она, по каким-то причинам, упорно отрицала. Я написал дополнительное показание. Что стало потом с этой дамой, я не знаю. Она была, возможно, освобождена во время «великой, бескровной революции», о таких случаях я слышал...

Эта история со шпионкой заставила меня (и не меня одного) в дальнейшем быть гораздо осторожнее. Для провоза кого-либо, нам лично неизвестного, мы стали всегда требовать разрешения военных властей.

Наблюдая перевозимых нами раненых, я лишний раз убедился в давно уже известной истине: раненый солдат склонен считать, что дело, в котором он ранен,— проиграно, и, кроме

того, раненый обычно очень преувеличивает наши потери.

Поэтому, помимо тяжелого впечатления от вида раненых, особенно тяжелораненых, разговор с ними производит пессимистическое действие. Мне неоднократно приходилось говорить об атом с нашими штабными офицерами и указывать на необходимость принятия мер к тому, чтобы направляющиеся на фронт эшелоны имели бы возможно меньше контакта с ранеными. Все соглашались со мною, но я не видел, чтобы что-либо делалось в этом отношении. Иногда мы стояли подолгу с ранеными на какой-нибудь станции, бок о бок с идущим на фронт эшелоном. При таком положении между солдатами неизбежно завязывались оживленные разговоры. Мне лично приходилось обращаться к комендантам и начальникам станций, где мы долго стояли, и я добивался отвода нас на запасные пути, подальше от эшелонов. Один раз начальник одного эшелона по моему совету даже поставил часовых у наших путей, чтобы не допускать вредного общения между своею частью и нашими ранеными. Наш персонал, в общем, относился ко мне хорошо и даже любил меня, но, несомненно, эту сторону моей деятельности наши поездные интеллигенты совершенно не одобряли. Я даже подал рапорт о некоторых мерах для уменьшения общения между эвакуированными ранеными и идущими на фронт эшелонами. Конечно, ничего своими писаниями я не добился, хотя и получил любезный ответ. Гораздо позже этим вопросом, с моих слов, заинтересовался Главный начальник снабжения Северного фронта, ген. Савич, и начальник штаба того же фронта, ген. Бонч-Бруевич (столь печально потом прославившийся). Но это было уже в 1916 году, незадолго до революции... Ген. Бонч-Бруевич говорил мне, что были приказы в этом смысле, но делалось в этом отношении очень мало: вопрос этот, по-видимому, считался маловажным. Без сомнения, это был вопрос второстепенный, но наши штабы слишком легко отмахивались от многих подобных вопросов, которые, особенно в их совокупности, представляли несомненное значение для ведения войны. Между прочим, мне удалось тогда узнать, что и у наших противников и у наших союзников этим вопросам предавалось куда больше значения, чем у нас.

Мне пришлось работать на санитарном поезде в начале войны, поэтому я видел настроения, которые потом, с течением времени, не могли не притупиться.

Раненых у нас кормили отлично, и наш поезд в этом отношении совсем не был исключением. Я только удивлялся, сколько они ели: их поглотительные способности были совершенно безграничны. Доктора взывали к осторожности, но

наши сердобольные санитары всячески старались побольше накормить своих раненых. И на многих станциях по пути следования какие-то местные «комитеты» или просто отдельные люди, обычно — простолюдины, еще от себя кормили и угощали их.

На маленьких станциях я бывал свидетелем красочных и часто трогательных сцен.

Вот идет вдоль поезда старая хохлушка, в своих кованых цветных чоботах и по-малороссийски повязанном платке. Она держит в руке деревянную миску, полную варенников или галушек. Раненых в поезде несколько сот: на всех не хватит. И вот баба с серьезным лицом выбирает, по каким-то только ей одной известным признакам, кого именно угостить. Избраннику она пальцами протягивает вареник. «Вот этому черному! Нет, не тебе, бисов сын,— тому, что в ногу ранен!..»

Раз так шла вдоль поезда молодка и певучим южным голосом спрашивала в каждом вагоне, нет ли здесь кого-нибудь Грайворонского полка. При мне отозвался один солдат: «Я той же дивизии; чего тебе надо?» — «Муж у меня в Грайворонском полку, хочу грайворонцев угостить и про мужа спросить».— «И не ищи,— мрачно сказал раненый,— грайворонцы правее нас стояли... Там что народу перебили... страсть! Не чаю, что кто и жив остался! Весь полк, как есть, без остатка положили...» Баба заплакала. «Ну, ну, не плачь,—успокаивал ее мрачный раненый,— ты баба молодая, в самом соку, другого мужа найдешь. Чего же убиваться-то!» — «Да я своего люблю,— плакала баба,— муж-то у меня хороший». Я вмешался в разговор. «Полно языком трепать! — сказал я раненому.— Грайворонский полк совсем не уничтожен (откровенно говоря, я понятия не имел о его судьбе!). Твой муж — грамотный? — спросил я бабу.— Вот увидишь, скоро письмо от него получишь». «Конечно,— подхватило несколько голосов,— чего человека заживо-то хоронить! Еще вернется муж-то твой!» Баба вытирала слезы с повеселевшего лица. Всю свою миску она отдала раненым этого вагона...

Помню на другой станции старика-крестьянина, окруженного группой легкораненых. На его груди висел старый солдатский Георгиевский крест. «Куда вам против нас,— слышал я его голос. — Мы под Плевной...» Раненые слушали с большим интересом и совсем не казались обиженными на то, что старый солдат уменьшает их заслуги...

Видел я тогда все огромное значение — хороших частей! Раненый, запасный какого-нибудь второочередного полка, или точно такой же раненый, запасный какого-нибудь славного полка, имели совсем разную психологию, хотя они только очень недолго

успели побывать в рядах этих полков. Удивительно, как быстро действует психическая зараза и как скоро заражаются солдаты высоким духом своей части! Какой-нибудь «железный стрелок» чувствовал себя совсем другим человеком (и действительно был им), чем рядовой никому не известного второочередного полка, и сами эти рядовые к нему относились иначе... Подавляющее число раненых были пехотинцы. Редко попадались артиллеристы, еще реже кавалеристы.

Однажды я обходил вагоны, спрашивая, нет ли каких-либо жалоб или просьб. Ко мне обратился один тяжелораненый. «Вчерась сестрица тут, как всех переписывала, боюсь, меня рядовым записала»,— с трудом произнес он.— «А ты унтер-офицер?» — спросил я.— «Никак нет,— гусар я! — отвечал раненый,— а сестрица просто рядовым записала, вроде как пехота...» Я обещал ему, что он будет записан — гусаром.

Другой раз, во время стоянки поезда, ко мне подошел легкораненый, подтянутый улан, по-видимому, что-то желавший сказать не при других. «Ваше высокоблагородие,— обратился он ко мне,— нельзя ли меня в другой вагон перевести? У нас серизна! Одна пехота!» Я сказал ему, что у нас нет специального вагона для кавалеристов. «Так нельзя ли в соседний вагон перевестись? Там, по крайности, артиллерия есть»,— просил улан.

Оборудование санитарного поезда и медицинское обслуживание раненых там, где я это наблюдал, было если не превосходно, то, во всяком случае, недурно.

Очень неблагополучно было по части насекомых — вшей. Должен сказать, что до войны мне ни разу не приходилось видеть вошь, но тут я на них насмотрелся более чем вдоволь! Раз нам пришлось принимать партию раненых, одеяла которых были настолько покрыты вшами, что даже переменили цвет. Если бы я сам этого не видел, это, вероятно, показалось бы мне преувеличением.

Кому-то на нашем поезде пришла в голову блестящая мысль. Одеяла были разложены около рельс, и паровоз, медленно проходя мимо них, обдавал их парами через особую трубу. Сильная струя перегретого пара буквально сметала кучи вшей! Никогда, ни до ни после, ничего подобного я не видел.

К счастью, положение со вшами существенно улучшилось: начали появляться в большом количестве дезинфекционные и дезинсекционные камеры. Они принесли большую пользу. Правда, они нередко портили кожаные вещи: сапоги и полушубки...

Во всяком случае, для борьбы со вшами были приняты очень

энергичные меры. В частности, деятельность принца Ольденбургского была в этом отношении очень полезна.

РАБОТА В ЗЕМСКОМ СОЮЗЕ

Работа моя на санитарном поезде все более и более становилась рутиной и поэтому менее интенсивной и интересной.

Я принял в свое время предложение Обще-Дворянской Организации (ОД О) работать на санитарном поезде потому, что это было первое предложение работать на армию, мною полученное, а я стремился найти такую работу поскорее. Теперь я получил гораздо более заманчивое для меня предложение от Всероссийского Земского Союза (ВЗС) работать по формированию одного из больших «передовых санитарных отрядов» этого Союза и отправиться с ним на фронт. Для начала, как и в ОДО, я должен был быть «помощником уполномоченного» (начальника отряда), а потом сделаться самому уполномоченным и начальником отряда.

Я решил принять это предложение ВЗС и написал в Москву (ОДО), прося назначить мне преемника, которому я мог бы сдать должность. Поиски заместителя продолжались более месяца. Тем временем я простудился и заболел ползучим воспалением легких. Перенес я эту болезнь, несмотря на мудрые предостережения врача, по молодости лет, на ногах и не сдавая должности. Почему я вообще выздоровел в этих условиях, при постоянных выходах из теплого вагона на морозный воздух, я не знаю, но я выздоровел. Мой заместитель, новый уполномоченный, все не ехал, я же получил телеграмму от ВЗС, требующую немедленного моего приезда в Москву, иначе предложенная мне должность должна была быть предоставлена другому лицу.

По телеграфу я испросил и получил разрешение ОДО, не дожидаясь приезда уполномоченного, временно сдать должность старшему врачу. Я так и сделал, и после трогательных (и кажется искренних) проводов со стороны всего персонала поезда я спешно уехал в Москву.

Однако мне не повезло!

Немедленно по приезде я слег от нового, гораздо более сильного воспаления обоих легких. Очевидно, мое выздоровление было непрочным. Передовой отряд ВЗС, о котором шла речь, был сформирован и ушел на фронт без меня, а мне была обещана аналогичная должность в одном из следующих отрядов.

Когда я поправился от воспаления легких, была ранняя весна, и доктор послал меня для более быстрого укрепления на месяц в Крым. Однако в Крыму я пробыл не более двух недель и снова спешно вернулся в Москву, чтобы еще раз не упустить места в новоформируемом передовом отряде ВЗС.

По-видимому, судьбе было вообще неугодно, чтобы я попал в передовой отряд. Меня ждала совсем иная деятельность, которая тогда привлекала меня куда меньше... Но очень скоро я не только перестал жалеть об этом, но был даже рад, что так вышло. Я рад этому и до сих пор. Поле деятельности, которое мне открылось, было куда шире и интереснее! И благодаря тому что я не поехал в передовой отряд, я познакомился с человеком, который оказал на меня очень значительное влияние, которого я искренно полюбил и память о котором я с благодарностью глубоко чту. Это был — Осип Петрович Герасимов.

Само наше знакомство с ним было совсем необычное. Когда я приехал в Москву, меня ждала записка от

Главноуполномоченного ВЗС князя Г. Е. Львова (будущего Председателя злосчастного Временного правительства). Кн. Львов просил меня как можно скорее к нему заехать, но не писал, в чем дело.

Князя Львова я лично знал тогда еще сравнительно мало, но очень много о нем слышал. Надо сказать — то, что я знал о нем по рассказам, было гораздо лучше, чем то личное впечатление, которое он на меня производил. В дальнейшем мое первоначальное впечатление не только не изгладилось, но, наоборот, укрепилось.

Князь Г. Е. Львов был человек безусловно способный, энергичный и, в некоторых отношениях, «ловкий». Он был умен, быстро схватывал вещи и имел здравое суждение, но ум его был не тонок, а культура его была поверхностна. Вообще, Львов определенно производил больше впечатление self made man'a, чем носителя старинной и утонченной культуры. Я думаю, что именно это заставляло многих говорить об «американизме» кн. Львова, хотя специфически американского в его характере ничего не было.

Он не только не был «великим», но даже просто крупным человеком. Он принадлежал к довольно распространенной категории людей «выше среднего», не больше, но очень многие рассматривали кн. Львова как бы через увеличительное стекло. При этом стекло это имело ту приятную для Львова особенность, что его недостатки оно не только не увеличивало, но, наоборот, преуменьшало...

В масштабе председателе губернской земской управы Львов был, вероятно, совершенно на месте, но и на этом месте я знал людей, которых считаю выше его. На должность выше председателя губернской управы кн. Львов, по существу, уже не очень годился. На самые высокие посты он определенно и совершенно не годился. Его «ловкость» и умение пускать людям

«пыль в глаза» позволяли ему, однако, подняться выше нормального для него уровня. При этом кн. Львов проявлял порой совершенно неаристократическую и даже противо-аристократическую цепкость в достижении новой должности и в удержании ее в своих руках. Одной из черт «ловкости» кн. Львова было его умение скрывать свой «арривизм». Однако он пользовался трафаретными приемами, действовавшими на несколько определенных типов людей, но для других — «ловкость» и «хитрость» кн. Львова казались шитыми белыми нитками. Его приемы действовали на широкую публику скорее наподобие театральных декораций, которые производят впечатление издали, но не выдерживают более внимательного осмотра.

Может показаться странным и даже несправедливым то, что я скажу о широко признанном «организационном таланте» князя Львова. Мне он никогда не представлялся крупным организатором. В том, что у него не было организаторского таланта в государственном масштабе, все могли убедиться в 1917 году. Я помню, как, только узнав о том, что кн. Львов встал во главе Временного правительства, я сказал О. П. Герасимову: «Здесь он лопнет, как мыльный пузырь».— «Боюсь, что вы правы», — ответил мне Герасимов. Надо сказать, что О. П. Герасимов относился к кн. Львову тоже критически, но менее резко, чем я. Это было, кажется, единственное исключение, так как Герасимов был человеком неизмеримо более резким, чем я, и обычно я смягчал его оценки людей, а не обратно. С кн. Львовым было наоборот. «Вы слишком молоды и требовательны»,— говорил мне Герасимов, когда мы разговаривали о кн. Львове.

Думаю, что дело здесь было не Столько в моей молодости, сколько в особенном моем подходе именно и кн. Львову, и не к нему одному.

Я считаю себя, вообще, довольно объективным человеком (конечно, трудно правильно судить о себе самом). Однако, когда я оцениваю людей аристократического происхождения, я должен признать, что часто теряю эту объективность. В сущности, это, может быть, наследственная и традиционная необъективность, я вновь припоминаю слова Дедушки Трубецкого: Если князь становится хоть чуточку хамом, то он хуже всякого хама». Ведь и это суждение (с которым я искренно согласен) все-таки нельзя назвать объективным!

Конечно, приводя слова Дедушки Трубецкого, я отнюдь не думаю обвинять кн. Львова в хамстве,— это мне и на ум не приходит; я только иллюстрирую нашу, по-видимому традиционную, склонность быть гораздо строже в своих

требованиях и суждениях по отношению к аристократам. Некоторые черты характера князя Львова оставляли бы меня совершенно хладнокровным, если бы я их встретил в каком-нибудь лесном подрядчике, или прасоле; я даже, быть может, объективно оценил бы его за «ловкость» и «хватку», но в человеке, носящем имя князя Львова, такие черты — скажу откровенно — меня отталкивали. Я уверен при этом, что «несправедливой» моя оценка князя Львова не является, но нельзя назвать ее и совершенно объективной...

Вернусь, однако, к «организационным талантам» кн. Львова. Трем инженерам поручено построить мосты. Один ничего не мог сделать, хотя у него были и рабочие, и материалы. Это—совсем негодный организатор! Другой инженер построил хороший, прочный мост с минимумом затраты материала и работы. Это — настоящий хороший организатор. Третий инженер тоже построил мост (не очень прочный) и, вдобавок, с огромными лишними затратами. Можно ли назвать такого инженера хорошим организатором? Последний инженер — организатор типа кн. Львова...

Причем — и эта подробность не лишена интереса — в своих личных делах кн. Львов был чрезвычайно скуп на затраты и имел установившуюся репутацию человека прижимистого, «жома». Однако когда он организовывал широкое общественное дело (в чисто земском масштабе он был экономен), и особенно на казенные средства, методы кн. Львова в корне менялись. Затраты его интересовали очень мало. «Когда дело идет об армии,— говорил он в таких случаях,— затраты роли не играют!» Фраза эта —красивая, в ней, без сомнения, большая доля истины, но все же не вся истина! Во-первых, так как даже государственные средства далеко не безграничны, хозяйственный расчет требуется и тут, а во-вторых, никак не отрицая патриотических забот кн. Львова, мне все же кажется, что очень значительная, если даже не главная цель, о которой он умалчивает, была все же рекламная; «утереть нос» правительству и возвеличить общественность,— «мы, мол, общественность, все можем сделать, а правительство не может!» Должен, по справедливости, признать, что реклама «общественности» была для кн. Львова на первом месте и только далеко позади шла его личная реклама... И именно эта «общественная реклама» достижений кн. Львова создала ему ту репутацию среди нашей общественности, которая привела его на пост Председателя Временного правительства. (Должен добавить: я не думаю, что этого или подобного поста домогался сам кн. Львов.)

В князе Львове сочеталось много противоречий. Безусловно,

он обладал личным шармом для некоторых, и притом широких и разнообразных категорий людей. И сам он прекрасно сознавал, что обладает шармом, и поэтому, как это часто бывает (особенно у женщин), он не умел подходить к людям, на которых его шарм не действовал.

Я говорил, что кн. Львова нельзя назвать крупным организатором, в том смысле, что он не умел хорошо организовывать дела, которые он сам создавал, или которые вокруг него создавались, но, с другой стороны, он заслуживает имя крупного организатора в том смысле, что дела, которыми он занимался, были — крупные. При самом критическом отношении к кн. Львову, отрицать это — невозможно. Самым крупным делом, развитым кн. Львовым, был Всероссийский Земский союз.

У князя Львова был бесспорный талант: он умел добывать деньги на дело, особенно у правительства. Талант этот — вообще редкий, а среди нашей общественности — особенно. Пожалуй, именно этим своим талантом кн. Львов сделал всего больше для В. З. Союза.

При своих методах работы кн. Львов мог вести, пусть очень крупное, но всегда подсобное государственное дело, государственного же дела во всей его широте и ответственности он вести никак не мог.

Ко всему этому еще присоединялось у кн. Львова искреннее и наивное «народничество», которое резко контрастировало с прижимистым и деляческим его характером как частного человека. Народничество это носило у Львова какой-то «фаталистический» характер. Я не подберу другого слова, чтобы охарактеризовать веру кн. Львова — не в русский народ вообще — а именно в простонародие, которое рисовалось ему в каких-то фальшиво-розовых тонах. Мне случалось слушать *наивные* рассуждения кн. Львова на эту тему и до, и после февральской революции. «Не беспокойтесь,— говорил он накануне первого (летнего) выступления большевиков в Петербурге в 1917-м,— применять силы не нужно, русский народ не любит насилия... Все *само собою* утрясется и образуется... Народ *сам* создаст своим мудрым чутьем справедливые и светлые формы жизни...» Я был потрясен этими словами Главы Правительства в такие тяжелые минуты, когда от него требовались энергичные действия. Не менее меня был потрясен и О. П. Герасимов, которому при мне говорил это Львов. Еще поразил меня взгляд кн. Львова: глаза его были устремлены в какую-то даль и он как будто ей улыбался... И это был тот самый кн. Львов, который был известен — притом справедливо известен! — своей хозяйственной энергией. Там он был — борцом, в

государственных же вопросах это был какой-то «непротивленец»!

Я помню, как еще до революции — должно быть, в 1917-м — я разговаривал в Москве с одним из многочисленных поклонников кн. Львова, мечтавшим видеть его—и как можно скорее—«премьером»! «Но ведь это же государственный импотент!» — сказал я... Этот разговор, мною забытый, напомнил мне, уже при большевиках, мой бывший собеседник, А. А Булатов. «Вы знаете,— сказал он мне,— вы тогда меня возмутили, но я потом увидел, что вы были правы...»

Оценка, которую я даю князю Львову, сложилась у меня постепенно, годами, за время знакомства с ним еще во времена моего студенчества и даже ранее, и особенно за время моей работы в Земском союзе. Но я должен сказать, что со стороны кн. Львова я неизменно встречал самое хорошее отношение и, как к человеку, я не питаю к нему каких-либо дурных чувств.

Как я уже говорил, для меня лично полный крах кн. Львова на посту Председателя Временного правительства отнюдь не был неожиданностью, и крах этот не иэменил моего суждения о нем, а только его подтвердил.

За премьерским постом — повторяю — князь Львов не гнался. Как человек умный, он не мог не сознавать, что для занятия такого поста он не имеет, в сущности, никаких данных: ни воли, ни опыта, ни даже достаточно культуры. Куда больше, чем самого Львова, можно обвинить нашу «передовую общественность», которая добивалась государственной власти, не имея для этого даже мало-мальски подходящих кандидатов. Председатель губернской земской управы не виноват, если он не подходит на первую роль в государстве, но виноваты те, кто его на этот пост выдвигают. Наша общественность, выставляя кн. Львова на первые роли, и тут провалилась на государственном экзамене. Это можно оплакивать, но отрицать — невозможно.

Когда я спрашиваю себя, какой самый общий вывод я сделал из своих наблюдений за более чем четверть века моей общественно-политической жизни, я отвечаю на этот вопрос очень кратко: я понял слова шведского канцлера гр. Оксеншверна в его политическом завещании сыну: «Nescis, mi fill, quantilla sapientia homines guvernari».

Я помню, что прочел это изречение еще студентом и в то время не понял его глубины: оно показалось мне тогда — «бутадой». Жизненный опыт заставил меня понять всю истину и глубину мысли гр. Оксеншерна: «Не знаешь, сын мой, сколь малой мудростью управляются люди!»

Я сказал выше, что, приехав я Москву из Крыма, я получил записку от кн. Львова, с просьбой спешно заехать к нему, (По

этому случаю я сравнительно подробно и остановился на личности кн. Львова. Конечно, из этого никак не следует, что, когда я входил в его кабинет, мое мнение о нем было уже окончательно сложившимся.)

Князь Львов принял меня обворожительно любезно. Ни мое прежнее знакомство с ним, ни мой возраст, на тот очень второстепенный пост, который был мне предложен в ВЗС, никак не могли объяснить такого исключительного приема.

— Наконец-то! А мы вас ждали, ждали! Вы нам очень нужны! — говорил мне Львов, встречая.

Я знал уже тогда, что «простота» и «горячность приема» — один из способов, которыми кн. Львов привлекал к себе людей. Во всяком случае, тут было ясно, что я почему-то Львову действительно нужен.

Дело выяснилось очень скоро.

— Вы хотите работать в передовом отряде,— сказал мне Львов.— Это не для вас. Это — тупик, вам же предстоит в будущем широкая деятельность— (Некоторое «комплиментарство», причем в подчеркнуто «простой» и «искренней» форме, было в его манере.) —Вам нужно к этой широкой деятельности готовиться. Для этого нужны — школа и опыт... Бросьте вашу мысль об отряде, я хочу вам предложить совсем другое: должность помощника заведующего Контрольным Отделом в Комитете Северо-Западного фронта...

Для того чтобы объяснить, что именно предлагал мае Львов, я должен вкратце сказать, что представлял собой сам ВЗС и «Комитет Северо-Западного фронта».

«Всероссийский Земский Союз помощи больным и раненым воинам» — таково было его полное название — с самого начала кампании перерос узкие рамки «краснокрестной» организации, каковой он, по своему названию и по желанию правительства, должен был являться. «Помощь больным и раненым воинам» при этом отнюдь не отпала, а, напротив, очень широко развивалась, но, кроме того, Союз начал обслуживать самые разнообразные и все увеличивающиеся нужды армии.

Армии не хватало сапог или полушубков — немедленно создавался в ВЗС огромный закупочный и заготовительный аппарат, который доставлял армии недостающие обувь и одежду. Отчасти заказы шли на свободном внутреннем и внешнем рынке, большей же частью заготовка шла через местные земские организации. Последние широко использовали кустарей, которых приходилось при этом снабжать необходимым сырьем; между ними распределялись заказы.

На фронте шли большие земляные работы. Оказалось, что не

организовано кормление многочисленных вольнонаемных рабочих. Во многих местах Земский Союз взял организацию этого на себя...

Немцы произвели первые газовые атаки. Необходимо было быстрое и массовое заготовление масок,— Земский Союз взялся и за это...

Перечислять все отрасли этой многообразной и полезной для армии деятельности я не буду. Скажу лишь, что принципом Всероссийского Земского Союза было не только не отказываться от любой работы на армию, которую ему поручали исполнить, но проявлять и инициативу в этом отношении: увидеть, чего не хватает, убедить власть поручить Союзу восполнить эту нехватку и сделать все, что нужно.

Я сам принимал участие в этой работе, но все же, без ложной скромности, скажу, что, в принципе, работа Союза была очень полезна. Но дальше мне придется показать и отрицательные стороны деятельности Союза.

Почта с самого начала разрастающаяся деятельность Союза не могла ограничиться, как того первоначально хотело правительство, одним тылом армии. Опираясь на крепкую земскую сеть учреждений и работников на местах, Главный Комитет Союза, во главе которого стоял кн. Львов, постоянно продвигал свои учреждения в Действующую армию. Для организации и управления этими многочисленными и разнообразными учреждениями Всероссийского Земского Союза при армии были созданы на каждом фронте так называемые «фронтовые комитеты ВЗС». Во главе каждого такого комитета стояли Председатель и Товарищ Председателя (его заместитель). Состоял комитет из уполномоченных Союза, ведающих разными отделами — медицинским, транспортным, заготовительным и т. д. Членами же комитета входили — уполномоченные Союза при армиях фронта и другие уполномоченные. Фронтовые комитеты, как это видно из самого их названия, были учреждениями коллегиальными, но фактически очень большая власть сосредотачивалась в руках их Председателей. К тому времени, о котором я говорю, действовали два фронтовых комитета ВЗС: Юго-Западного фронта и Северо-Занадного фронта. Последний комитет находился тогда в Варшаве. Князь Львов говорил со мной именно о последнем.

Во главе Комитета Северо-Западного фронта стоял В. В. Вырубов, дальний родственник кн. Львова и большой его любимец. Вырубову далеко еще не было тогда сорока лет. Это был человек клокочущей, но совершенно не систематической энергии. Инициативы у него было хоть отбавляй и он мог лбом стену

прошибить. Помню, со слов самого Вырубова, как ген. Куропаткин (командовавший тогда корпусом) как-то ответил ему: «Вы такой большой и так громко и убежденно говорите, что, должно быть, вы правы...»

В первое время работы Союза на фронте большинство крупных военачальников косились на него: какая-то «общественная организация», не попахивает ли тут революцией? Но работа Союза и приносимая им польза армии разбила первоначальный лед. Надо признать, что тут было немало личной заслуги Вырубова.

Как организатор Вырубов был того же типа, что и кн. Львов, но недостатки Львова были у Вырубова как бы под увеличительным стеклом. Об этих недостатках Вырубова не раз говорил сам кн. Львов. Казенными и общественными деньгами Вырубов буквально бросался, эта сторона вопроса его совершенно не интересовала, и он даже как бы кокетничал своим презрением к вопросу о стоимости того или другого предприятия. (Надо сказать, что Вырубов, будучи человеком не богатым, и своих собственных денег не считал, в чем он был противоположностью князю Львову.) Но «рекламизм» общественности и свой собственный проглядывал у Вырубова еще куда яснее, чем у Львова.

Принципом Вырубова было забрать как можно больше работы, даже не задаваясь Мыслью, можно ли и как ее выполнить. Иногда на этой почве получался немалый конфуз, но Вырубов обладал счастливой для себя способностью первым забывать об этом и помнить только об успехах... В последнем случае Вырубов умел подавать, кому нужно, товар лицом!

Свои организационные принципы сам Вырубов как-то определил мне так: «Надо начинать дело все равно как... только бы оно началось... Что-нибудь там напутать — это не важно! А дальше само собой распутается!..»—И действительно, так Вырубов и действовал. Благодаря своей бурной энергии и напористости при светских формах, он добивался порой от самых нерасположенных к «общественности» генералов поручении Союзу сделать то или иное дело (здесь он проявлял большое мастерство!). Дальше он «что-нибудь напутывал» и... предоставлял распутывать другим. То, что удавалось,— была заслуга ВЗС и его, Вырубова; то, что не удавалось... замазывалось довольно ловко.

Я говорил уже, что Вырубов многого добился в Варшаве от военных властей и тем укрепил положение Союза. Однако «организационная система» Вырубова и ведение дела совершенно не считаясь с его финансовой стороной, начали вызывать

недовольство в наиболее серьезных земских кругах, где такие методы работы никогда не встречали сочувствия. Это растущее недовольство дошло до кн. Львова, и он решил ввести в Комитет Северо-Западного фронта новое лицо — уважаемого земца, который бы послужил некоторым тормозом чрезмерных увлечений Вырубова, а, с другой стороны, прикрыл бы Вырубова и самого князя Львова в глазах критикующих земцев.

Итак, Главный Комитет ВЗС решил организовать в Комитете Северо-Западного фронта новый «контрольный отдел» и назначить заведующим им видного уполномоченного, который бы вошел членом во фронтовой комитет. Однако отыскать подходящего человека, известного в земских кругах и пользующегося там большим уважением, оказалось очень трудно. При этом человек этот должен был быть самостоятельного характера. Надо сказать, что Вырубов подобрал себе такой комитет, где он мог действовать, как он хотел, ни с кем не считаясь: члены этого комитета совершенно стушевывались перед ним. Это тоже вызывало все растущую критику видных земцев.

Наконец, после долгих поисков, Главный Комитет решил просить ехать в Варшаву О. П. Герасимова, пользовавшегося уважением в земских кругах и известного своим твердым характером.

Князь Львов сделал соответствующее предложение О. П. Герасимову и добился его условного согласия. Условие, выдвинутое Герасимовым, было следующее. «Один, без помощника и заместителя, которому я могу вполне доверять, я в Варшаву не поеду,— сказал он.— И не хочу бросать моего дела в Смоленске, и потому буду разъезжать между двумя городами. Тем более мне необходим помощник». (Герасимов был уполномоченным ВЗС в своей родной Смоленской губернии.) Между тем подходящего кандидата в виду у Герасимова не было, а ехать надо было скорее. Кн. Львов предложил ему список всех уполномоченных и помощников уполномоченных Союза, дожидающихся назначения. В этом списке было и мое имя.

Изучив список, Герасимов сказал, что тех кандидатов, которых он лично знает, он не считает подходящими, а из ему не известных он остановился на мне. «Я знаю и люблю трубецковскую породу,— сказал он (так передал мне его слова кн. Львов),—думаю, что с князем Сергеем Евгеньевичем мы работать сможем». Он просил князя Львова познакомить меня с ним и, в принципе, согласился ехать со мною в Варшаву.

Князю Львову было очень нужно согласие Герасимова, и так как оно таким странным образом оказалось зависящим от меня, его особое «ухаживание» за мною сделалось совершенно понятно.

Однако всю эту подоплеку кн. Львов открыл мне только потом, сначала он говорил только о моей собственной пользе, если я поеду в комитет Северо-Западного фронта.

«Контрольный отдел» никак меня не притягивал, и к этой работе я совершенно не чувствовал себя подготовленным, поэтому я поблагодарил кн. Львова за его предложение, но заявил, что предпочитаю менее широкую деятельность в передовом отряде.

Только тогда кн. Львов открыл свои карты и, объяснив мне, что они очень дорожат вхождением О. П. Герасимова в Варшавский комитет, просто просил меня сделаться его помощником, «так как это категорическое условие Осипа Петровича. Одним вашим согласием,— сказал мне кн. Львов,— вы уже принесете большую пользу делу, а, повторяю, для вас самих работа эта будет очень полезна». В этом отношении кн. Львов оказался совершенно прав, и я ему очень благодарен.

Я ответил ему, что во время воины личные вкусы не должны играть роли и что я готов подчиниться деловым соображениям... Князь Львов горячо меня поблагодарил.

Должен добавить, что, убеждая меня согласиться на его предложение, князь Львов дал мне «лестную» характеристику О. П. Герасимова, из которой я, однако, понял, что, уважая Герасимова — его и нельзя было не уважать! — кн. Львов считает его скорее антипатичным и «сухарем». Все симпатии Львова лежали, конечно, на стороне Вырубова. Говоря о «ригоризме» Герасимова, Львов просил меня «подливать масла в колеса», если у него будут трения с Вырубовым. При этом кн. Львов ясно дал мне понять, что в таком случае ожидает, что и мои симпатии, конечно, будут на стороне Вырубова. Потом, уже после моего знакомства с О. П. Герасимовым, кн. Львов, по-видимому, удивился, когда на его вопрос я ответил, что О. П. произвел на меня очень приятное впечатление. Конечно, он никак не выразил своего несогласия с этой оценкой, но я его все же почувствовал.

Через день или два после разговора с кн. Львовым я познакомился с О. П. Герасимовым. Как я уже сказал, мое первое впечатление от него было вполне благоприятное. Конечно, я тогда никак не предполагал, что скоро с ним очень сближусь, насколько могут сблизиться люди разных поколений (он был лет моего отца).

Я тоже произвел на Герасимова хорошее впечатление. Когда началась наша совместная работа, он скоро просто трогательно полюбил меня; я, в свою очередь, не менее искренно полюбил его.

О. П. Герасимов был человек весьма оригинальный и я не могу отнести его ни к какой обычной категории людей. Он происходил из совсем незнатного, но старинного дворянского рода, крепко сидевшего на земле и выходившего во дни оны, «конны, людны и оружны», на защиту русских рубежей. Этот, к сожалению редко встречающийся у нас, атавизм очень сильно чувствовался в глубине характера Герасимова.

Наше старое, но незнатное и небогатое родовое дворянство, много сделавшее для России и за последние десятилетия только немногим меньше оклеветанное и оплеванное, чем наша аристократия, к сожалению, быстро оскудевало и потеряло свое бывшее значение в государстве. При этом одни представители этого сословия скатывались в пропасть «бескультурья»; а другие — «объинтеллигенчивались», теряя характерные и полезные для государства черты «служилого сословия». Некультурным Герасимова назвать, конечно, было никак нельзя, хотя культура его и была не особенно тонкой. Скорее, мало знавшие его люди могли считать его «интеллигентом», но это тоже не было верно, хотя некоторые черты интеллигента в нем и проглядывали. Типичный интеллигент — человек, оторванный от земли, и от истории, и не имеющий традиций, кроме, конечно, «специфически интеллигентских».

У О. П. Герасимова ясно чувствовались крепкие и старинные традиции государственного «служилого сословия». При этом он был человек цельного и стального характера, определенный индивидуалист и крепкий государственник. Под государственным углом зрения Герасимов смотрел на все. Государственный интерес был у него всегда на первом месте. Педагог по профессии, бывший директор Дворянского Пансиона в Москве, потом некоторое время товарищ министра Народного Просвещения, Герасимов отнюдь не был чиновником или бюрократом. Старый смоленский помещик и земец, Герасимов был убежденным и стойким приверженцем широкого местного самоуправления. Человек очень властного характера, он, однако, отнюдь не имел довольно обычной для таких людей склонности к централизму.

За несколько лет нашей совместной службы и знакомства (он умер в большевицкой тюрьме в 1919 г.) Герасимов оказал на меня значительное влияние. Изо всех моих служебных начальников учиться, к сожалению, мне пришлось только у него.

Ко времени моего знакомства с ним (весна 1915 г.) О. П. Герасимову шел шестой десяток лет. Он не был больше на государственной службе. Средства его были очень скромные, но они все же позволяли ему быть независимым. Впрочем,

независимость коренилась в самом характере Герасимова. Несмотря на довольно слабое здоровье, он был чрезвычайно упорным работником. Он был не властолюбив, но властен. Многие его любили. Пожалуй, еще большее число людей — его не любили, но никто не мог его не уважать. Многим он импонировал.

Прямота Герасимова была зараз его достоинством и недостатком. Он нередко бывал слишком резок с людьми и в оценках людей. Требовательный к самому себе, Герасимов был требователен и к другим.

В контрольном отделе Главного комитета ВЗС, во главе которого стоял старый земец Н. Н. Хмелев, я — более чем наспех и очень поверхностно — познакомился с совершенно неизвестным мне делом. По рекомендации Хмелева Герасимов пригласил старшего контролера и трех контролеров со специальной подготовкой. Мелких служащих отдела мы должны были подыскать на месте.

Обучение мое новому делу продолжалось лишь два-три дня и то урывками, после чего, в сущности совершенно неподготовленный, я должен был спешно выехать со старшими служащими отдела в Варшаву. Герасимов должен был приехать в Варшаву только недели через две.

В Варшаве, во фронтовом комитете ВЗС, я попал в страшнейший кавардак. Я ожидал отсутствия порядка, но то, что я встретил, превзошло все мои ожидания,— это было нечто хаотическое и бесформенное, но жившее очень интенсивной жизнью.

Я уже говорил выше о Вырубове, но познакомился я с ним, только приехав в Варшаву. Он произвел на меня симпатичное впечатление «славного малого» — энергичного, простого и веселого. Это был человек нашего круга, что очень облегчало мне работу с ним. Он почти немедленно предложил мне перейти на «ты». Однако при поверхностно-хороших отношениях мы с ним, по существу, не сблизились, да и работать с ним мне почти не пришлось.

Немедленно по приезде я со своими сотрудниками приступил к работе. Что только открылось перед нами! Как я уже говорил, Вырубов брался за все и предлагал все делать, но в совершенно неисполнимые сроки. По справедливости, приходилось удивляться не тому, что сроки выполнения работ обыкновенно не исполнялись и что многое не удавалось сделать; удивляться приходилось, сколько все-таки сделать удавалось... Какой ценой — это вопрос иной!

Старые земцы (главным образом, из «третьего элемента»),

работавшие в комитете, просто за голову хватались, но они не могли, или не смели, противиться воле Вырубова. Зато были и другие уполномоченные и служащие комитета, которые чувствовали себя в своей атмосфере и совершенно распоясались. Может показаться странным, но я потом уже при большевизме (это относится к его начальному периоду) почувствовал кое-где атмосферу, напоминающую мне то, что видел тогда в варшавском комитете: те же «масштабы», то же отсутствие настоящего хозяйственного расчета, то же наплевательское отношение к вопросу о стоимости, та же самоуверенная безграмотность во многих вопросах и та же распоясанность иных руководителей дела, не считающихся ни с какими правилами, нормами, требованиями и т. п. Должен сказать с еще большим прискорбием, что эти черты мне приходилось наблюдать далеко не в одном только комитете Северо-Западного фронта, а и в других учреждениях ВЗС и вообще среди наших «общественных организаций». Я уже говорил об их немалых достижениях и положительных сторонах; не могу умолчать и об этой очень серьезной отрицательной стороне. Многие отрицательные черты нашей «общественности» не родились при большевизме, а только развились при нем и расцвели махровым цветом.

Под красивым лозунгом: «Если нужно для армии, на затраты нечего смотреть!» — творилось в варшавском комитете немало безобразия, наряду с беззаветной патриотической работой. Вырубов швырялся деньгами, но, по крайней мере, он не грел себе рук и огромное большинство работников ВЗС — тоже, но были и... печальные исключения!

Надо сказать, что само бесконтрольное швыряние денег и покупки, не считаясь ни с какими ценами, создавали большие искушения для иных слабых душ. С другой стороны, подрядчики, чуя возможность огромной наживы, искушали взятками некоторых работников закупочного аппарата. Большинство, но не все, могли этому противостоять.

Я сразу увидел, что дело, по существу, идет не о контроле тех или иных расходов или проверке товаров и их хранения и выдачи, — чувствовалась необходимость реорганизовать всю постановку работы. Этого я, конечно, был не в силах и не вправе делать первое время (я не был даже членом комитета). Однако самый факт организации контрольного отдела немедленно принес известную пользу: многие начали подтягиваться,

Работая в Варшаве, я наблюдал более непосредственные тылы армии, чем самый фронт (в это время в самой Варшаве стоял штаб одной армии, а по соседству—другой). Однако мне случалось несколько раз выезжать и на фронт, где я тогда

получил — весьма скромное — «боевое крещение». Я как-то раз заехал на автомобиле туда, куда не следовало. Мою машину заметили с немецкой «колбасы» и дали по ней артиллерийскую очередь, не причинившую никакого вреда.

Я хорошо помню «помпеянское» впечатление от совершенно разрушенных городков, в частности — Прасныша.

Разумеется, у меня для поездок в районе армии были все нужные документы, но меня не раз поражала необычайная легкость проникновения в армейские районы и передвижений в них. У наших союзников, как я слышал, было в этом отношении гораздо строже, чем у нас, а у немцев, думаю, и подавно. Конечно, от шпионов вообще трудно уберечься, но по тому, что мне пришлось лично наблюдать, деятельность шпионов противника была у нас уж слишком мало затруднена. Россия, имевшая такую установившуюся репутацию «полицейского» государства, применяла в этом отношении наименьше стеснительных мер. На благоприятной почве германский шпионаж распускался махровым цветом, сама Варшава была, по-видимому, наводнена шпионами.

Помню, как раз в одном штабе корпуса меня предупредили, чтобы я не удивлялся тому, что во время поездки меня будут «на каждом шагу» останавливать заставы и проверять документы. Получено сведение, сказали мне, что в тылу армии ездит на автомобиле в русской военной форме германский шпион, снабженный поддельными документами и пропуском...

Уже такое любезное предупреждение человека, которого в штабе корпуса видели первый раз в жизни, вдобавок с объяснением причин, кажется мне не совсем осторожным... Далее я увидел, как на практике происходила проверка документов. Заставы были сравнительно редки: верст 30 я проехал недалеко от линии фронта, ни разу не остановленный. За весь день только один раз офицер внимательно прочел мой пропуск, остальные разы это была пустая форма: смотрели только поверхностно, так что отличить подлинный пропуск даже от очень грубой подделки было совершенно невозможно. Около одного моста мой пропуск взял в руки по-видимому совсем безграмотный запасный солдат. Он взглянул на документ, держа его вверх ногами, и, заметив печать, произнес: «Езжайте, Ваше Высокоблагородие!» У моего шофера ни разу документов не смотрели.

Я привожу только один этот случай, но мои наблюдения относительно невероятной поверхностности контроля даже в ближайшем к фронту районе далеко не ограничиваются этим. Позднее, в рижском районе, я, как и в Польше, встретил то же халатное отношение к предупредительным мерам против

шпионажа. Удивительное и неуместное русское добродушие и махание рукой: «Ничего!» Дорого платили мы за это!

С моим пребыванием в Варшаве у меня связано воспоминание об одном глубоком и сильном переживании.

В это время Земский Союз был, если не ошибаюсь, самым крупным заготовителем противогазовых масок. Маски эти были тогда первого и самого примитивного образца; тонкие марлевые повязки, смачиваемые в каком-то содистом растворе.

Как-то раз из Санитарного отдела штаба армии вернулся Вырубов и сообщил, под секретом, заведующему медицинским отделом комитета доктору Богутскому и мне только что полученное секретное предписание принца Ольденбургского. Опыты, произведенные с масками утвержденного образца (которые выделывали и мы), дали очень неблагоприятные результаты: маски предохраняли от газов не долее нескольких минут. Принц, Верховный начальник Санитарной и Эвакуационной части, приказывал немедленно прекратить дальнейшую фабрикацию этих масок, сохраняя тайну относительно причины этого, чтобы не вызвать беспокойства. На днях будет утвержден новый образец масок, который и должен быть заготовляем в самом спешном порядке.

Немедленно было сообщено в мастерские об остановке фабрикации масок, «ввиду временного недостатка в марле», но тут же выяснилось, что завтра рано утром на наши склады должны придти приемщики от частей для приема 20 или 30 тысяч уже готовых масок. Части эти должны отправиться на фронт.

«Этих масок нельзя выдавать»,— решительно сказал д-р Богутский.— «А я думаю, их выдать надо)»,—сказал я. Завязался спор. Я доказывал, что части все равно должны выступить на фронт. Они пойдут без масок, а маски, даже неудовлетворительные (о чем знать войска не будут), все-таки поддержат их дух. Может быть, газовых атак и не будет, а если будут, то маски дела не испортят: без них было бы еще хуже... Кроме того, части уже знают, что маски готовы, раз мы вызвали приемщиков. Если масок не выдать, неизбежно пойдут самые неблагоприятные слухи, которые будут подрывать дух не только этих частей, но и всех ранее получивших маски этого образца...

Богутский мне возражал, говоря, что «не честно» давать негодную маску, не предупреждая об этом...

Я посоветовал Вырубову немедленно вернуться в штаб армии, прося указаний по этому вопросу. Сам он, однако, ехать не мог и просил поехать меня.

Я изложил положение Начальнику Санитарного отдела и

объективно высказал соображения по этому поводу как д-ра Богутского, так и мои. Начальник отдела не решился разрешить вопрос, а пошел к Начальнику штаба. Командующий армией приказал выдать все готовые маски, согласясь с моей аргументацией.

Через день я случайно встретил на улице пехотный полк, выступавший на фронт. У всех были наши — негодные — маски... Я знал, что эти маски их ни от чего не предохранят, но что они на них надеются... Я почувствовал какой-то внутренний шок, и что-то вдруг подкатило мне к горлу... Полк шел хорошо — бодро и весело. Я стоял, пока он не прошел. Слава Богу, газовых атак на нашем фронте в то время не было!

Мое личное положение в комитете было довольно своеобразное. Я сам первоначально не был даже его членом (как помощник уполномоченного), но, по ряду причин, я сразу получил возможность действовать в более широком масштабе, чем это обычно выпадало в удел лицам, носившим то же скромное звание «помощника», как я. Еще до того, как я стал полноправным уполномоченным, иные робкие члены комитета приходили ко мне, как Никодимы, чтобы провести под моим флагом то или иное упорядоченье работы, о котором не смели сами говорить с Вырубовым. В штыки принял меня лишь заведующий медицинским отделом, доктор Богутский. Очень властный человек, он вообще не допускал принципа независимого контроля в своем отделе. К тому же д-р Богутский, сам поляк, проводил усиленную полонизацию своего отдела: в подборе служащих, даче заказов и т. п. На этой почве у меня с ним были тоже некоторые трения, а потом с Герасимовым у него совсем испортились отношения. Как человек, Богутский был неприятный, но в живом уме и организаторских дарованиях ему отказать было нельзя.

Со мной одним — путем компромиссов с обеих сторон — дело еще как-то шло, но с приездом Герасимова — нашла коса на камень! Тут мне уже пришлось не столько воевать с Богутским, что я делал до приезда Герасимова, как стараться как-то смягчать их столкновения, которые я считал прежде всего вредными для дела.

Герасимов решил поставить вопрос работы Комитета Северо-Западного фронта во всей его широте и резко:

«Не стоит контролировать, надо переорганизировать все».

В сущности, он был прав, но он — несправедливо — не видел положительных сторон деятельности Вырубова, Богутского и других, а только отрицательные. Вырубов и Богутский, конечно, не смогли сдаться без боя и, я думаю, бой этот против Герасимова

у кн. Львова они бы выиграли. Но дело сложилось иначе. Пробывши всего несколько дней в Варшаве, Герасимов был срочно вызван в Смоленск (обе должности были, конечно, несовместимы). А тут наступила эвакуация Варшавы, дальнейшее отступление нашей армии, поток беженцев, вспышки холеры... Переорганизовывать уже не приходилось, необходимо было спешно работать, исходя из фактического положения вещей и стараясь как-то ввести его в рамки.

Все три главных действующих лица комитета разъехались: Вырубов и Богутский где-то разъезжали, хотя их место было в центре, а Герасимов, как я уже сказал, был в Смоленске. Как-то само собой вышло, что подобрать временно упавшие вожжи власти в центре пришлось мне (из Варшавы наш комитет, как и штаб фронта, перешел в Минск). Одной из причин моего «возвышения», не имевшего под собой никаких законных оснований, была необходимость сноситься с высшими военными и гражданскими властями, а никто из наших «третье-элементных» уполномоченных совершенно не умел этого делать, да и действительно, они были для этого неподходящи и отношение к ним властей, при тогдашней психологии, было бы недоброжелательное[1].

[1]«Третьим элементом» в дореволюционном земстве назывались наемные служащие, специалисты по родам работы. Они почти сплошь были настроены революционно, часто выражали оппозицию правительственным мерам и земскому начальству.—*(Прим. ред.)*

Мне не пришлось устанавливать хороших отношений с военными властями, это было уже сделано Вырубовым, но я, по крайней мере, их никак не испортил. Для иллюстрации того отношения, которое я встретил, приведу следующий факт. Я телеграфирую Главному Начальнику снабжения, кратко излагая ему критическое положение огромных масс беженцев, идущих по дорогам. Указываю на необходимость принятия срочных санитарных мер, организацию питательных пунктов, снабжение фуражем и т. д. В тот же день я получил телеграмму от ген. Данилова («Рыжего»), в которой он поручал ВЗС заняться этим делом, и телеграфный же аванс в два миллиона рублей на мое имя, без всяких формальностей.

До приезда в Минск Герасимова, а потом Вырубова, я некоторое время продолжал играть там роль, на которую формально не имел никакого права. Так как роль эта была сопряжена с большой работой и многими неприятностями, никто ее у меня не только не оспаривал, но меня просили действовать и дальше в том же духе. Задним числом я был назначен Главным

Комитетом — уполномоченным, что подвело какой-то базис под мое фактическое положение.

Работал я тогда очень много, много делал ошибок, но многому на практике учился...

Немало тяжелого пришлось мне тогда видеть. В частности, помню, как мне пришлось посетить под Минском совершенно кошмарный холерный барак. Он был переполнен больными, умирающими и даже трупами, которых не успевали выносить сбившиеся с ног санитары. Ужасное впечатление производила мертвецкая, с наваленными в беспорядке скрюченными телами. Больных холерой воинских чинов было очень немного — болели больше беженцы. К счастью, санитарные меры удалось принять довольно скоро, да и вспышка холеры, которая могла иметь ужасные последствия, была, слава Богу, незначительная. Военная цензура ее совсем замолчала. Вообще, надо отметить, что наша военная цензура могла показаться строгой только тем, кто не видел, что такое во время войны французская цензура! (Говорю именно о последней, так как вижу сейчас, в 1939 г., ее деятельность.)

Тем временем Ставка решила разделить Северо-Западный фронт на два — Северный и Западный фронты. Соответственно с этим и Комитет Северо-Западного фронта ВЗС разделился на Комитет Северного и Комитет Западного фронтов. В. В. Вырубов остался председателем нового Комитета Западного фронта, а председателем нового Комитета Северного фронта сделался О. П. Герасимов. Комитет этот должен был формироваться во Пскове, где был штаб Северного фронта. Товарищем Председателя, то есть его помощником и заместителем, Герасимов просил сделаться меня. Я согласился. Осенью 1915 года Герасимов наконец сдал свою должность в Смоленске и всецело посвятил себя новой работе. Работы действительно было много.

Во-первых, нам предстояло пробить в новом штабе лед недоверия к «общественной организации». Это нам удалось сделать, не без труда, но сравнительно скоро. Почти вся заслуга в этом отношении принадлежала Герасимову, я играл только второстепенную роль.

Критика легче творчества! Конечно, Герасимову и мне было куда проще критиковать методы Вырубова и К°, чем организовать новое дело на более здравых началах. Не мне судить, насколько хорошо мы этот экзамен выдержали, но без ложной скромности могу сказать, что мы на нем, во всяком случае, не провалились.

По ряду причин, почти все организации ВЗС бывшего Северо-Западного фронта остались на Западном фронте, а у нас на Северном надо было почти все создавать заново. Отчасти это

было труднее, но зато мы как бы избавлялись от первородного греха организаций, носивших штемпель Вырубова и д-ра Богутского. Когда дело постепенно стало налаживаться, и Герасимов и я были рады, что мы не получили большое, но тяжелое наследство от Комитета Северо-Западного фронта ВЗС.

Много пришлось мне работать в это время, как никогда в жизни не приходилось: с утра и до позднего вечера, и безо всяких праздников (по воскресеньям мы работали, как в будни). Отпуска я мог позволять себе очень редко.

Только изредка приходилось мне, по службе, уезжать из Пскова; главным образом, в Двинск или Ригу, на автомобиле. Там находились штабы 5-й и 7-й армий и помещались управления наших уполномоченных при этих армиях.

Большей частью мне приходилось работать вместе с Герасимовым, а когда он уезжал, заменять его на председательском посту.

По возрасту я был младшим изо всех уполномоченных (в комитете я работал, когда мне было от 25 до 27 лет), среди уполномоченных были и старики. Мое возрастное «младшинство» мне мало мешало, и отношения со всеми у меня выработались, слава Богу, хорошие. Конечно, бывали и трения, но это было скорее исключением. Мои опасения, что мой молодой возраст, да еще при моем «княжестве», может повлечь трения со многими интеллигентами, входившими в комитет, к счастью, тоже не оправдались. Наши «заведующие отделами» сравнительно легко простили мне мой титул, так как они (совершенно правильно) не чувствовали себя способными иметь дело со штабами и вообще с военными, психология которых была им слишком чужда. С другой стороны, они не могли не считать меня «хорошим работником», что в среде интеллигенции очень ценилось. Для обеих сторон совместная работа оказалась легче, чем мы это предполагали.

Мне пришлось на практике сравнить плюсы и минусы «третьего земского элемента» и чиновников приблизительно такого же, губернского, масштаба (у нас служило несколько чиновников). С интеллигентами, как общее правило, было труднее обращаться: они первое время часто «ершились», все время опасаясь за свое хрупкое чувство собственного «интеллигентского» достоинства, на которое я, конечно, и не думал покушаться. Зато они в работе проявляли куда больше инициативы и любили — даже излишне — возражать при всех возможных случаях. С чиновниками все шло как по маслу, но они были, на мой взгляд, слишком покорным и безвольным орудием в руке начальства. Там, где дело было рутинное, с интеллигентом

бывало часто раздражительно, так как надо было не «совещаться», а исполнять, и разговоры только отнимали драгоценное время. В нерутинных делах полное «чего изволите» типичного чиновника бывало опасно: я предпочитал, когда служащие и сотрудники делали мне возражения, а не таили их, из фальшивой почтительности, про себя. С другой стороны, интеллигент становится иногда опасен для дела ввиду его недисциплинированности. Если, несмотря на возражения, ему говорят все же сделать не по его мнению, он склонен сделать это так, что может сорвать самое разумное распоряжение. Конечно, я не обобщаю этого, но такую черту, очень вредную для всякого дела, я встречал чаще всего именно у интеллигенции. Подчиненный обязан доложить свои соображения и возражения по делу, но он не может требовать, чтобы начальство всегда с ним соглашалось, а в случае несогласия подчиненный не имеет права саботировать решение начальства. Тут дело — такта, и этого такта часто не хватает. Позднее в жизни, когда мне пришлось быть не столько начальником, сколько подчиненным, я увидел, что порою бывает очень трудно исполнять хорошо что-либо, против чего я возражал своему начальству. Во всяком случае, я старался сделать все возможное, чтобы не саботировать решения начальства. Совсем другое — в делах *принципиальной* важности: подчиненный (во всяком случае, в гражданских делах а не в военных, во время войны) не должен исполнять распоряжения, противного его совести. Я не хочу сказать, что во время войны он всегда должен исполнять даже такое распоряжение, но там дело обстоит сложнее и требует особого рассмотрения.

Летом 1916 года, в течение нескольких месяцев, я оставаясь в звании Товарища Председателя фронтового комитета, был назначен комитетом кроме того — уполномоченным ВЗС при 5-й армии.

Некоторые обязательства, в связи с уходом в отставку бывшего уполномоченного при этой армии князя Г. И. Кугушева, привели к тому, что положение в Двинске усложнилось и отношения с двумя отделами Штаба армии — Санитарным и Этапно-Хозяйственным — несколько натянулись. Для того чтобы улучшить эти отношения, комитет — в сущности, О. П. Герасимов — направил меня в Двинск.

Я ждал больших трудностей и неприятностей, и первое время с Санитарным отделом было, действительно, трудновато, но, в общем, все обошлось гораздо легче, чем я думал. В частности, отношения со Штабом армии скоро установились самые хорошие.

Для меня эти месяцы, проведенные в Двинске, были, сравнительно, отдыхом. Линия фронта проходила совсем близко

от Двинска, и я, лучше чем когда-либо, мог наблюдать фронтовую жизнь, почти ежедневно объезжая разные наши учреждения в районе армии, в частности, передовые отряды.

Помню, как однажды, когда я заехал в штаб одной дивизии, офицеры предложили мне осмотреть передовые окопы, которые находились всего в нескольких десятках шагов от немецких. По пути туда разыгралась сценка, тогда же мне напомнившая толстовское описание двух полковых командиров во время Шенграбенского боя, из которых ни один не хотел первым выехать из-под огня, хотя стоять под ним им обоим было совсем не нужно...

С провожавшим меня поручиком, верхом, потом пешком, мы приближались к передовым окопам. Поручик указал мне начало хода сообщения и предложил пойти по нему, «а то вы будете под обстрелом». Сам он выразил намерение идти вне хода сообщения: «сапог не хочется пачкать...» Было совершенно ясно, что это только отговорка, так как никакой грязи, по сухому времени, в ходе сообщения не было. Хотя меня совершенно не привлекала перспектива бессмысленно подвергаться лишней опасности, я, конечно, не мог один пойти по ходу сообщения и пошел тоже вне его... Довольно скоро просвистела пуля, потом другая, третья... Мы шли все дальше, стараясь спокойно разговаривать между собой. Было совсем неприятно, и мой поручик, очевидно, тоже чувствовал всю глупость положения, но никто из нас не хотел первым спрыгнуть в ход сообщения. Обстрел был еще не очень сильным, но усиливался. «Как бы пулеметом не накрыли...» — неуверенным голосом сказал поручик и взглянул на меня и на ход сообщения... но не спрыгнул.

На наше счастье, по ходу сообщения навстречу нам шел какой-то подполковник. Увидя нас, он решительно приказал поручику спрыгнуть вниз, что последний исполнил, по-моему, не без некоторого удовольствия... Я прыгнул туда же. Жужжание пуль у самого уха прекратилось — это было приятное ощущение... Покамест я знакомился с подполковником, немцы дали две очереди гранат по нашим окопам. «Вот!» — сказал подполковник, глядя на смущенного поручика. Было совершенно понятно: причиной обстрела было наше неуместное выступление с поручиком... Одна граната попала в сосну, шагах в 50-ти от нас. На моих глазах дерево переломилось, как спичка.

Потом все утихло. Я почувствовал облегчение, что по крайней мере наше посещение не вызвало потерь.

Обойдя окопы и посидев со скучающими офицерами, мы направились в обратный путь. Командир батальона, провожая нас, велел поручику непременно идти по ходу сообщения.

В Двинске же мне пришлось испытать ночной налет германской авиации. Шуму от взрывов и пальбы было очень много, и я был удивлен, узнав утром, что неприятельских аэропланов было всего штук 5—6.

Как-то другой раз, очень уставши за день, я заснул с вечера непробудным сном и совсем не слышал германского налета. От бомбы загорелся соседний дом (между нами был садик). Только потом я узнал, что мой вестовой ночью будил меня: «Ваше сиятельство, бомба в соседний дом попала, что прикажете делать?» — «Если в наш попадет, разбуди»,— будто бы ответил я... Сам я ничего этого не помню, но мой ответ — действительный или вымышленный вестовым — произвел большое и выгодное для меня впечатление на нашу команду...

Во время моего пребывания в Двинске 5-й армией последовательно командовали генералы Гурко (Василий) и Драгомиров (Абрам), начальником штаба обоих был ген. Миллер. Мог ли я предполагать тогда, что оба последних будут впоследствии несколько лет моими непосредственными начальниками, и притом... в Париже!

Закончив мою временную миссию в Двинске, я сдал должность уполномоченного при армии своему помощнику, И. И. Трояновскому, а сам вернулся во Псков, где снова погрузился с головою в свою прежнюю работу.

Зимой, на два-три дня, ко мне во Псков приехал из Петербурга Папа, который был там на сессии Государственного Совета. На время его приезда я на день освободился от работы, и мы вместе с Папа осматривали достопримечательности Пскова, в особенности его церкви. Архитектура некоторых из них и их звонниц очень интересна и хороша. Я заранее предвкушал радость Папа при виде их — и не ошибся. Внутренность псковских церквей, к сожалению, гораздо менее интересна: почти ничего старинного в них не осталось, в частности знаменитых икон «псковских писем». Спасо-Мирожский монастырь, с его оригинальными фресками (к сожалению, как я слышал, теперь разрушающимися), составляет исключение...

Что же теперь осталось от всего этого, после революционных бурь!

Какой-то злой рок тяготеет над Россией: и так в ней мало памятников старины, я что есть — уничтожается. Все чисто материальные потери, как они ни печальны, все же восстановимы, но разрушение памятников искусства и старины — куда больше, чем материальные потери: ничем не возместишь этих бесценных утрат!

Работа Земского Союза на фронте все расширялась,

захватывая все новые области. Мы старались, по тавре сил и возможностей, откликаться на каждую нужду армии. Действительно, в качестве подсобной организации мы сделали много полезного. Однако, признавая заслуги ВЗС и другие общественных организаций, я всегда спорил против преувеличения их заслуг, чем общественность очень грешила. Тогда в общественных кругах было в моде говорить, что «правительственные органы показали свою полную неспособность», а «общественные организации (будто бы) выдержали государственный экзамен».

На самом деле, «правительственные органы» действительно, на наше горе, оказались не на высоте тех труднейших задач, которые перед ними стояли, но степень их неспособности безусловно преувеличивалась нашей самовлюбленной общественностью. Тем самым работа этих «правительственных» (вернее государственных) органов еще значительно затруднялась, так как она должна была происходить в атмосфере недоброжелательной критики и недоверия.

Неверно, что общественные организации во время войны будто бы «выдержали государственный экзамен». Тогда они, слава Богу, его еще не держали, а когда в недалеком будущем они, с легкомысленной уверенностью, пошли на него, то они— провалились самым решительным образом.

Методы работы, годные для подсобных организаций, часто неподходящи для государственных органов. Этого наша общественность, взятая в целом,—я только так о ней сейчас и говорю,— упорно не хотела понять.

Я всегда был противником этатизма, но не могу не признать того объективного факта, что война в наше время настойчиво требует усиления «этатизации». Совсем не случайно, что во время Мировой войны этатизм сделал огромные шаги во всех воевавших государствах, несмотря на чрезвычайно разные политические я социальные структуры и национальные особенности. Эту же этатическую тенденцию мы замечаем с самого начала текущей войны (1939 г.). В росте этатизма в связи с современными войнами я вижу одну из огромных опасностей для современной культуры.

Даже признавая печальную необходимость роста этатизма во время войны, я считаю, что и в это время надо бороться с его преувеличениями. При этатизме значение всех государственных органов в жизни народа безмерно увеличивается, и всяческие ошибки их влекут за собой более широкие и печальные последствия. Это все могли ясно видеть у нас во время войны, а еще куда яснее после нее, при коммунистическом строе.

Наша левая общественность — с социалистическим уклоном — видела недостатки этатизма при *старом* режиме, но только и стремилась еще безмерно *усилить* его при новом строе.

Социализм, как бы ни возражали против этого сами социалисты, всегда будет в практике крайним этатизмом.

Работа наших общественных организаций во время войны сама до некоторой степени «этатизировалась», но все же она вводила некоторые коррективы в крайности этатической централизации управления.

Если во времена «военного коммунизма» умерли только миллионы, а не десятки миллионов людей, то это можно приписать существованию даже в то время «Всероссийской Сухаревки», то есть наличию тайного свободного рынка, очень сдавленного, но все же живого. До некоторой степени работа общественных организаций вносила аналогичный корректив в этатическую машину русского военного хозяйства. Конечно, это сравнение очень грубое и преувеличенное, так как сравнивать даже дурно-функционировавшие органы старой русской власти с мертвящей хваткой «военного коммунизма» по существу нельзя. Но все же это сравнение — безмерно ее обостряя — иллюстрирует мою мысль.

Я приведу живой пример из собственной моей практики. Относится он, если не ошибаюсь, к 1916 году. В стране все более и более обострялся «кожевенный кризис»: не хватало кожи для обуви армии, главным образом — тяжелой кожи, для подметок. На кожевенном рынке шла безудержная спекуляция, цены росли, кожи становилось все меньше и меньше. Наконец были введены твердые цены на кожу. Не помню, почему именно распоряжение это исходило не от Правительства, а из Ставки и гласило: «По повелению Его Императорского Величества...»

Как обычно бывает в случаях подобного нормирования цен, в руки власти сначала попали по твердой цене довольно значительные запасы кожи, но скоро кожа (особенно подметочная) совсем исчезла с рынка. Положение у нас, на Северном фронте, сделалось катастрофическим: части были лишены возможности даже чинить старую обувь, так как в интендантстве подметочной кожи совсем не было.

И вот вдруг мне сообщают (я тогда заменял отсутствующего Герасимова), что можно секретно купить очень значительную партию необработанных, тяжелых кож, но... несколько выше установленной приказом цены. Я дал образчики нашим экспертам; они нашли ее превосходной и сравнительно недорогой: малыми количествами купить кожу по столь сходной цене было невозможно. Очевидно, прятать большую, партию

рисковавших испортится кож было очень трудно и поэтому-то ее продавали дешевле, чем можно было ожидать.

Необходимо было спешить. При этом даже был серьезный риск, что кожа будет проникать через фронт немцам. Посоветовавшись кое с кем, я решил купить эту партию, хотя сознавал, что это дело рискованное, так как я должен был сделать противозаконное дело. Ответственность мне грозила немалая. Не желая подводить комитет, я, кроме того, совершил формальное превышение власти, совсем не внеся на его обсуждение это дело, требовавшее крупных ассигнований: дело было миллионное. Разумеется, частным образом с членами комитета я переговорил.

Для обработки кожи были сняты два пустовавших крупных кожевенных завода. Кожа была доставлена, каким-то образом не привлекая внимания, и обработка ее началась. Риск был особенно велик именно в это время, так как доказательств, что эта кожа пойдет армии, у меня не было и быть не могло, и меня могли обвинить в спекуляции.

Между тем во Псков вернулся О. П. Герасимов. Когда я рассказал ему об этом деле, он молча покачал головой, но я видел, что он, по существу, одобряет, что я так поступил. Только позднее я узнал, что он несколько ночей не спал, волнуясь за меня...

К счастью, вся операция прошла совершенно благополучно и готовые кожи поступили на наши склады. Через уполномоченных при армиях все было заранее подготовлено, чтобы части прислали своих приемщиков за кожами. Они прежде должны были обратиться со своими «требовательными ведомостями» в Интендантство и, только получив там пометку о неимении кож, идти на наши склады за их получением. Кожа выдавалась частям по твердой цене, то есть с некоторым убытком для Союза (это дело было оформлено потом). Порядок этот, дававший мне в руки, в случае чего, великолепный материал для защиты, был выработан Герасимовым.

Вся кожа с наших складов ушла в несколько дней.

Конечно, массовый отпуск кожи с наших складов привлек всеобщее внимание. Очень скоро после этого я был вызван к Главному Начальнику снабжения, ген. Фролову. Хотя в приглашении явиться не было сказано, для чего я вызван, дело было ясное, и на всякий случай я захватил с собою подготовленное для этого «дело» о коже.

Генерал Фролов, милый, но не очень умный старик, со столь памятным мне с детства орденом Белого Орла на шее, довольно хорошо относился ко мне. На этот раз он принял меня несколько суше обычного.

— Скажите, пожалуйста, князь,— начал он, как только мы сели, - считаете ли вы для себя обязательными Высочайшие повеления?

— Конечно, Ваше Высокопревосходительство,— ответил я.

— Я не сомневался в этом,— продолжал генерал,— но Главный Интендант между тем утверждает, что вы нарушили Высочайшее повеление и закупили большую партию кож по ценам выше установленных. Я рад слышать от вас, что это не верно, так как Главный Интендант ходатайствует о предании вас суду.

— Я действительно закупил кожу по цене выше твердой,— ответил я.— И сделал это потому, что считал, что Высочайшее повеление надо исполнять по духу, а не по букве!

Я изложил далее, почему эта партия кожи могла пропасть для армии, если бы я ее не купил. Потом я показал П. А. Фролову принесенные мною документы. Он слушал меня внимательно, но заметно волнуясь. Он ни разу не перебивал меня, пока я не кончил. Тогда генерал вдруг встал, в глазах его заблестели слезы. Он подошел ко мне и горячо меня обнял. «По духу, по духу! — повторил он стариковским прерывистым от волнения голосом. - Не беспокойтесь, ни о чем не беспокойтесь!..»

Вернувшись в наше управление, я встретил Герасимова. Он сохранял наружное спокойствие, но был бледен как полотно. Осип Петрович не любил проявлять свои чувства. «Слава Богу!»— сказал он только, и мы приступили с ним к текущим делам.

Случай этот имел совершенно неожиданное для меня продолжение. Через несколько дней я снова был вызван к ген. Фролову и он сказал мне: «До Главнокомандующего (ген. Рузского) дошло о ваших противозаконных действиях в Земском Союзе. Я доложил ему, в чем дело. Он поручил мне передать вам частным образом его благодарность за то, что вы сделали для армии; официально, в приказе, он благодарить вас, конечно, не может».

Чтобы закончить внешнюю сторону этого эпизода, скажу, что через несколько месяцев ген. Фролов получил назначение помощником военного министра и уехал в Петербург. На вокзале его провожал весь штаб и штаб Главнокомандующего; приехал проводить его и я.

Растроганный милый старик со всеми нами на прощание лобызался, а перед самым отходом поезда нагнулся из окна вагона, обратился ко мне и крикнул:

«По духу, князь, всегда по духу!..» Я поймал на себе недоумевающие взоры нескольких штабных офицеров...

Что, в сущности, показывает это дело с кожами — помимо совершенно не «бюрократического» отношения к нему высшей

военной власти? Проявил ли тут Земский Союз какое-то организационное умение, которого не было у так называемых «правительственных органов»? Отнюдь нет. Мы могли здесь, правда не без риска, освободиться от некоторых формальных пут, от которых не могли освобождаться военные власти. Не могли и не должны были освободиться от них. Будь я сам на месте Главного Интенданта, я, конечно, и не пытался бы действовать так, как я поступил от имени Земского Союза. Возможность действовать в таком духе была, можно сказать, нашей привилегией; мы должны были — с большим тактом — ею иногда пользоваться, но не приписывать себе каких-то «организационных» заслуг. При этом, нарушая иногда формы, по принципу — «народное благо — высший закон», надо было прилагать все усилия к тому, чтобы не разрушать их. Надо признаться, что общественные организации очень часто грешили в этом отношении и даже гордились этим. Так сами они подпиливали тот сук «государственности», на котором, естественно, они не могли потом удержаться.

Слишком большая формальность — сковывает, но абсолютная бесформенность не менее верно убивает всякое большое дело. Золотую середину каждый раз приходится находить опытом и ощупью.

В случае, о котором я говорил выше, мне пришлось идти на некоторый риск (это был*первый*такой случай, по крайней мере на нашем фронте), но после него и, возможно, благодаря ему, у нас было еще несколько более или менее аналогичных случаев, когда мы сговаривались — конечно негласно,— с Главным Начальником снабжения (ген. Фроловым, а потом ген. Савичем) о тех или иных, по форме не совсем законных, действиях, необходимых для пользы армии, которые Главному Начальнику снабжения, по его положению, неудобно была делать, а мы делать могли. Надо при этом сказать, что Главный Начальник снабжения пользуется во всем тыловом районе фронта огромными правами командующего армией; кроме военной власти ему подчинена и вся гражданская администрация тылов, в том числе губернаторы.

Помню, как однажды меня вызвал Главный Начальник снабжения, энергичный и умный ген. Савич. «Прошу, чтобы этот разговор остался между нами»,— начал он... Далее С. С. Савич предложил ВЗС проделать операцию, аналогичную моей «кожевенной», но с картофелем, которого по нормированным ценам не могли достаточно получить для армии. «Вы формально проведете эту сделку по твердым ценам, а для того, чтобы платить выше нормированных цен, я передам вам нужную сумму

в безотчетное распоряжение,— говорил генерал.— Это сделать я имею право, а платить выше нормированных цен — не могу». При этом ген. Савич сам указал, где и сколько купить картофеля... Потом Земский Союз закупил картофель там, где Интендантство не могло этого сделать. Связанный обязательством молчания, я не мог говорить поздравлявшим нас с таким «успехом земского ведения дела», что приобретение этой нужной для армии партии картофеля — отнюдь не было нашей заслугой...

Приведя эти примеры, я, разумеется, не хочу сказать, что мы не имели во многих делах вполне заслуженного успеха. Я хочу только сказать, что о с о б е н н о гордиться перед «военными бюрократами» нам не приходилось. Общественные организации обладали, бесспорно, большею гибкостью, чем громадная и оттого часто несколько неуклюжая военно-хозяйственная организация. Благодаря этому мы могли быть очень полезны, затыкая многие организационные дыры. Но уж если очень ценить особенно хозяйственную гибкость, то частный предприниматель конечно обладал ею в гораздо большей степени, чем всякие Земские и Городские Союзы. Однако наша общественность не говорила б необходимости заменить наше — тоже сравнительно неуклюжее — хозяйство одними частными предпринимателями!

Все полезно на своем месте и становится не полезным и даже часто вредным — не на своем. Наша общественность нередко забывала это положение. С большой зоркостью видела она сучок в глазу государственных организаций, а бревна в своем глазу не чувствовала.

Зимой 1916/17 гг. я был привлечен, опять-таки «по приказу Главнокомандующего», в особую комиссию по рабочему вопросу на фронте, состоявшую при штабе. Задачи этой комиссии и круг ее ведения остались для меня неясными. Комиссия была под председательством столь печально прославившегося в революцию генерала Бонч-Бруевича, которого я знал еще начальником штаба фронта. Теперь он состоял для поручений при Главнокомандующем (Рузском).

Работать в этой комиссии мне пришлось мало. Память сохранила мне одну пикантную подробность нашей работы.

На последнем до революции (Февральской) заседании ген. Бонч-Бруевич, в порыве антисемитских чувств, которыми он тогда щеголял, предложил комиссии высказать пожелание о... выселении поголовно всех (кроме военных) врачей-евреев из прифронтовой полосы и даже тылового района. Почему такое пожелание относилось к ведению комиссии по рабочему вопросу, мне и тогда и теперь неясно. Я — единственный — выступил против этого мероприятия и, после того как привел аргументы

против такого предложения, заявил, что если это «пожелание» пройдет, я прошу отметить в журнале комиссии, что я остался при особом мнении. Решения комиссии шли на доклад Главнокомандующему.

Во время перерыва заседания ко мне подошел М. Д. Бонч-Бруевич и горячо убеждал меня не делать этого «филосемитского» выступления. Это меня взорвало.—«Я не филосемит,—ответил я генералу,—но простите за откровенность, ваш антисемитизм я считаю антигосударственным и не желаю нести моральную ответственность за его последствия...»

Через несколько дней произошла революция. Когда я следующий раз увидел генерала Бонч-Бруевича, красный бант украшал его грудь...

Я не отказал себе в маленьком удовольствии и спросил его, явно глядя на его красный бант, «успел ли он» сделать доклад Главнокомандующему по еврейскому вопросу, о котором мы говорили на последнем заседании комиссии?

Бонч-Бруевич смущенно махнул рукой и ответил что-то неопределенное. Нашей комиссии он больше ни разу не созывал.

О КОМАНДНОМ СОСТАВЕ РУССКОЙ АРМИИ

Я, к сожалению, никогда не был военным. Однако с 1914-го по 1938-й, почти без перерыва, я все время был в тесном деловом общении с военными и 14 лет работал в прямом подчинении у военных. Моими непосредственными начальниками в течение долгих лет были видные генералы: Кутепов, Миллер и Драгомиров. Обо всех трех своих — очень разных — военных начальниках я вспоминаю с самым хорошим и благодарным чувством.

За время войны я не был непосредственно подчинен военным (хотя комитет ВЗС был подчинен Главному Начальнику снабжения), но работать с ними мне приходилось довольно много, у меня никогда не было столкновений с военными в этой работе, и я тоже сохраняю о ней самое хорошее воспоминание.

Русская военная среда была очень симпатична и имела большие достоинства. Не случайно, что именно офицерство спасло русскую честь во время революции.

Работа в атмосфере разумной дисциплины и некоторой подтянутости представляется мне более легкой, чем в атмосфере интеллигентской бесформенности. Мне приходилось работать и в той, и в другой атмосфере, и тут и там были разные трудности, но, в общем, мне лично не было тяжело нигде. Мне не раз приходилось наблюдать военных и интеллигентов, перенесенных в чуждую им среду. Типичный интеллигент очень трудно применяется к военной среде; военному примениться к интеллигентской среде, мне кажется, все же легче.

Ни в чисто интеллигентской, ни в чисто военной среде я не был совсем «своим», но военные меня все же как-то не считали совсем штатским. Помню как-то раз, наедине со мною, ген. Кутепов в Париже горько жаловался мне на «штатских». «С ними прямо невозможно иметь дело!» — говорил он. Я улыбнулся: «Как штатский, я не могу вполне с вами согласиться...» — «Ну, вас-то я считаю больше военным, чем штатским»,— ответил Кутепов. Тоже и великий князь Николай Николаевич (при том же Кутепове) как-то шутя сказал мне, что он в России «непременно произведет меня в генералы»...

Из военных мне приходилось общаться главным образом со штабными офицерами и высшими военными начальниками. Я лично знал Верховного Главнокомандующего, несколько Главнокомандующих и Командующих армиями, Начальников

высоких штабов и многих генералов, занимавших те или иные командные должности. К этой среде у меня, повторяю, не только нет никакой антипатии, но, напротив,— симпатия. И все-таки, если мне, штатскому, позволительно судить о военных делах, я думаю, что за многочисленные поражения наших армий в последнюю войну *главную* ответственность несет именно ее высокий и высший командный состав.

Совсем плохим наш командный состав признать нельзя, и тому есть ряд доказательств. Например, по мнению весьма компетентных лиц, наша армия вышла на Мировую войну — тактически — весьма подготовленной. Так, ген. Головин, большой поклонник французской армии, считает, что в *этом* отношении наша армия вступила в войну 1914 года более подготовленной, чем французская.

Качества нашего солдата были и остались — прекрасные.

В противоположность распространенному за границей мнению — совершенно неправильному,— что наша армия будто бы не умела хорошо владеть сложной техникой современного оружия, надо сказать, что наша полевая артиллерия, например, по своей подготовке и стрельбе стояла выше, чем где бы то ни было. То же самое можно сказать и о минном деле во флоте, по которому мы занимали первое место.

Однако в смысле общей подготовки войны наши военные верхи оказались, к несчастью, не на высоте положения. При этом, когда мне пришлось позднее читать донесения наших военных агентов перед войной, я не раз был поражен их проницательностью: они совершенно точно предсказывали войну и даже указывали ее вероятные сроки. Тем менее извинительна наша общая военная неподготовленность. Наш бывший министр финансов гр. Коковцев в своих мемуарах с доказательствами в руках опровергает высказывавшееся мнение, что будто бы армии отказывали в кредитах. На самом деле даже не все отпущенные кредиты были использованы...

С некоторыми крупными минусами в деле нашей государственной обороны военным властям, действительно, нельзя было полностью справиться. Например, приходилось считаться с очень тонким мало-мальски образованным слоем русского народа. Благодаря этому — либо число наших офицеров запаса было недостаточным, либо культурный уровень их был недостаточно высок: это очень ослабляло нашу армию при мобилизации. Но даже и в этой области были явные недочеты. Обучение наших запасных офицеров, например, могло быть поставлено лучше. На этот вопрос случайно обратил мое внимание за несколько лет до войны следующий случай. Один

знакомый мне балтийский барон отбывал воинскую повинность в нащей армейской кавалерии и только что выдержал офицерский экзамен. Одновременно с ним его двоюродный брат отбывал воинскую повинность в германской кавалерии и держал там экзамен на унтер-офицера. И вот мой барон рассказывал мне, как они с двоюродным братом сравнивали требования нашего офицерского и германского унтер-офицерского экзаменов. Барон, надо отметить — отнюдь не германофил, признавался, что его родственниц — запасный унтер-офицер германской армии — по ряду предметов был лучше подготовлен, чем он — запасный офицер (корнет) русской армии...

Заинтересовавшись этим случаем, я начал расспрашивать знающих людей. Оказалось, что такие случаи не единичны.

При нашей бедности в кадрах — офицерских и унтер-офицерских — надо было быть особенно бережливыми с ними. Поступали же наоборот. Как безумно расточительно было наше командование в начале войны, когда зачастую запасные унтер-офицеры шли простыми рядовыми! Когда они были выбиты, разразился острый кризис кадров. Стоит ли этому удивляться!

В отношении совершенно недостаточной подготовленности в материальной части и всяческого снабжения армии и говорить нечего. С болью в сердце я читал позже самоуверенные заявления представителей наших высших военных властей (начиная с военного министра и начальника Генерального штаба) на созванных по Высочайшему повелению секретных заседаниях (помнится, в 1912 г.), посвященных выяснению вопроса нашей дипломатической и военной подготовки. Наши военные говорили на них о «полной готовности нашей армии»!

Насколько выше стояли в этом отношении наши моряки с их осторожными, а не легкомысленными «урапатриотическими» заявлениями!

Конечно, можно многое сказать в оправдание наших высших военных властей, и я потом слышал много интересного, в частности от одного из умнейших генералов А. С. Лукомского, бывшего помощника военного министра. Но все-таки степень легкомыслия и беспечности здесь была уже слишком велика!

А подписанная до войны нашими военными верхами последняя франко-русская военная конвенция! Не надо быть даже специалистом-военным, чтобы видеть, что она была совершенно недопустима с точки зрения не только наших интересов, но даже наших возможностей. Я говорю здесь, конечно, не о франко-русском союзе, а именно о нашей последней военной конвенции. В сущности, даже Франции, загипнотизированной грозившей ей германской опасностью, было невыгодно брать с нас такие

военные векселя, грозившие нам военным крахом. Но легкомысленно (чтобы не сказать—преступно!) выдав эти векселя, мы широко и честно, даже до срока — истинно по-барски! — платили по ним. Платили... потоками русской крови!

Некоторые французские генералы позднее частным образом признавались, что на месте русских они *не* исполнили бы таких убийственных для своей армии обязательств: «С русской патриотической точки зрения это было невозможно, почти преступно. С точки зрения союзной — это было возвышенно»,— сказал — уже по окончании войны — один французский генерал нашему...[1]

Так была подготовлена война!

А как она велась?..

Тут, как не специалист, я должен быть особенно осторожным в суждениях, но факты остаются фактами.

Как самое общее правило (об исключениях я не говорю), наша рота била немецкую роту, полк бил полк, с дивизией дело обстояло уже хуже, а дальше, чем выше войсковая единица, тем у нас было больше шансов поражения.

Из таких фактов, мне кажется, можно вывести заключение, что наше высшее командование по качеству уступало противнику. Почему это так — судить окончательно не берусь, хотя мне приходилось и думать над этим вопросом и говорить о нем с нашими крупными военачальниками. Пусть в этом разбираются специалисты, но именно разбираются, а не отмахиваются от этого вопроса. Неблагополучие тут налицо.

Один наш штабной генерал, бывший начальник штаба армии (Н. Н. Стогов), споривший со мною в 20-х годах в Париже и доказывавший, что наше офицерство по подготовке стояло, по его мнению, «выше германского^, а наши штабы «приблизительно одинаково», высказал мне как-то суждение, которое я хорошо запомнил. Рассказывая об одной крупной операции на нашем фронте, Н. Н. сказал мне: «Войска навезли массу. Знаете ли, когда уж очень много войска, *начинаешь бояться: не провернешь»*...

Вот это «не провернешь»—характерно и грустно! У нас на высоких постах было слишком мало генералов, действительно подготовленных к ведению крупных операций с большими войсковыми массами. Почему? — Это вопрос иной, на который специалисты обязаны нам ответить.

Поражала пестрота нашего командного состава. Я сравнивал ее с нашими московскими улицами за последнее время, где бок о бок стояли милые старинные особнячки с мезонинами, безвкусные дома так называемого «стиль модерн» (уже устаревшего!) и огромные «небоскребы». Так и среди нашего

генералитета было очень мало однотипности. То встречаешь действительно современного военачальника, то — часто очень милых, но совершенно устарелых генералов, годных скорее для помещения в какой-нибудь «ретроспективный музей», чем на командный пост. Один такой милейший старик — начальник дивизии — публично высказал мысль, что противогазовые маски «надевают только трусы» и что его, «старого георгиевского кавалера, никакой газ не возьмет». Профессор Лавров, работавший но противогазовой обороне, лично присутствовал при том, как этот генерал, несмотря на все уговоры, без маски вошел в испытательную газовую камеру, откуда был скоро вытащен без сознания... Он сам мне об этом рассказывал.

В турецкую кампанию 1877 года такой генерал, быть может, еще годился, но дальше!.. А человек он был прекрасный: «слуга Царю, отец солдатам». Знал я и другого генерал-лейтенанта, Ушакова, анекдотически известного на всем Северном фронте. Это был уже прямо гоголевский тип... Конечно,*такие*крайности были исключением, но, к сожалению, и они занимали значительные командные должности в нашей армии; генералов же «устарелого» и даже «совершенно устарелого» образца было совсем не мало... Порою хороших генералов «додерживали» на месте до того, что они становились более чем негодны,— про- сто опасны для армии. Я помню свое впечатление от генерала Плеве, который долго командовал армией (5-й), а потом некоторое время исполняя обязанности главнокомандующего Северным фронтом. Я слышал о Плеве как о хорошем, очень волевом генерале и помнил его еще по Москве, где он был Командующим войсками округа. И вот я его увидел Главнокомандующим... Навстречу мне вышел человек, из которого, как говорится, «песочек сыпался», он ничего толком не понимая в самом простом деле и говорил вещи, которые я предпочитаю назвать наивностями, чтобы не употребить более резкого слова... Слава Богу, его скоро убрали на покой, но уж можно сказать — «додержали» и «передержали»! Когда, много лет спустя, я рассказывал ген. Миллеру (долго бывшему начальником штаба при Плеве) об этом моем приеме у Плеве, он сказал, что уже и раньше, при командовании армией, с ним случались такие моменты впадения в детство. Следовательно, его назначили исполнять обязанности Главнокомандующего (временно заменять Рузского), когда он уже был в таком состоянии! Его боялись «огорчить», убрав с поста, но такое чувствительное отношение к нему больно отзывалось на армии.

Подготовка к современной войне у многих наших военачальников была весьма слабая. Бессмертный суворовский

принцип «пуля дура — штык молодец!» они понимали не как преобладание духа над материальной техникой, а чересчур примитивно и буквально. Сколько стоило это армии!

Крови наше командование не жалело. Причиной этого была, насколько я понимаю, не какая-то «жестокость», а скорее примитивизм стратегических и тактических концепций. Сколько генералов у нас прославились любовью к ударам «в лоб»...

Но только таких безмерных потоков крови не мог в конце концов выдержать, не дрогнув даже, дух нашей армии, прославленной тем, что она может, не теряя боеспособности, выносить самые большие потери из всех армий мира. Струна была перетянута. При революции она лопнула.

Да и саму революцию можно отчасти рассматривать как дикую, но психологически понятную реакцию народа на преступную военную неподготовленность, за которую приходилось расплачиваться потоками бесполезно проливаемой крови. Вина лежала так или иначе на высших классах. Они жестоко были наказаны бешеным, но не случайным народным взрывом...

Я отнюдь не хочу бросать грязью в наше высокое и высшее военное командование. Мне противны гнусные и часто несправедливые нападки на него со стороны нашей «левой общественности». Однако думая, а, главное, болея сердцем над нашими поражениями, я считаю, что наш долг для будущего — постараться дать себе ясный отчет в том, какое именно из звеньев стальной цепи русской военной силы оказалось наименее крепким в тяжелом испытании.

Мне кажется, что это звено — командование. Сам по себе металл, из которого ковались русские полководцы, прекрасен: Суворовы, Румянцевы, Багратионы — тому порука. Но надо обратить внимание на ковку и закалку этого металла. Очевидно, что-то у нас здесь было неладно в последние полвека.

Неблагополучно было у нас и с отношением к армии.

Армия — кость от кости и плоть от плоти народа. Между тем в России за последний период начала образовываться опасная трещина между армией и наиболее культурной частью народа. Наша интеллигенция —даже не интернациональная и антинациональная ее часть—считала армию чем-то чуждым. А уж, кажется, в «недемократичности» нашу армию последнего периода упрекнуть было невозможно! Скорее — наоборот. Высший командный состав армии был обычно скромного, а часто — *очень*скромного происхождения. Чего, кажется, скромнее происхождение, например, генералов Алексеева и Иванова, занимавших в нашей армии самые высшие посты! И это было не

исключение, а скорее правило. Например, можно отметить, что за время Мировой войны*ни один*Главнокомандующий или Командующий армией не носил громкой, тем более титулованной русской фамилии! Люди с такими именами сражались на куда менее видных постах, И это нельзя назвать неожиданным для тех, кто следил за эволюцией в отношении к военной службе среди нашей аристократии и высшего дворянства. Среди этого слоя общества, тоже за последний период русской истории, начался какай-то отход от армии, при этом менее понятный, чем в рядах интеллигенции. Вот пример из истории нашей собственной семьи, но типичный для многих. Поколения три тому назад почти все наши предки были военными, а в следующих поколениях военных, наоборот, было очень мало. При этом «интеллигентского» отталкивания от армии у нас но было. Как сейчас помню ответ моего отца — это было в мои студенческие годы — на уговоры войти в какое-то пацифистское "Общество мира". «Я признаю в России только одно "Общество мира",— ответил мой отец,—русскую армию!» Характерно, что у меня, как со стороны отца, так и со стороны матери, оба прадеда были полные генералы, деды, служившие в гвардии, ушли в отставку еще в обер-офицерских чинах, мой отец только отбыл воинскую повинность и, единственный из четырех сыновей деда, был офицером запаса... Такой отход от армии, даже без ее интеллигентского отрицания,— очень характерен и столь же печален.

За поражения нашей армии несем тяжелую, но справедливую ответственность все мы, русские люди, не выдержавшие грозного военного испытания поколений. Русские знамена, которые при наших дедах и прадедах были овеяны победами, мы — их недостойные потомки — покрыли позором поражений.

Но пусть спят спокойно в сырой земле кости тех русских людей, которые сложили их в борьбе за Отечество. "Мертвые сраму не имут!" На их крови, на их подвигах воздвигнется снова временно поверженная слава России.

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

Революцию 1917 года менее всего можно назвать "неожиданной", хотя никто, конечно, не мог предсказать ее сроки и формы.

Я совершенно ясно помню предшествовавшее ей гнетущее чувство мрачной обреченности. Я никогда не ощущал этого чувства столь ясно и сильно, как именно тогда.

Несмотря на некоторую примесь восточной крови — кажется, нет в мире аристократии с более смешанной кровью, чем русская! — я никогда не был фаталистом. А в политике я считаю фатализм у ведущих слоев общества просто преступным. Но тогда реагируя против этого чувства обреченности всеми силами своей души, я как никогда ощущал, что что-то «фатальное» нависло над Россией: злой Рок витал над ней... И такое ощущение было тогда далеко не исключением, наоборот, оно было очень широко распространено. Относились к нему, конечно, по-разному, в зависимости от политических вкусов и убеждений: иные радовались, другие — страшились, но все так или иначе — «ощущали», а не только «понимали» грозность положения.

А положение было, действительно, грозное, но совсем не безнадежное. Наша военная ситуация не только не ухудшилась, но, напротив, с материальной стороны (всяческое снабжение армии) несомненно улучшилась. Правда, дух народа начал сдавать. Он не сдал еще вполне, и мог даже еще воспрянуть, но ясно ощущалось, что новых тяжелых испытаний он уже не выдержит...

Под ногами чувствовались какие-то глухие подземные толчки: Ахеронт приходил в движение...

Ничего еще не было потеряно и все еще могло быть спасено: весь ужас был в том, что власть, которая была призвана защищать и спасти Россию от ужасных потрясений, была совершенно не на высоте положения.

Я уже говорил про нашу "левую общественность" и ее тяжкие грехи перед Отечеством. Она оставалась все той же, и огромная доля ответственности за случившееся лежит на ней.

Но власть, спасшая Россию во время потрясений «первой революции» (Столыпин), не только не нашла в себе сейчас творческих сил, но даже вообще — никаких сил...

Это было вдвойне ужасно! "Quos Jupiter perdere vult, dementat prius".[1]Это полностью может быть отнесено к нашей власти в предреволюционный период 1916/17 гг. Но и глупец может быть мужественным, на нашу же власть — на горе России — нашел

одновременно припадок политического слабоумия и старческого безволия...

Все революции в истории случаются не столько от мощи напора разрушительных сил, сколько от слабости сопротивления сил охранительных. Русская революция 1917 года является яркой иллюстрацией этого.

Положение было трудное, но, повторяю,*не*безнадежное, я сказал бы даже более — пока даже еще не трагическое. Из действительно трагического положения страну — кроме чуда— может вывести только гений. В 1917-м, по моему глубокому убеждению, Россию мог - спасти и не-гений, но человек с ясной головой и сильной волей. Одним словом — человек типа Столыпина, которого даже его сторонники, к коим принадлежал и я, "гением" все же никогда не считали.

Процесс истории неповторим, но, в сущности, власти надо было тогда, в общих чертах, сделать аналогичное тому, что сделал ранее Столыпин:*проявить умеренный либерализм и крепко взять поводья в руки*...

Власть не сделала ни того, ни другого — последовала революция!

Первая пореволюционная власть (Временное правительство) попробовала применить исключительно*первую*часть этой политической программы, при этом исключив «умеренность», а напротив, доведя «либерализм» до совершенного абсурда. «Либерализм» — в искаженном смысле «всепозволенности» — был, действительно, доведен до крайних пределов, а какая бы то ни было государственная власть доведена до нуля...

Результат — новая, большевицкая революция!

Большевики стали проводить исключительно*вторую*часть программы. Они бросили всякий «либерализм» и довели «власть» до абсурда, то есть до пределов безграничного абсолютизма. Таким методом большевики держатся уже больше 20-ти лет, но губят страну и, конечно, рано или поздно сами падут жертвой кровавой революции, если решительным образом не эволюционируют, что мало вероятно!

Февральская, так называемая «бескровная», революция открыла, таким образом, целую серию революций в России, серию еще не закончившуюся...

Примирить с собой нашу «левую общественность» наша дореволюционная власть конечно не могла, и даже не должна была к этому стремиться, иначе ей пришлось бы самой идти по губительному пути будущего Временного правительства. Но не раздражать, а, напротив, привлечь на свою сторону представителей умеренно-консервативного и даже умеренно-

либерального направления власть могла и*должна*была это сделать.

Отбрасывать в оппозицию таких монархистов и людей таких умеренных убеждений, как, например В. В. Шульгин или М. В. Родзянко, было со стороны государственной власти преступлением, если только не... идиотизмом.

Но если уж вести такую политику, не считающуюся ни с каким общественным мнением, то надо, по крайней мере, создать материальную силу, чтобы проводить ее. Так потом поступили большевики, создав ВЧК.

Наша дореволюционная власть не только об этом не позаботилась, но даже, напротив,*ослабила*тот и без того уж слабый аппарат принуждения, который был в ее руках... Отправка на фронт части городовых и стражников, которых и так было в России слишком мало! — как политически оценить такое действие?!

Значительно позже я узнал, что такие высшие чиновники, как С. Е. Крыжановский, требовали увеличения числа полиции, но их голос оставался гласом вопиющего в пустыни... Признаюсь, не без гордости вспоминаю, как однажды (примерно в 1912 г.) я слушал в небольшом обществе, как излагал политическую программу умеренного либерализма проф. С. А. Котляревский. Мы возвращались с ним домой, и С. А. спросил меня о моем мнении. «Я с вами почти во всем согласен,— ответил я ему,— но к каждому пункту либеральной программы я бы прибавил:*при этом усиливается штат полиции...»*С..А. счел это юношеской бутадой с моей стороны, а между тем теперь ясно, что я был тогда совершенно прав... Позднее я узнал, что в Англии и во Франции было в то время, пропорционально, в 5 и в 9 раз больше полицейских сил, чем в «Царистской» России. Если я не ошибаюсь, ни в одном государстве мира не было в процентном отношении к населению таких слабых полицейских сил, как у нас.

Если слабость полицейских сил была видна и опытным бюрократам, как Крыжановский, и неопытным юнцам, как я, то действия государственной власти, еще ее ослаблявшие, нельзя назвать иначе как — безумием. Об «измене» тут, конечно, не могло быть и речи.

Когда теперь (1939 г.)—во время войны—я наблюдаю во Франции, как многочисленные и молодые чины моторизованной полиции проверяют документы куда более старых и хилых запасных солдат, отправляемых в армию, я глубоко ценю это мудрое и государственное решение вопроса.

И в 1917 году я думал, а теперь я еще более в этом уверен, что спасти положение в России одним умеренным либерализмом,

к которому лежало и лежит мое сердце, было *невозможно.* Но я надеялся тогда, а теперь я еще больше в этом уверен, что *спасти положение сочетанием этого умеренного либерализма с проявлением силы власти было вполне возможно.*

Если представители тогдашней власти были противниками мало-мальски либеральной политики (я считал и считаю это большой ошибкой), тогда они тем более должны были усиливать полицейский аппарат власти, а они его ослабляли... Действительно: Quos perdere vult...

Я хорошо помню волнительный февральский день, когда мне в кабинет председателя комитета ВЗС Северного фронта (Герасимов был тогда в Москве) принесли только что полученную из Петрограда, еще не опубликованную телеграмму железнодорожникам «Комиссара Бубликова», сообщавшую о начавшейся революции...

«Началось»,— подумал я и сердце мое сжалось. «Началось!»— думали вокруг меня почти все мои сотоварищи по работе в Земском Союзе, и сердца их бились от радости... Добрая половина этих людей — большей частью, хорошего интеллигентского типа — были совсем не революционерами, но они верили, что над Россией «занимается заря свободы»... Не один из них в скором будущем пал под пулями большевиков.

Я уже говорил, что никогда в жизни не испытывал такого душевного одиночества, как в эти тяжелые дни...

Сведения из Петрограда приходили к нам во Псков очень скоро, а уже на следующий день после начала революционных событий оттуда приехал застигнутый там ими псковский вице-губернатор В. С. Арсеньев. Непосредственно с вокзала приехал он ко мне на квартиру, и я был поражен его видом: что сделалось с человеком за два дня! Его рассказы о лично им виденном производили гнетущее впечатление, он был глубоко расстроен. Я старался надеяться, что Арсеньев все же преувеличивает. Но все оказалось правдой.

Приходилось глядеть в глаза фактам.

Ужас от революции усугублялся тем, что шла война.

Положение действительно стало трагическим, и только Великий человек мог теперь спасти Россию. Надежды, что такой гений явится, не было. Я чувствовал себя, буквально, как человек, оглушенный ударом по голове...

Во Псков, в штаб Северного фронта приехал Государь. Я в тайне сердца во многом критиковал Государя — не такой был нужен России царь в такую эпоху! — но, по совести, я всегда был верен ему.

Ярко помню чувство безграничной жалости к Государю,

охватившее меня. Много позднее я прочел запись в его дневнике: «Кругом измена и трусость и обман!» Каким-то телепатическим чутьем, вообще мне отнюдь не свойственным, я тогда почувствовал, что у Государя должно быть именно это на душе.

С непосредственностью, опять же мне не свойственной, я вдруг велел подать мне автомобиль. Я решил**ехать**на вокзал, туда, где был Государь... Немедленно за этим импульсивным решением в моей голове заработала критическая мысль: зачем я, собственно, еду? Ведь не могу же я думать в такой момент просить аудиенции... Принят я все равно не буду, а если бы даже — что невозможно — я был бы принят, то что бы я сказал Государю?

Мне доложили, что автомобиль подан, и я поехал...

Был вечер. Вокзал был как-то особенно мрачен. Полиция и часовые фильтровали публику. Полиции было очень мало. Я не имел никакой определенной цели,но действовал как автомат, за которым я же, но как бы со стороны, наблюдал. Это был, кажется, самый яркий случай раздвоения моего сознания.

«Где поезд Государя Императора?» — решительно спросил я какого-то дежурного офицера, который указал мне путь, но предупредил, что для того, чтобы проникнуть в самый поезд, требуется особое разрешение... Я пошел к поезду. Не доходя до него, я встретил одного из адъютантов Главнокомандующего, немного мне знакомого. Он сказал, что к поезду никого не пропускают... Я, оказывается, уже был там, куда «никого не пропускают»...

Я стоял рядом с адъютантом.

Стоянка царского поезда на занесенных снегом, неприглядных запасных путях производила гнетущее впечатление. Не знаю почему —этот охраняемый часовыми поезд казался не царской резиденцией с выставленным караулом, а наводил неясную мысль об аресте.

По-видимому, адъютант испытывал то же чувство, что и я. «Мрачно!» — произнес он вполголоса, ни к кому не обращаясь.

В окне царского вагона показалась какая-то неясная фигура: человек в военной форме смотрел в нашем направлении.

«Возможно, что Государь, но я не могу хорошо разглядеть»,— ответил на мой вопрос адъютант. Своим собственным близоруким глазам я совсем не доверял.

Я смотрел в сторону этой неясной фигуры в окне и думал, как-то совсем по-детски: «Если это Государь, пусть он почувствует, что вокруг него есть преданные ему люди»...

Через минуту-две серая фигура медленно отошла от окна...

«Как я наивен! Что я тут делаю!» — заговорил во мне голос

скепсиса... Я молча пожал руку адъютанту и пошел к вокзалу.

Тихо и тоскливо заносимые снегом запасные пути — и на них стоит почти неосвещенный, одинокий и грустный царский поезд!..

Тяжело было на душе.

«Что делать? Что делать?»—мысль моя билась в бесплодном и мучительном усилии...

Революционное разложение, начавшееся в Петрограде, докатилось к нам во Псков очень скоро.

На шинелях и гимнастерках появились красные банты (слава Богу, я ни разу этим не опозорился!), тыловая солдатня становилась все распущеннее, а среди офицерства началось заметное расслоение. Герои-мученики с одной стороны и прихвостни революции с другой. Разумеется, между этими крайними группами были и промежуточные.

Генерал Бонч-Бруевич, о недавнем крайнем юдофобстве которого я говорил выше, ходил по Пскову в какой-то подчеркнуто неряшливой форме, с громадным красным бантом на груди. Он был, к стыду нашему, далеко не один.

Помню, как раз на улице я встретил Начальника санитарной части фронта, лейб-медика (до революции он особенно подчеркивал это звание!) Двукраева. Первым делом я увидел большой красный бант на его груди, и мне сделалось так противно, что хотя я почти столкнулся с ним, я сделал вид, что его не замечаю...

«Здравствуйте, князь, вы меня не узнаете?» — услышал я голос Двукраева. «Извините, Ваше Превосходительство, я действительно Вас не узнал. Я увидел красный бант и подумал, что это — не Вы».

Двукраев смущенно засмеялся...

Уже в самом начале марта во Пскове произошло первое убийство офицера. Был заколот солдатами подполковник Самсонов, начальник главного этапного пункта,— тип хорошего армейского пехотного офицера старого времени. На похоронах Самсонова солдаты несли венок «Нашему Отцу-Командиру»...

Много тяжелого мне пришлось тогда видеть и слы- шать. Мое личное положение становилось все более и более трудным, но, конечно, его нельзя было даже сравнить с безмерно более тяжелым положением сохранивших честь и достоинство генералов и офицеров. Их положение становилось буквально невыносимым.

Когда Государь отрекся от Престола в пользу Великого Князя Михаила Александровича, отречение это не было еще отказом от монархии. Более того, мне кажется, что защита монархического

принципа при восшествии на Престол Михаила Александровича была бы легче, чем защита его при Государе, если бы он не отрекся от Престола. Революционной пропаганде удалось сильно подорвать престиж Государыни Александры Феодоровны и, отчасти, самого Государя, но это были, скорее, удары по их личному престижу, а не по престижу самой Царской Власти. Если бы Императорская Корона не упала бы в грязь, а была бы передана другому лицу, Россия, думается мне, могла бы еще избежать худших бедствий.

Конечно, отречение Государя не только за себя, но и за своего сына было явно противозаконно, и, при отречении Государя, законные права на Престол переходили к Великому Князю Алексею Николаевичу. Но строгий легитимизм мало свойственен русскому народу, и переход власти от Государя к его брату не показался бы незаконным широким массам населения. В сущности, дело было в том, чтобы Михаил Александрович немедленно принял передаваемую ему* Императорскую Корону. Он этого не сделал. Бог ему судья, но его отречение по своим последствиям было куда более грозно, чем отречение Государя,— это был уже отказ от монархического принципа Отказаться от восшествия по Престол Михаил Александрович имел законное право (имел ли он на это нравственное право — другой вопрос!), но в своем акте отречения он, совершенно беззаконно, не передал Российской Императорской Короны законному преемнику, а отдал ее... Учредительному Собранию. Это было ужасно!

Отречение Государя Императора наша армия пережила сравнительно спокойно, но отречение Михаила Александровича, отказ от монархического принципа вообще — произвел на нее*ошеломляющее*впечатление: основной стержень был вынут из русской государственной жизни; короткое время, по силе инерции, все оставалось как будто на месте, но скоро все развалилось,

Много политических грехов готов я простить П. Н. Милюкову и А. И. Гучкову за их — к сожалению тщетные — уговоры Великого Князя Михаила Александровича не отказываться от Императорской Короны.

С этого времени на пути революции уже не было серьезных преград. Не за что было зацепиться элементам порядка и традиции. Все переходило в состояние бесформенности и разложения. Россия погружалась в засасывающее болото грязной и кровавой революции.

Я чувствовал себя в то время во Пскове — душевно одиноким. Наиболее близким человеком мне был

О. П. Герасимов, но и с ним мы переживали события очень

по-разному.

В это тяжелое для меня время я не могу не отметить исключительно трогательное отношение ко мне со стороны почти всех моих сотоварищей по работе в Земском Союзе. Они совершенно не разделяли моих чувств и переживаний, напротив, у огромного большинства чувства, как я уже говорил, были диаметрально противоположными, но все, почти без исключения, относились ко мне с большой сердечной деликатностью.

В моем кабинете висел большой портрет Государя. Во всех военных и гражданских учреждениях портреты Императора были немедленно сняты, а кое-где грубо уничтожены. А у меня в кабинете портрет продолжал висеть... В сущности, я должен был бы приказать снять портрет, чтобы обезопасить его от значительного в те времена риска. Но, с одной стороны, мне было противно приказать это сделать, а с другой — у меня был здесь несомненный элемент юной бравады.

Помню, как однажды вечером ко мне пришли несколько наших уполномоченных и с большой деликатностью просили меня разрешить им снять и спрятать царский портрет. «Мы понимаем,— говорили они,— что вам неприятно приказать это сделать нижним чинам. Разрешите нам самим незаметно это сделать...»

Надо знать тогдашние настроения среди интеллигенции, чтобы вполне оценить мягкость и тактичность, проявленные моими сотрудниками в данном случае. В числе пришедших я помню одного эсера (убитого потом большевиками) и одного социал-демократа, другие были кадеты.

О. П. Герасимов был очень скоро назначен на пост Товарища Министра Народного просвещения Временного правительства. Уполномоченные нашего комитета единогласно постановили просить меня занять его место.

Поблагодарив комитет за оказанную честь, я не только отказался от избрания в председатели комитета, но заявил о своем твердом решении выйти из его состава, как только смогу сдать дела моему преемнику. Я сказал, что «если вообще будет возможность работать плодотворно», работа эта должна вестись людьми, которые *верят* в новые методы работы. Я лично в них не верю, и поэтому с пользой работать не могу.

Повсюду шла тогда «демократизация» учреждений. Почему-то так называлось расшатывание всякой дисциплины, избрание и смещение начальства подчиненными, постоянный «контроль» над действиями этого начальства и т. п.

Кроме того, я сказал, что вредил бы нашему комитету хотя бы одной своей фамилией — «недостаточно демократической »...

Я уверен, что почти все уполномоченные совершенно искрение убеждали меня остаться. Впрочем, многие понимали и меня... Перед моим отъездом из Пскова они почти все перебывали у меня с прощальными визитами, и только в виде исключения прощание носило «официальный» характер.

Помню, как типичный интеллигент, заведующий статистическим отделом Потресов, оказавшийся после революции старым «меньшевиком», взволнованным голосом говорил мне: «Знаете, я с молодых лет всегда был революционером, но только поработав с вами, я увидел, что и «просвещенные тори» (я запомнил его выражение!) могут быть полезны для общественного дела... даже очень полезны! С уходом Осипа Петровича (Герасимова) и вас у нас не останется элемента традиции и порядка...»

На прощание Потресов сказал: «Раньше мне было бы даже смешно подумать, что я буду когда-нибудь жалеть об уходе с постов старого бюрократа (Герасимова) и князя... А вот — жалею! Век живи —век учись! Вы оба были полезными работниками... не знаю, как теперь пойдет дело...» — закончил он взволнованно. В его глазах стояли слезы.

Я совершенно не ожидал такого к себе отношения со стороны столь типичного социал-демократа, да и со стороны многих других. Мне, в свою очередь, остается повторить: «Век живи — век учись!»

Искренно тронут я был в это время и отношением ко мне со стороны ряда низших служащих. Помню, например, такой случай. Во Пскове в это время все автомобили (в огромном большинстве — военные) ходили по городу с красными флажками над радиаторами. И вот я раз вижу в окно неприятную картину: мне подают к подъезду автомобиль с таким, ненавистным мне, флажком! Однако выйдя на улицу, я застал своего шофера, снимающего флажок... Я ничего не сказал. «Без флага пустой машине проехать никак нельзя — сразу реквизируют,— не без смущения объяснял мне шофер,— так, с Вашим Сиятельством, может быть и проедем, а пустым никак не возможно...»

Я ехал тогда на совещание у Главного Начальника снабжения. Все прибывшие туда автомобили (кроме моего) были с красными флажками. Как только я вышел из машины, мой шофер вновь водрузил на нее красный флажок, который снова снял, когда мы поехали назад.

Шофер действовал иключительно по собственной инициативе. Его поведение очень меня тронуло. Года через два я встретил его в Москве. Он был шофером Президиума Московского горсовета. При виде меня лицо Тихонова расплылось в радостную

улыбку, и он отчетливо отдал мне честь...

Трогавшие меня проявления чувств я видел и со стороны других служащих и нижних чинов.

Сердечное и искреннее спасибо им за это... Поздней весной я сдал должность и уехал из Пскова. Переворачивалась новая значительная страница моей жизни.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕТРОГРАД

Из Пскова я переехал в Петербург, с первых дней войны переименованный в Петроград (это было неудачно!). Там я был назначен уполномоченным в Представительство «Земгора», учреждение, куда входили представители двух крупнейших общественных организаций — Земского и Городского Союзов.

Роль моя и моих коллег — была представлять наши организации во многих государственных учреждениях и комиссиях. Например, мы должны были защищать наши сметы правительственных ассигнований, ходатайствовать о праве получения иностранной валюты, необходимой для закупки за границей того, чего нельзя было купить в самой России (некоторые медицинские препараты и т. п.). Работа была скучная и нудная, но кто-то должен был ее делать... Кроме того, в ряде Комиссий и междуведомственных Совещаний мы были привлечены как «представители общественности», работающие на государственную оборону.

Вообще, Комиссий и Совещаний было много, а толку от них в переживаемое смутное время — мало. Все чувствовали, что происходят события и сдвиги такого масштаба, и что надвигается такая волна разложения и анархии, что какая-либо плодотворная работа становится невозможной.

Как я ни старался проводить на практике теоретически правильный принцип, что каждый на своем месте должен возможно интенсивней продолжать работу я чувствовал, что у меня подчас руки опускаются, Революция все отравляла и, быть может, еще хуже того — все опошляла.

Помимо того, что никакая работа в тогдашних условиях не могла меня удовлетворить, я с первых же дней, привыкши к чрезвычайно интересному труду во Пскове, почувствовал, что той работы, которая выпала на мою долю в Петрограде,— мне мало. Я как-то сказал об этом О. П. Герасимову, бывшему Товарищем Министра народного просвещения (при министре Мануйлове). Герасимов предложил мне дополнительно взять на себя представительство Министерства в нескольких междуведомственных Комиссиях, представлявших государственный интерес. Техническая сторона вопросов, касающихся Министерства, должна была разрабатываться специалистами-чиновниками, но Герасимов не доверял в это время чиновникам защищать *государственные* интересы. Я очень скоро убедился в полной его правоте: его опасения были даже значительно превзойдены печальной действительностью.

Я согласился с предложением Герасимова и был немедленно назначен представителем Министерства в Ликвидационную Комиссию по делам Царства Польского, в Главный Земельный Комитет и в Комиссию по выработке законопроектов по вероисповедным вопросам (не помню ее точного наименования). Участие в этих Комиссиях дало мне возможность наблюдать как бы подкладку работы нашего пресловутого Временного правительства, на которое возлагалось столько наивных надежд. Много тяжелого я здесь навидался.

В Главном Земельном Комитете, который занимался разработкой всех аграрных законопроектов для Временного правительства, а в будущем и для Учредительного Собрания, я заседал всего один-единственный раз, на первом его торжественном заседании, после чего подал в Министерство народного просвещения мотивированное прошение об отставке как его представитель в этом учреждении. Сделал я это, посоветовавшись с дядей Гришей Трубецким, который раньше убеждал меня войти в это учреждение, «чтобы не сдавать никаких позиций». Выслушавши мой рассказ об этом первом заседании и характеристику его членов, дядя Гриша вполне одобрил мое желание уйтииз этого «совета нечестивых». Герасимов, хотя немного поспорил, во тоже согласился, что это место — не для меня.

Вот что происходило на заседании.

Вырабатывалась торжественная публичная Декларация Главного Земельного Комитета, перед началом его работ. О, эти декларации!!. Как они навязли у всех в зубах и всем осточертели за это время: Россия гибла под пустой треск велеречивых деклараций! В проекте этой Декларации говорилось, что Главный Земельный Комитет намерен вести свои работы в направлении «передачи трудящимся всей земли сельскохозяйственного пользования». Стоит ли говорить, что «трудящимися» в деревне считались только крестьяне...

Я всегда был и остался сторонником частного землевладения, в том числе и крупного, но выступать в Комитете в защиту этого положения было бы совершенно бессмысленно, принимая во внимание его состав и общие настроения в стране в это революционное время. Вдобавок, я был в Комитете представителем Министерства народного просвещения и мне совершенно не полагалось выступать от его лица в качестве безнадежного защитника помещичьего землевладения. Я решил попробовать маневрировать...

Попросив слова как представитель Министерства, я сказал, что туда постоянно поступают заявления из разных губерний о

захвате крестьянами «в революционном порядке» школьных земельных участков, в частности фруктовых садов и огородов. При современных настроениях крестьянских масс,— мягко выразился я,— заявление высокого государственного органа, призванного подготовить законодательное разрешение земельного вопроса, говорящее о передаче всей земли «трудящимся», будет безусловно принято как санкционирование таких неправомерных захватов, так как крестьяне,— говорил я,— привыкли только себя считать «трудящимися»... Поэтому я предлагал исключить из Декларации эту «опасную формулировку» и представил вместо нее другую. Я не помню сейчас точно предложенной мною формулы, она, сознательно, была бесцветна и неопределенна. Я не мог, конечно, надеяться провести в Главном Земельном Комитете, с типично эсеровскими тенденциями, здравую государственную точку зрения. Я пытался только хотя бы обломить острие революционной формулы. С другой стороны, я таким образом испытывал, чего я лично мог бы достигнуть в Комитете в смысле возможного «обезвреживания» этого опасного учреждения...

Моя формулировка прошла не полностью — я на это и не надеялся, и сознательно включил в нее небольшую долго «запроса», чтобы было с чего уступать. Однако, даже с поправками, моя формула начисто исключила эсеровскую фразочку о передаче всей земли трудящимся. Признаюсь, я был тогда изумлен этому своему успеху. Просто присутствовавшие (в огромном большинстве — «левые») не поняли моего «подвоха».

Но дело скоро переменилось. На заседание прибыл Министр Земледелия, В. М. Чернов, «Селянский министр», как он себя называл,— сквернейший тип социал-революционера интернационалиста. Узнав от председателя Комитета о ходе работы, Чернов, революционным нюхом, сразу обратил внимание на изменения в редакции проекта Декларации. Он заявил, что формула о передаче «всей земли трудящимся» имеет принципиальное значение, и поэтому предложил... переголосовать уже принятый текст Декларации.

Мой протест против переголосования уже принятых положений — «что, насколько мне известно, не практикуется ни в одной культурной стране» — не имел никакого значения. Текст Декларации был переголосован, и никто — кроме меня — не голосовал за только что принятый тем же Комитетом текст.

Я понял, что делать мне в Главном Земельном Комитете нечего. Я и пошел туда с отвращеньем, но не считал возможным отказаться, не испытав на практике, не могу ли я быть там хоть сколько-нибудь полезным. Для этого было достаточно первого

заседания...

Совершенно иные впечатления я вынес из нескольких заседаний Комиссии по выработке законопроектов о старообрядческих общинах, на которых мне пришлось присутствовать.

Председательствовал в Комиссии проф. С. А. Котляревский, которого я давно знал; человек умный, образованный (далеко не все профессора — образованны), умеренных убеждений, но очень слабого характера, что сказалось впоследствии, при большевиках.

На этих заседаниях мне пришлось впервые познакомиться с А. И. Гучковым, которого, несмотря на некоторые его явные недостатки, я ценил до самой его смерти, как человека безусловно незаурядного. К сожалению, как и столь многие в России, Гучков — «не Удался»... А он мог бы быть полезен России. Многое, в чем его обвиняли,—особенно после 1917 года—было совершенно несправедливо и обычно основано на искажении фактов (вольном или невольном). Гучков был горячий патриот и убежденный монархист, но у него была резкая неприязнь к Государю (Николаю Александровичу) , быть может — личная. На эту тему мы, разумеется, никогда с ним не говорили, ни в 1917-м, ни позднее, при наших частых встречах с ним в Париже.

На заседании Комиссии о старообрядцах я познакомился и с другим политическим деятелем этого времени, А. В. Карташовым. Тогда он был Товарищем обер-прокурора Синода (при печально прославившемся В. Н. Львове).

Среди старообрядцев разных толков я видел тогда ряд прекрасных, укорененных в старорусском быту людей. Общение с ними было особенно отрадно и освежительно в это время всеобщей расшатанности. В отношении этих людей наша старая правительственная политика бывала часто неправа и просто — негосударственна. В эту эпоху, когда у слабого физически и морально Временного правительства все всего «требовали», при этом часто в самой грубой форме,—сами пожелания и способы их предъявления со стороны старообрядцев отличали их в моих глазах с самой выгодной стороны.

Я помню такой характерный случай на одном из заседаний Комиссии. Какой-то безусловно умный, но карикатурно-гоголевского типа чиновник Департамента Духовных Дел Министерства Внутренних Дел, подчиненный С. А. Котляревскому, выработал законопроект касательно данного толка старообрядцев (Епископат Белокриницкого рукоположения) и докладывал его на заседании. Статьи законопроекта принимались Комиссией одна за другой, почти не встречая возражений или поправок. Технически законопроект был

выработан прекрасно, и я лишний раз оценил в этом отношении качества нашей старой русской бюрократии.

Вдруг я обратил внимание на то, что все члены клира старообрядческих общин, включая причетников, начетчиков и т. п., были согласно законопроекту полностью освобождены от воинской повинности. При этом число клириков в каждой старообрядческой общине решительно ничем не ограничивалось, так что теоретически вся община могла быть записана клириками. Понятно, какие могли возникнуть злоупотребления, особенно в военное время.

Когда я отметил этот щекотливый пункт, никто из представителей старообрядческих общин не только не стал защищать столь выгодный для них текст законопроекта, уже прошедший через ряд инстанций, но, наоборот, они сами стали вводить в него очень строгие ограничения, необходимые с государственной точки зрения. Более того, после заседания ко мне подошла группа старообрядцев с Архиепископом Мелетием во главе, и последний поблагодарил меня от их имени за то, что я заметил «такое упущение», «а то,— сказал он,— нас бы потом могли поносить за непатриотизм, а нам это было бы обидно...». Так говорили люди, которым не доверяла, побаивалась и которых, порой, жала старая власть. Какая это была непростительная ошибка с ее стороны...

Между тем, тоже в перерыве заседания, Котляревский обратился при мне к чиновнику, составившему законопроект под его общим руководством: «Как же это мы с вами такую вещь пропустили?» Я не забыл подобострастно-сладенькой и хитрой улыбочки гоголевского «кувшинного рыла»; «Я составлял в современном духе-с, думал, либерализм не подпортит-с...» — сказал он.

Конечно, этот же самый «дьяк в приказах поседелый» составлял раньше тексты административных распоряжений относительно тех же старообрядцев, только «в другом духе-с», при этом — очень вероятно — он также «петушком» старался забежать впереди начальства, утрируя направление, которое старался угадать.

Перед закрытием заседания С. А. Котляревский в качестве председателя поблагодарил «кувшинное рыло» за его большую подготовительную работу, «Я только трость в руке борзописца»,— ответил с неподражаемым поклоном чиновник...

Мне пришлось довольно часто видеть в ту эпоху, как гоголевские и совсем не-гоголевские «современные» чиновники старались подделываться под «новый дух-с». Наблюдать это было иногда забавно, но всегда очень противно. К числу этих

«чиновников» я отношу многих чинов Военного Министерства: военные погоны, даже генеральские, никак не меняли их чиновничьих душонок.

Тем, что я говорю сейчас, я отнюдь не хочу бросить камень во всю нашу русскую — гражданскую и военную — бюрократию, представлявшую во многих отношениях очень большую ценность. Этот ценнейший аппарат власти был нашими интеллигентами, дорвавшимися до власти, варварски разбит при Временном правительстве.

То, что я встретил в Ликвидационной Комиссии по Делам Царства Польского, тоже очень характерно для этой мрачной эпохи нашей истории — первого периода «великой и бескровной» революции.

В начале Мировой войны Верховный Главнокомандующий, Великий Князь Николай Николаевич, торжественно возвестил о воссоздании, после окончания войны, единой автономной Польши. (Это замечательное по форме воззвание было составлено дядей Гришей Трубецким.) Временное правительство сделало дальнейший шаг. Еще не объявив формально будущей независимости Польши и ее границ с Россией и откладывая эти вопросы «до Учредительного Собрания» (все и вся откладывалось тогда до Учредительного Собрания!), Временное правительство на самом деле всеми своими актами предрешало эту независимость, более того — подготовляло ее. При этом, фактически, работу по подготовке отделения Польши от России вели не русские государственные деятели, а поляки, облеченные для этого особыми полномочиями русского Временного правительства. Все делалось «в новом духе-с», по выражению «кувшинного рыла»... Характерно, что даже председателем Ликвидационной Комиссии по Делам Царства Польского и докладчиком по польскому вопросу на своих заседаниях Временное правительство назначило поляка — А. Р. Ледницкого. Ледницкий среди поляков был настроен скорее русофильски, но все же он был — поляк, и со стороны Временного правительства было непростительно легкомысленно отдавать в польские руки всю подготовку разрешения вопроса, в котором были столь существенно задеты интересы России.

Надо отдать должное полякам: они были прекрасно представлены в Ликвидационной Комиссии. К сожалению, никак нельзя сказать того же про русских представителей. Со стороны поляков я видел очень культурных государственных деятелей, со стороны русских были исключительно представители министерств, причем обычно из некрупных чиновников. Психология их была — подделываться под «современный дух-с» и

даже забегать в этом отношении вперед, чтобы, Боже упаси, как-нибудь не оказаться «ретроградом». Действительно, делать все по желанию поляков считалось «либеральным», а в чем-либо спорить с ними — «ретроградным».

Если не ошибаюсь, единственным кроме меня человеком, не всегда соглашавшимся с поляками и не шедшим решительно на все их требования, представляемые, правда, не в «революционной», а в самой культурной форме, был какой-то очень молодой мелкий чиновник Министерства Иностранных Дел, носивший вполне демократическую фамилию Михайлов (или что-то в этом роде). Только мы двое юнцов—мне было тогда 27 лет, и Михайлову не больше — а чаще всего я один, спорили с поляками, не получая ни малейшей поддержки, даже наоборот,— от представителей других министерств.

Почти по каждому важному вопросу я оставался при особом мнении, обычно в одиночестве, причем наш председатель должен был докладывать Временному правительству, так как представители министерств в этом отношении пользовались в Комиссии правами товарищей министров.

Приведу в виде примера один вопрос — последний, в обсуждении которого я принимал участие, так как после этого я подал в Министерство народного просвещения прошение об отставке, признавая свою дальнейшую работу в таких условиях совершенной бессмыслицей. К тому же Временное правительство все левело, а в России все разлагалось. Надежд на какое-либо возможное улучшение уже быть не могло... Однако возвращаюсь к Ликвидационной Комиссии по Делам Царства Польского. Среди законопроектов, подготовляемых ею для вынесения их на утверждение Временного правительства, был один, касательно поляков, русских подданных, перешедших на сторону врага, вошедших в состав их вооруженных сил и затем взятых в плен нашими войсками (большинство были так называемые «польские легионеры», служившие в Австро-Венгерской армии). Несколько таких русских подданных, изменников-перебежчиков (я не отрицаю их польского патриотизма), ждали над собой военного суда в момент революции.

А. Р. Ледницкий представил нам на пленарном заседании Комиссии законопроект по этому случаю. По его словам, этот законопроект «уже согласован с представителями Военного Ведомства и Юстиции и, конечно, не может встретить возражений членов Комиссии»... Законопроект был весьма прост. Сводился он к тому, что эти поляки-перебежчики вообще никакой ответственности не подлежат, и дело о них просто прекращается.

Я попросил слова и заявил, что, по моему мнению,

освобождение от суда «государственных преступников» (для мягкости, я не сказал — изменников) не входит в компетенцию нашей Комиссии. Они подлежат суду, право же личного помилования или же общей амнистии принадлежит теперь Временному правительстну. Если какие-либо члены нашей Комиссии желают ходатайствовать о судьбе польских перебежчиков в одном из этих порядков, это их дело, но разрабатывать законопроект об освобождении от законной ответственности этих лиц я считаю неправильным и, во всяком случае, заявляю о своем несогласии и по форме, и по существу вопроса...

Я говорил совершенно не вызывающе и очень мягким тоном, но самое существо моего выступления возбудило поляков сильнейшим образом. Несколько поляков мне возражали. Помню члена Государственной Думы поляка Бодинского, отставного генерала русской службы и крупного землевладельца северных русских губерний. Он говорил, что «оскорбительно слушать», как поляков, русских подданных, взятых в плен с оружием в руках, называют здесь «государственными преступниками». Но самой интересной была речь поляка, архиепископа барона Роопа. Это был тип культурнейшего католического прелата; в дальнейшем он был приматом Польской католической церкви. Архиепископ барон Рооп был в свое время членом 1-й Государственной Думы и не скрывал своих правых убеждений. И Вот что я, не без изумления, услышал из уст архиепископа:

— По-видимому,— говорил Рооп,— призраки прошлого витают в этом дворце и навевают речи князя Трубецкого.— (Мы заседали во флигеле Зимнего дворца.)—Недавно,—продолжал архиепископ,—мы хоронили здесь останки борцов против царизма.— (Немногочисленные убитые в февральские дни революционеры были — граждански, под красными флагами,— похоронены на Марсовом Поле; похороны эти носили ярко-революционный характер.)— И вот вдруг тех поляков-патриотов, которые сражались против того же царизма, князь Трубецкой называет здесь — государственными преступниками... Нет, не о помиловании, не об амнистии хотим мы говорить по отношению к этим полякам — это бы нам претило... Мы хотим одного, чтобы они вышли на свободу из мрачных тюрем, куда они были заключены до победы русской революции...

Речь Роопа возмутила меня своим лицемерием. Кратко ответив другим ораторам, я обратился к архиепископу со следующими словами, которые помню почти буквально;

— Что касается тех, кого*Вы*(я подчеркнул голосом это слово). Ваше Высокопреосвященство, хоронили под красными знаменами

на Марсовом Поле, то, как бы ни относиться к ним, я считаю долгом почтительно указать Вам на существенную разницу между ними и теми поляками, изменившими своей присяге России, к которой их приводило католическое духовенство перед католическим распятием.

Те, которых *Вы,* Ваше Высокопреосвященство, хоронили здесь, боролись против русского монархического режима под красными, революционными знаменами; за это их победившие единомышленники, как Вы изволили указать, совместно с Вами, почтили их торжественными революционными похоронами. Те же поляки, русские подданные, о которых Вы сейчас говорите, сражались против наших русских знамен не под революционными флагами, что сейчас, конечно, не считается государственным преступлением, а под флагами монархическими-же— Габсбургов и Гогенцоллернов, флагами, которые и доныне остались монархическими... Несмотря на происшедшую у нас революцию, действия тех поляков, о которых мы сейчас говорим, не могут быть квалифицированы иначе, чем государственное преступление. Если "этот термин, как я вижу, вызывает волнение в собрании, я согласен заменить его другим, может быть, даже более точным — «государственная измена»... — (Ледницкий не лишил меня слова на этом месте, хотя были голоса, этого требовавшие.) — Преступление это,— продолжал я,— подлежит суду и, повторяю, наложенное наказание может быть снято только в форме помилования со стороны Верховной Власти, если только не будет объявлена предварительная амнистия. Я не могу не протестовать против самого факта обсуждения предложенного нам законопроекта в нашей Комиссии...

Я говорил с полным спокойствием и подчеркнутой почтительностью к салу и возрасту архиепископа. Но не скрою, что я с большим удовольствием видел, как слова мои задевали его за живое.

А. Р. Ледницкий объявил перерыв заседания и, отведя меня в сторону, убеждал «отказаться от моей позиции». «Вопрос в Правительстве уже предрешен,— говорил он,— но по этому вопросу было бы желательно единогласие...» Я отвечал ему, что, к сожалению, не могу изменить своей точки зрения и считаю своим нравственным долгом не воздерживаться от голосования. «Законопроект будет, конечно, принят,— сказал я,— но в этом случае я заранее прошу занести мое особое мнение в журнал заседания».

Только я расстался с Ледницким, как ко мне подошли два генерал-майора из Военного Министерства (не помню фамилий этих «чего изволите» нового режима). Они тоже убеждали меня

отказаться от возражений. «Ведь это, князь, вопрос *ведомственный,* —сказал мне один из генералов,— и Военное Министерство уже дало на него свое согласие».— «Извините, Ваше Превосходительство,— отвечал ему я,— это вопрос не ведомственный, а *государственный,* и я могу только сожалеть о точке зрения вашего министерства, но никак не разделить ее...» Мы расстались с генералами не без сухости.

После перерыва заседание возобновилось, и всеми голосами против моего законопроект был принят в предложенной редакции.

От О. П. Герасимова я узнал продолжение этого дела.

Поздно ночью, когда затянувшееся заседание Временного правительства уже кончилось (Герасимов был на этом заседании), его председателю, тогда еще кн. Львову, доложили, что докладчик по польским делам, Ледницкий, просит заслушать несколько мелких, но спешных законопроектов.

«Это займет всего несколько минут,— говорил Ледницкий,— законопроекты прошли в Комиссии всеми голосами, против одного». Князь Львов согласился, и Ледницкий стал быстро докладывать законопроекты. Как только он прочел законопроект о поляках-изменниках, Герасимов хотел просить слова, чтобы поддержать мою точку зрения, как вдруг послышался голос Министра Финансов А. И. Шингарева (к-д): «Неужели во всей Комиссии нашелся всего один голос, возражавший против этого законопроекта? Интересно знать, кто это?» — «Я был рад слышать ваше имя»,— добавил Герасимов.

Ряд членов Временного правительства тут же заявили, что без обсуждения пропустить такой законопроект они отказываются. «Вы победили,— сказал мне Герасимов,— законопроект не прошел без прений в виде «законодательной вермишели», не пройдет он и на заседании...»

Через несколько дней, однако, законопроект этот, уже в виде закона, появился в «Правительственном Вестнике»! Никогда он не ставился на обсуждение на заседании Временного правительства: я это доподлинно знаю от нескольких членов последнего. Такие случаи в те времена были далеко не единичными. Мне рассказывали, например, о важнейшем законопроекте, проходившем на заседании правительства с большими прениями и существенными поправками, который потом появился в «Правительственном Вестнике» — в *первоначальной* редакции, без поправок... Что это — просто ли развал недавно прекрасной бюрократической машины, или тут бывал и злой умысел?

Что оставалось делать при таких порядках?..

Как я уже говорил, после этого случая я окончательно подал в

отставку. Сделать по совести — я ничего не мог, а принимать участие в этой грязной каше долг мне более не повелевал.

В течение двух-трех месяцев, проведенных мною тогда в Петрограде, я видел значительную эволюцию в настроении тамошних интеллигентских кругов.

Вначале среди интеллигенции было почти полное увлечение «великой, бескровной» (так звали тогда нашу революцию), но события развертывались быстро, и отвратительная грубая действительность все более и более прорывалась сквозь нелепые «идеалистически-демократические» бредни нашей «левой общественности». Постепенно даже в этих кругах увлечение революцией стало спадать, но с общественностью случилось то же, что с «маленьким Васей» из старых детских рассказов: «он раскаялся, но поздно — волк уже съел его»...

В Петрограде мне пришлось пережить и первое «июньское» большевицкое восстание. Я сохранил о нем удивительное воспоминание: странное сочетание полной импотенции государственной власти и еще до глу-- бины неосознанной «всепозволенности» среди народных масс... Власть еще могла тогда ударить по бунтовщикам, но не смела этого сделать; бунтовщики уже могли бы свергнуть власть, но не верили ни своим силам, ни бессилию противника и тоже не решались это сделать...

Какие-то странные — скорее «обозначенные», чем реальные — столкновения происходили между защитниками «революционного порядка» и крайними революционерами. Я видел, как отступали эти «защитники порядка» перед горстью наступавших большевиков; видел, с другой стороны, и паническое бегство революционеров перед несколькими пулеметными очередями — в воздух. Ни одного убитого, ни одного раненого...

Для всякого мыслящего человека — мыслили тогда, однако, еще меньше чем обычно — было совершенно ясно, что силы правительственной власти будут только падать, а сила и дерзость крайних революционных элементов, наоборот, только возрастать. Положение создавалось буквально безнадежное.

Я очень ясно помню то, что мне рассказал тогда О. П. Герасимов. Он был убежден в огромной опасности Ленина для России, и в разговоре с глазу на глаз с кн. Львовым высказал это. «Как Министр Внутренних Дел, вы обязаны, князь, его арестовать»,— говорил Герасимов.— «Как вы хотите, чтобы я это сделал? — отвечал Львов.— На следующий же день Совет рабочих депутатов потребует его выпустить».— «Я предлагаю вам такую комбинацию,— сказал Герасимов.— Оставаясь во главе Временного правительства, назначьте меня Министром

Внутренних Дел. Я обязуюсь немедленно и*«без вашего ведома»*арестовать Ленина, который при попытке к бегству будет тут же убит. После...

(Здесь кончаются мои воспоминания, написанные зимой 1939/40 гг. в Кламаре. Последние страницы написанного были уничтожены 15 июня 1940 года во время бомбардировки немцами Жиена. Их я не восстановил.

Снова берусь за перо в сентябре 1944 г. в Кламаре.)

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕРЕВНЯ

Неудача «революционного» наступления армии, как и следовало ожидать, еще ускорила процесс скольжения России по революционной наклонной плоскости. Я мог наблюдать это в Петербурге и в Бегичеве, куда я уехал, убедившись в полной тщете моей дальнейшей работы во всяческих правительственных комиссиях.

За несколько дней до моего отъезда в деревню я был в последний раз за войну на переосвидетельствовании непризванных в армию по состоянию здоровья. В отличие от прежних переосвидетельствований, производившихся всегда одними врачами в присутствии представителя воинского начальника, в этот раз врачи должны были работать «под общественным контролем». Действительно, среди осматривавших мои глаза врачей заседало несколько представителей Совета рабочих депутатов. Не знаю, как они вели себя с другими, но когда я был в свою очередь вызван на осмотр и была названа моя фамилия, я привлек самое пристальное внимание «общественного контроля». Когда осматривавший доктор велел фельдшеру пустить мне в глаза «три капли» атропина или еще чего-то, рабочие немедленно вмешались. «А почему другому гражданину восемь капель лекарства пускали, а этому только три?» Доктор, со скрытым раздражением, но не без робости, пытался объяснить рабочим, что глаза и их недостатки бывают разные и что в моем случае пускать больше капель может быть даже вредно. «Нет,— возразил рабочий,— теперь — равенство: у кого глаз твердый, у кого мягкий, всем поровну пускать!» (Я точно помню эту фразу.) «Товарищ фельдшер,—обратился рабочий к фельдшеру,— пустите гражданину (он указал на меня) 8 капель». Доктор чуть заметно пожал плечами и вполголоса сказал мне: «Что я могу поделать!» Так мне и пустили в глаза по восьми капель лекарства, во славу демократического равенства. Глаза у меня несколько дней после этого болели, потом поправились... Слава Богу, что не было хуже!

С моей отставкой и с новым подтверждением негодности к военной службе в кармане я в последний раз поехал в Бегичево, где тогда находились Мама и Соня.

Тяжело и беспокойно было у меня на душе, и все, что я видел и переживал тогда в деревне, побуждало меня только поскорее оттуда уехать. В Бегичеве я чувствовал себя уже как бы не дома. Старые формы жизни были еще не совсем разбиты, но на моих глазах как-то уродливо искажались. Некоторые служащие, рабочие нашей «экономии» и крестьяне были уже достаточно

затронуты революционной пропагандой, и отношение их к «господам» заметно менялось. Многие из них не перешли в стан наших врагов, но почти все стали бояться, чтобы их не сочли нашими сторонниками. Это было очень тяжело чувствовать на каждом шагу, а кроме того, было мучительно сознавать, что мы можем кого-либо компрометировать самим фактом общения с нами, притом повредить мы могли как раз самым лучшим. Была к тому же очень неприятна полная неопределенность нашего положения во всех отношениях: по закону, например, мы еще оставались полными собственниками имения, но на самом деле новые местные власти беззаконно вмешивались во все, и на них не было управы. В частности, местный «земельный комитет», считая Бегичево уже своим, мешал что-либо продавать из имения, хотя бы из урожая или приплода, но при этом требовал, чтобы хозяйственный размах (запашка и т. п.) не уменьшался бы. Заработная плата росла, производительность труда катастрофически падала. Земельный комитет требовал, чтобы все расходы по имению покрывались бы не из доходов, а извне: «Берите деньги из банка!» Понятно, нормально хозяйничать при таких условиях, даже при полном желании, сделалось совершенно невозможно. И не только хозяйское, но даже мало-мальски хозяйственное сердце на каждом шагу должно было обливаться кровью: падение всякой дисциплины труда приводило к тому, что наш скот и лошади подчас просто голодали («кормов не задали, ушли...»), а полное бесправие и анархия проявлялись в диких потравах и порубках.

Мне было, конечно, тяжело это видеть, но, говоря по правде, не так уж тяжело. Как в свое время охотничья струна, так теперь и хозяйственная как-то надорвалась в моей душе, но ощущение растущей, злой зависти меньшинства и подловатой трусости огромного большинства, и все это на фоне полного нашего морального одиночества,— это ощущение было тяжело до невыносимости. Пожалуй, это переходное время «керенщины» в Бегичеве было самое тяжелое, что мне пришлось пережить за время революции.

С чисто материальной точки зрения в Бегичеве еще можно было кое-что предпринимать в наших интересах: легально мы были еще полновластными хозяевами, а от вмешательства земельного комитета, постепенно наглевшего, но все еще далеко не уверенного в своих правах, не так трудно было избавиться, «подмазав» кого следует. Кстати, председатель комитета делал даже прозрачные намеки в этом отношении нашему управляющему. Теперь я, может быть, на это и пошел бы, но тогда у меня была еще, слава Богу, другая, «барская» психология, может

быть, многим теперь уже непонятная. Мне вдвойне претило входить в секретное соглашение с жуликами из земельного комитета и при их помощи разбивать любимое и с трудом налаженное хозяйственное целое, из-под полы продавая его обломки. Преступления я не видел в этом никакого, но, повторяю, это мне абсолютно претило. Пусть те, которые теперь не понимают эту психологию русского барина-помещика, подумают, не претило ли бы им, например, выломать на продажу золотые зубы изо рта близкого им покойника: тут тоже нет преступления и есть хозяйственная выгода! Конечно, я не настаиваю на точности сравнения.

Некоторые помещики «ловко» ликвидировали, что могли, из своих имений; я их не осуждаю, но и не упрекаю себя в том, что я даже не попытался поступать так же, как они. Мама знала мое настроение, понимала и сочувствовала ему; Папа не было в Бегичеве, но он, конечно, не только не осудил бы меня за это, но, несомненно, пошел бы еще дальше меня в этом отношении. Конечно, моя хозяйственная политика в Бегичеве может быть заклеймлена именем «непротивленчества», которое, с государственной точки зрения, я и тогда осуж-дал и теперь осуждаю. Однако здесь шла речь о непротивленчестве в наших*частных*интересах, а именно отказ от цепкой защиты своих*частных*интересов давал нам нравственное право особенно горячо оборонять интересы государственные. Я говорю — «нам», потому что такой психологией частнохозяйственного непротивленчества, при наличии упорного «противленства» национально-патриотического, был захвачен далеко не я один, а многие представители русского поместного сословия. Noblesse oblige,— когда на наших глазах гибла Россия, мы не могли со страстью бросаться на защиту своих — пусть совершенно законных, но все же*частных*интересов.

Как раз во время моего пребывания в Бегичеве вспыхнуло так называемое «Корниловское восстание» (по имени Верховного Главнокомандующего, ген. Корнилова). Известия приходили в деревню с запозданием и урывками: газет не было, или они до нас не доходили.

Помню, я с самого начала очень мало надеялся на успех ген. Корнилова. Тем не менее, я решил, при первой возможности (поезда не ходили) ехать в Москву, чтобы связаться с Корниловским движением. Я боялся долее — и особенно без меня — оставить Мама и Соню одних в Бегичеве, и мы стали все готовиться к отъезду.

Первые поезда пошли одновременно с получением известия о полном провале Корниловского восстания.

Какой кавардак царствовал тогда в головах крестьян, видно из моего разговора с богатым крестьянином, «стариком» лет 50-ти. «Нет,— говорил он мне (разговор происходил наедине),—нам с генералом Корниловым не по дороге... Он все с Большевиками, нет чтобы о нашей меньшой братии подумать. Вот меньшевики, те, сказывают, всем крестьянам землю прирезать будут и порядок снова введут, а то просто житья нет от беспорядка, с тех пор что господа царя свели...»

Так рассуждали крестьяне, а вот как действовали новые законные органы власти на местах. Когда были назначены у нас земские выборы на основании «всеобщего, прямого, равного и тайного голосования», к избирательным урнам в Бегичеве не были допущены не только *мы,* помещики, но даже служащие. Как объяснили в комитете, организовавшем выборы, допустить их к урнам было бы «недемократично»... Так толковались на местах лозунги и законы Временного правительства.

В начале «великой, бескровной» (какой иронией звучат эти эпитеты!) в тамбовском имении Новосильцевых, Кочемирове, какие-то пришедшие со стороны революционеры снимали с работы служащих и рабочих экономии и даже мужскую (почему-то только мужскую!) прислугу господского дома. В своей (стоит ли говорить? — бесплодной) жалобе по этому поводу судебному следователю тетя Машенька Новосильцева писала буквально следующее:

«Дело дошло до того, что нам за столом подавала женская прислуга...»

Бедная тетя Машенька! Дело скоро дошло до *гораздо* худшего и, между прочим, скоро ей самой пришлось спасать жизнь своего мужа, дяди Юрия, от толпы сбитых с толку нафанатизированных крестьян.

Да, дело шло все дальше и дальше — все на фронте и внутри страны катилось в пропасть.

Наконец мы вырвались из Бегичева и поехали в Москву. Я чувствовал, что прощаюсь с Бегичевым очень надолго, если не навсегда, и все же мне не только хотелось поскорее уехать из него, но даже и глядеть на него в последние дни перед разлукой совсем не хотелось. В последний раз я уезжал из Бегичева и даже не проехал верхом по нашим полям и лесам, не обошел парка, усадьбы и «экономии»...

В последний раз нам подали к подъезду экипаж. Помолившись, как всегда перед отъездом, мы сели в него, и как сейчас помню: Мама широким крестом осенила покидаемый ею навеки дом... Из боязни кощунства, мы не знали, оставлять ли в комнатах иконы, и Мама велела их убрать, но перед самым

отъездом она вдруг повесила на стене спальни икону «Нерушимая стена» из Софийского собора в Киеве… Так она там и осталась.

Вряд ли кто-нибудь из нас увидит Бегичево, знаю только, что таким, каким оно было, никто никогда увидать его не может.

Не знаю, по правде, хочется или не хочется мне туда вернуться? Порой меня туда так тянет, но иной раз сама мысль о возвращении в разоренное, опоганенное гнездо кажется мне нестерпимо мучительной.

МОСКВА

Приехав в Москву, я почувствовал, что тяжелый камень свалился с моей души. Немало оставалось на ней тяжелого, но атмосфера была иная, чем в имения.

В Москве мне пришлось, судя объективно, пережить куда более тяжелые времена, чем дни в Бегичеве, но, как я уже говорил, переживать их мне было легче.

Я знал ряд помещиков, до последней возможности цеплявшихся за свои родные гнезда и изгнанных оттуда порой прямым насилием. Если бы я сам не побывал в революционное время в Бегичеве — я, вероятно, лучше понял бы их чувства и привязанность до конца к их гибнущим усадьбам, но ощутив бегичевскую атмосферу времен керенщины, несмотря на то, что ничего трагического при мне не случилось, я, признаюсь, понимаю их гораздо хуже. Помню, как мы в Москве объединялись в этом чувстве с моим двоюродным братом Юрком Новосильцевым.

В Москве я встретил О. П. Герасимова, который только что вступил членом правления в «Земгорский» артиллерийский завод «Земгаубица» в Подольске. Меня тоже звали туда на схожее место.

Нельзя сказать, чтобы должность эта, и особенно в такие времена, меня очень привлекала, но с одной стороны — ничего другого, более подходящего, мне не представлялось, а с другой — я продолжал держаться принципа, проповедуемого дядей Гришей Трубецким: «не сдавать никаких позиций». Кроме того, состав правления «Земгаубицы» был приятный. Не строя иллюзий в отношении длительности моей службы — при Временном правительстве все было «временным»,— я сделался членом правления «Земгаубицы». Действительно, работа моя в правлении была очень кратковременна. Хотя мы — правление — и были представителями не «капиталистов», а общественной организации, все же через месяц-другой рабочий комитет завода выразил нам «недоверие» (в частности «товарищам-князьям, которые никогда товарищами нам не будут») и нам-таки пришлось «сдать позиции» революционному пролетариату. Плетью обуха не перешибешь!

Когда я был, правда мирно, но все же выперт из правления завода, Всероссийский Земский Союз, представителем которого я там являлся, назначил меня уполномоченным в финансовый отдел Главного Комитета, где я и пробыл до самого захвата ВЗС большевиками. Кстати, когда последние пришли захватывать кассу Союза, где было тогда, если не ошибаюсь, миллиона два

рублей, два большевика-интеллигента из состава служащих ВЗС очень настаивали, чтобы деньги из нашей кассы в кассу Совета рабочих депутатов были бы перевезены непременно в присутствии моего двоюродного брата гр. Юрия Олсуфьева и моем (мы оба состояли в финансовом отделе, заведовал которым Олсуфьев). Наши «зембольшевики» явно боялись того, что деньги иначе пропадут дорогой. Конечно, мы оба решительно отказались принимать участие в переносе насильственно забранных в нашей кассе денег. Выдать их мы были принуждены, «подчиняясь силе», но я должен сказать, что с нами при этом обошлись не грубо и даже (к нашему удивлению!) выдали по нашему требованию расписку в принятой сумме.

В Москве наша семья поселилась в доме моей тети, Софьи Александровны Петрово-Соловово (сестры моей матери) на Новинском бульваре, № 111, почти ровно напротив гагаринского дома. Постепенно обе наши семьи — Трубецкие и Соловые — собрались там полностью. Брат Саша должен был, как и многие хорошие офицеры, уйти из своего полка (лейб-гв. Конно-Гренадерского), где его положение после революции постепенно сделалось совершенно невыносимым. Он стремился снова попасть в армию, подумывая о казачьих частях, о которых говорили, что они менее разложены революционным духом, чем другие части. Папа был по этому поводу в переписке с Донским атаманом Калединым, с которым он был лично знаком. Помню длинное собственноручное письмо последнего, поразившее меня своим общим безнадежным пессимизмом. В частности, о Саше, Каледин говорил, что хорошие офицеры ему очень нужны, но при нынешнем настроении казаков, не-казачьих офицеров он использовать никак не может... Выражались надежды на будущее, но было ясно, что сам Каледин уже терял — или даже потерял — всякую надежду на спасение казачества и России. Когда я позднее узнал о самоубийстве Каледина, я вспомнил это письмо.

В ту пору мы в Москве еще были склонны строить иллюзии в отношении казачества, и я помню, какое грустное и отрезвляющее впечатление произвело тогда на меня письмо покойного и твердого Каледина на фоне этих московских «казачьих надежд».

Семья Соловых постепенно тоже собралась полностью. К тете Сонечке, жившей с дочерью Стазей, съехались из армии по той же причине, что и мой брат Саша, ее оба сына: Саша (артиллерист) и позднее Дима (лейб-гусар). Двумя семьями мы жили в большом особняке какой-то странной жизнью. Мы не могли все время не чувствовать, что мы живем на вулкане: под ногами постоянно колебалась почва и раздавался грозный гул. И однако — по крайней мере в первое время — мы жили еще во многом в старых

рамках жизни: «господами», с прислугой, поваром и т. п. Конечно, все это эволюционировало, уровень жизни быстро и неуклонно снижался. Первое время мы каким-то чудом получали обильные присылки мяса и живности из тамбовских имений тети Сонечки, потом на столе нашем появилась конина, и я, к великой радости Димы Соловово, шутил, что привычный доклад лакея: «Ваше сиятельство, лошади поданы», переменил свое значение… Скоро и конина сделалась редкостью, и за прекрасно сервированным столом, с хрусталем, серебром и тонким фарфором, мы стали сначала недоедать, а потом и просто голодать (это относится, впрочем, уже к большевицкому времени). Мы острили, что скоро от обедов и завтраков останется одна только сервировка, но шутки эти, в общем, были мало утешительны. Конечно, быстрая и резкая перемена стола и других сторон материальной жизни очень давала себя чувствовать. Мы, бесспорно, были все избалованы жизнью в этом отношении. Однако тревоги и заботы более высокого характера заставляли нас во многом забывать лишения материальной жизни. Особенно Папа, с его поразительной способностью к отвлечению, жил в каком-то другом плане. Он жил отчасти политическими надеждами, но, главное, он погрузился в интенсивную церковно-общественную жизнь. Избрание московского Митрополита, потом Всероссийский Поместный Церковный Собор, которым он был избран Товарищем Председателя от мирян, восста-/новление Патриаршества, которого он был горячим сторонником, работа в Патриаршем Совете, членом которого он был избран,—все это так всецело захватывало и занимало его, что он замечал наши голодные обеды и завтраки скорее с некоторым удивлением («почему не дают больше и лучше?»), чем с другим чувством.

Мама, при ее всегдашней непритязательности, легче всех переносила материальные лишения, но она мучилась за нас.

Все неуклонно шло к большевизму; никаких серьезных препятствий ему не было. Может быть, и то не наверное, остановить такое скольжение к социально-экономическому хаосу могла бы тогда только Германия. Кое-кто из русских на это рассчитывал, но было наивно на это надеяться, так как именно Германия способствовала распространению в России большевицкого яда и, самоуверенно полагая, что он ей самой не опасен, только и стремилась поглубже отравить этим ядом организм своего врага. Может быть, несколько позже, уже*после*большевицкого переворота в России и фактического прекращения русско-германской войны, надежды на радикальную перемену германской политики в этом отношении были несколько менее иллюзорны, и русским государственно-

мыслящим элементам не следовало пренебрегать и такой маловероятной возможностью. Поэтому попытки так называемого Правого Центра вступить в сношения по этому вопросу с германскими дипломатами мне тогда казались правильными. Особенно толкали на это Правый Центр, насколько помню, А. В. Кривошеин и отчасти Вл. И. Гурко (впрочем, несколько раз менявший свою точку зрения). Далее всех зашел в своих надеждах на возможное соглашение с Германией С. М. Леонтьев, фактически и начавший переговоры с советником Германского посольства в Москве. Переговоры эти, как известно, кончились полной неудачей. Мой отец и дядя Гриша Трубецкой мало надеялись на разумный поворот в германской политике, но считали, что нельзя пройти мимо, не испробовав и этого пути: утопающий хватается за соломинку. Я был с ними обоими совершенно согласен; помню мои ожесточенные споры по этому вопросу с О. П. Герасимовым, принципиально стоявшим на противоположной точке зрения. Должен сказать, что, насколько я знаю, никто из Правого Центра не стал тогда на пагубную позицию — идти с Германией во что бы то ни стало: члены этой группы признавали возможность в обоюдных интересах, ввиду трагического положения России,*договориться с*Германией, но не просто*подчиниться*ее политическому руководству. Такой ценой — безоговорочного падения в объятия Германии — Правый Центр, правильно, не считал возможным покупать даже серьезную помощь Германии для свержения большевизма. Не входя в детали, я пишу это, чтобы опровергнуть совершенно ложную точку зрения на политику Правого Центра, с которой мне не раз приходилось встречаться позже. Сам я в Правом Центре не состоял, но был в курсе дела.

Однако я забежал вперед. Возвращаюсь к самому большевицкому перевороту в Москве.

ОКТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

Когда наступили в Москве дни Октябрьского восстания, вряд ли у кого из противников большевиков были большие надежды на возможность их поражения. Конечно, многие еще могли надеяться на то, что большевикам не удастся захватить *всю* Россию (в частности, многие жили «казачьими иллюзиями», о которых я уже говорил выше), но при наличных антибольшевицких силах и тогдашних широких народных настроениях победа над большевиками в Москве была почти невероятна. Само это чувство обреченности у противников коммунистов немало способствовало их поражению.

Оба Саши—мой брат и Соловой (Димы тогда не было) как офицеры немедленно явились в Александровское военное училище и приняли участие в обороне города от большевиков. Несколько раз, в разное время, они заходили домой поесть или поспать.

Раз Саша привел к нам в дом только что арестованного им близ нашего дома солдата-большевика. Мы его обыскали и, отняв оружие (стреляная винтовка), заперли в одной из комнат. Потом мы передали его казачьей организации, находившейся в гагаринском доме. После победы большевиков его, разумеется, отпустили, и мы не без основания побаивались, как бы он не стал мстить нам, или, по крайней мере, не шантажировал бы нас. Но, слава Богу, все обошлось благополучно, хотя этот солдат, сам того не желая, напугал нас, несколько дней спустя вернувшись к нам... за забытым у нас гребешком. Арест его мог, конечно, кончиться для нас трагически: расстреливали за куда меньшие провинности. Однако, получив обратно свой обломанный гребешок и закусив с нашей прислугой, наш противник спокойно удалился и на этот раз, по счастью, окончательно.

Когда по приказу и. о. Командующего Московским военным округом, полк. Рябцева, сопротивление большевикам в Москве прекратилось, Саша Соловой немедленно вернулся домой, брат же Саша не вернулся... На следующий день утром я узнал от Коли Бобринского, бывшего одно время в числе защитников Центральной телефонной станции, что уцелевшие защитники ее были отведены в гостиницу «Дрезден» (на Скобелевской площади, близ дома генерал-губернатора). Центральная телефонная станция была одним из главных пунктов уличных боев.

Сообщив домой результаты моей разведки, я отправился в гостиницу «Дрезден». Как ни странно, мне удалось нанять

извозчика и по улицам, кое-где носившим следы только что прекратившихся боев, я отправился на Скобелевскую площадь.

У Никитских ворот, около полуразрушенного и еще горевшего дома, меня остановила большевицкая застава. Я заявил, что еду в «красный Штаб» (тогда он находился в доме генерал-губернатора), и просил пропустить меня туда хотя бы пешком. Застава вызвала «начальника», унтер-офицера, явно выраженного кавказского типа. Последний расспросил меня, зачем я еду в Штаб (я сказал про брата), и посмотрел мои документы. Я боялся, что мой титул повредит делу, но, возвратив паспорт, кавказец встал на подножку моего извозчика и приказал ему ехать. Конечно, без помощи моего неизвестного благодетеля я бы до Скобелевской площади не добрался, потому что по дороге нас не раз еще останавливали и только энергичное вмешательство моего грузина-большевика позволяло нам ехать дальше. Мне было непонятно, почему он мне помогает, и я собирался дать ему на прощанье хороший «начай».

Оставив извозчика ждать меня на Тверской около Скобелевской площади, я пешком перешел ее и вмешался в небольшую толпу, стоявшую у подъезда «Дрездена». Несмотря на мои усилия, попасть внутрь дома мне не удалось; меня отсылали в Штаб, а оттуда снова в «Дрезден»... Наконец мне сообщили, что «офицеров из телефонной станции» здесь нет и они направлены в Бутырскую тюрьму (это оказалось правдой). Списка арестованных не нашлось, или мне его не показали. Тогда я попытался на своем извозчике и все с тем же поджидавшим меня провожатым проехать в Бутырки, но туда меня не пропустили. Я решил ехать домой и потом добиваться пропуска в тюрьму.

Прощаясь со мною, мой кавказец категорически отказался от денег и сказал: «Вы — князь, а у меня тоже есть родственники князья...» Он назвался — Яшвили (от них идут обрусевшие князья Яшвиль). Так нежданно-негаданно большевик помог мне, потому что я... князь! Бывают же неожиданности в жизни.

Кстати скажу, что спустя долгое время после этого в какой-то советской газете я случайно натолкнулся на некролог «геройски погибшего в бою с колчаковскими бандами» комиссара тов. Яшвили. К некрологу был приложен портрет. Это был он — мой проводник и покровитель...

Дома у нас царило понятное волнение и тревога; Мама искала Сашу среди раненых по лазаретам, Папа сидел дома совершенно убитый и собирался идти в морг.

Мои попытки в этот день получить пропуск в Бутырки не увенчались успехом, и на следующее утро я собирался предпринять новые шаги. Вдруг вечером появился Саша,

отпущенный из тюрьмы со всеми уцелевшими защитниками телефонной станции. Он пережил много тяжелого: толпа чуть не разорвала их по пути следования в тюрьму, но Саша отдавал должное большевицкому караулу, их ведшему и с трудом отстоявшему их жизнь.

Хотя Саша и был отпущен из тюрьмы, мы совместно решили, что оставаться в Москве ему было совсем не безопасно и решено было, что он немедленно уедет в Сергиевское к Осоргиным (Калужская губерния и уезд), где большевики еще не захватили власти. Позднее я тоже поехал в Калугу, где сговорился встретиться с Сашей. Попал я туда как раз после захвата Калуги большевиками. Как я не был арестован во время этой прездки, остается мало понятным, но в памяти моей она осталась связанной скорее с комическими перипетиями. Вообще, в отношении арестов, или, скорее, их избегания, мне часто везло.

Я забыл, впрочем, упомянуть, что незадолго до этого я был все же задержан часа на два при довольно - комических обстоятельствах. Я шел как-то вечером на нелегальное собрание еще тогда существовавшего Союза земельных собственников, в особняк гр. Сологуб на Поварской, близ Кудрина (дом гр. Ростовых в «Войне и Мире»), Только я успел войти во двор перед домом, как мне приставили револьвер к груди со словами: «Руки вверх и расстегните пальто!» — «Я не могу сделать сразу и то и другое»,— ответил я.— «Не рассуждайте, гражданин, вы арестованы!» Обыскав, меня повели в большую переднюю дома, где уже сидело несколько человек. Мне дали стул и около меня встал мрачный а молчаливый солдат с винтовкой. Другие красноармейцы, под руководством мальчишки лет 16-ти увешанного пулеметными лентами, производили беспорядочный обыск помещения.

Вдруг в дверях появляется новый арестованный, человек средних лет, по-видимому, очень перепуганный.— «Господа, что же это такое?» — с ужасом обратился он ко всем нам.— «Картинки республиканского быта»,— ответил я. Тут мой сумрачный страж прервал молчание и, обратившись ко мне, внушительно произнес: «Вы, гражданин, насчет свободы личности не сомневайтесь».— «Я и не сомневаюсь»,— отвечал я.

По-видимому, моя реплика привлекла внимание начальства, то есть мальчишки с пулеметными лентами. Он немедленно потребовал меня к себе. Не спросив даже об имени и не проверив документов, мальчишка победоносно поставил мне вопрос: «Сознайтесь, гражданин, вы знали, куда шли?» — «Сознаюсь,— отвечал я,— я обыкновенно знаю, куда иду».

Мальчишка, видимо, ожидал от меня другого ответа и как-то

запнулся: «Ну, зачем же вы сюда шли?» — «Я хотел в канцелярии Союза ознакомиться с последними распоряжениями власти»,— отвечал я.

Мальчишка уж совсем был сбит с толку: «А вы говорили, что сознаетесь... Ну, это мы разберем. Следующего!» — крикнул он солдатам, а меня велел отвести «направо». Такой же дурацкий допрос других арестованных шел далее, и я заметил, что со мною, «Направо», направляются люди, почему-либо более подозрительные мальчишке, а «налево» — менее подозрительные. Среди последних я увидел, между прочим, приват-доцента Петухова, который меня окликнул и сделал шага два по направлению ко мне. Наши группы, «правая» и «левая», были довольно бесформенны и почти сливались друг с другом. Воспользовавшись этим, я, разговаривая с Петуховым, незаметными движениями старайся постепенно оторваться от моей «правой» группы и войти в «левую». Вдруг стража обратила внимание на то, что группы почти сливаются, и начала наводить порядок. Но я уже был в «левой» группе...

Скоро опрос задержанных окончился, и мальчишка приказал «правую» группу вести под арест, а «левую» отпустить на волю. Так я и выскочил из этой мышеловки, даже имя мое оказалось не записанным.

Некоторые знакомые, которые должны были быть на том же собрании, были своевременно предупреждены, что в доме засада. Таким образом, например, избежали ареста П. Б. Струве и Вл. И. Гурко, но, вообще, никто из арестованных на этот раз серьезно не пострадал, хотя иным и пришлось посидеть недельки две в тюрьме. Тогда это считалось пустяками.

Я уже говорил выше, что Папа, в качестве Товарища Председателя Всероссийского Поместного Церковного Собора, принимал в работах его самое деятельное участие. Два раза Лапа приходилось отправляться на заседания буквально под пулями (во время вооруженного восстания). При таких обстоятельствах произошло избрание, а потом интронизация Патриарха. Я присутствовал на этой внушительной и волнительной церковной церемонии в Успенском Соборе и, конечно, до гробовой доски не забуду ее. Великолепие и спокойная торжественность службы и крестного хода, в котором принимали участие многие десятки архиереев и сотни священников и иеромонахов, как-то особенно выделялись на фоне захваченной большевиками Москвы.

Ясно помню я и всенародный крестный ход к поруганным святыням кремлевским. Большевики не хотели разрешить этот грандиозный крестный ход изо всех московских церквей к стенам Кремля. Боялись крупного кровопролития, но большевики на этот

раз на него не решились.

Многие шли на этот крестный ход, готовые к мученичеству, иные специально для этого говели и причащались. Когда я представляю себе этот крестный ход, у меня перед глазами — взволнованно-одухотворенное лицо С. Д. Самарина, несшего большой крест перед крестным ходом из церкви Бориса и Глеба на Поварской. Ветер трепал его отросшую рыжую бороду, и он нес крест как-то особенно проникновенно и значительно...[1]

[1]Переписываю здесь часть письма кн. Евгения Николаевича Трубецкого, которого не было в руках моего мужа, когда он писал эти воспоминания. Это письмо замечательно иллюстрирует те настроения, о которых пишет мой муж. (Письмо было адресовано кн. Н. Г. Яшвиль в связи с расстрелом ее детей.) — М.Т.

«..Не даром льется теперь кровь мучеников, не даром мы теперь пьем чашу до дна. Верьте, великое теперь совершается над нами. Близко наблюдая ваше церковное движение, я не только верю — я знаю, что воскреснет Церковь, которую Христос стяжал кровью своею и кровью мучеников: такого светлого подъема я не видал за всю мою жизнь... Все, что Вы чувствуете, все, что чувствует вся Россия, олицетворяется для меня одним могучим впечатлением этих дней. Мы шли крестным ходом из Успенского Собора на Красную Площадь. Толпа, где были сотни и тысячи только что приобщившихся, ожидала расстрела и шла с пением «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...».А пройдя Спасские ворота и увидав площадь, полную десятками тысяч, в порыве неудержимой радости запела: «Христос воскресе...» Вот смысл всероссийской Голгофы! То, что мы видели на Красной Площади, — есть начало воскресенья России, а воскресенье не бывает без смерти...»

Вообще, на фоне государственной разрухи несомненно усилилась жизнь Церкви. Многие, в том числе Папа, строили на этом основании немало радужных надежд, главным образом церковных, но отчасти и политических. Последние я никак не мог разделять, а само «церковное возрождение» считал куда менее глубоким, чем это представлялось многим.

Немало праведников просияло на Руси в темные годы нашего лихолетья, но можно ли говорить о*возрождении*русской православной Церкви? Большевизм не мог, конечно, побороть Церковь, но сколько он внес в нее саму и в народную душу нового и тонкого яда!

Большевики потребовали от каждого прихода регистрационного заявления с подписью какого-то минимального числа «ответственных лиц» (помнится — 25 человек). И вот с*каким*трудом священники находили прихожан, согласных

подписать это могущее быть опасным исповедание веры!.. Я видел, как отказывались от подписи самые «богобоязненные столпы приходов», и... вспоминал Апостола Петра Но были, слава Богу, и последователи Апостола Фомы, который — он скептик! — призывал других, более верующих Апостолов и Учеников следовать за Христом в Его опасном пути в Иудею;

«Пойдем и мы, умрем с Ним» (Иоанн, 11, 16)...

После захвата власти в Москве большевиками мы, как и очень многие, решили всей семьей уезжать из нее в местности, где, как мы надеялись, зрели силы для отпора большевизму. Взоры наши особенно привлекал юг и особенно юго-восток России, на которые еще не наложили руки ни большевики, ни Германия. Мой брат ждал возможности попасть в антибольшевицкую армию, мы же с отцом, матерью и сестрой думали двинуться вместе.

Первая задержка была из-за Папа и его церковной деятельности: он пока не считал возможным уехать из Москвы из-за своей работы в Высшем Церковном Управлении. Однако мы заранее подготовили себе возможность проезда в Киев, откуда мы думали двинуться, смотря по обстоятельствам, на Дон, Кубань или Кавказ.

Внезапно, однако, положение Папа переменилось. Дело в том, что незадолго до того был выпущен из тюрьмы на его поруки бывший варшавский генерал-губернатор, а позднее Главнокомандующий Северо-Западным фронтом — генерал Жилинский (женатый на сестре дяди Миши Осоргина). Я. Г. Жилинский, проживавший где-то под Москвой, вдруг приехал к Папа и сказал ему, что он получил предупреждение из очень серьезного источника, что в ближайшее время он должен быть вновь арестован и жизни его грозит большая опасность. Спастись он может только бегством, но он не может на это решиться без разрешения Папа, как поручителя. На самом деле, не раз поручители своею жизнью отвечали за побеги взятых ими на поруки. Папа, понятно, не мог отказать Жилинскому, но это создавало необходимость спешно уехать и ему самому. Уже и без того положение Папа в Москве при большевиках было далеко не безопасное. Теперь угроза, нависающая над ним, еще значительно увеличилась.

Надо было действовать. Папа должен был, под вымышленной фамилией, бежать на Украину, где был в то время гетман Скоропадский, а потом далее. Саша должен был в ближайшее время перейти границу большевизации и явиться в Добровольческую армию; он не сделал этого раньше, так как начальство в московской Военной Организации убедило его, что он может быть полезнее здесь. Но теперь он разочаровался в

московских военных перспективах и решил, так или иначе, попасть в Добровольческую армию. Наконец, Мама с Соней, под своими именами, а я отдельно, под вымышленным, должны были тоже переехать на юг и там соединиться с Папа. (Забегая вперед, скажу, что отъезд Мама и Сони, а следовательно и мой, задержался из-за болезни Сони, а потом сделался совершенно невозможным, благодаря чему мы и остались в Москве.)

При помощи друзей мне удалось достать для Папа фальшивый большевицкий пропуск и подлинный украинский паспорт, на имя украинского гражданина Торленко. Была — в теории — подготовлена возможность перехода совето-украинской границы при помощи контрабандистов. К сожалению, эта часть подготовленного мною плана на практике оказалась неосуществимой, и моему отцу с ехавшим с ним одновременно молодым прапорщиком Габричевским пришлось переходить границу без всякой предварительной подготовки этого дела. По счастью, это им обоим удалось, но далеко не всегда так бывало; в частности, ген. Жилинский, переходивший финляндскую границу, пропал там без вести, и семья его даже не узнала, где именно и как он погиб;

Мы несколько изменили внешность Папа (иначе подстриженная борода), и я простился с ним—навеки — на Брянском вокзале. Так тяжело вспоминать это последнее прощание среди чужих людей и необычный облик Папа...

Через некоторое время из советских газет, под заголовком «Не стая воронов слеталась», мы узнали, что «несколько бывших членов Государственного Совета», и среди них, Папа, съехались на политическое совещание, помнится, в Одессе. Потом, разными путями и из разных мест, мы получили несколько писем от Папа. Первые были полны надеждами на скорое свидание с нами и на помощь «союзников» России. Потом письма стали дышать все большей тоской, тревогой и безнадежностью.

Помню, как я ехал на Брянский вокзал провожать Папа, на старом извозчике. Вдруг какой-то мальчишка выскочил из подворотни и запустил в лошадь камешком. Извозчик крикнул на него и потом, обернувшись ко мне, произнес: «Нет, барин, ежели всех нонешних ребят не извести, порядка в России не будет. Народ пошел анафемский...»

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАГОВОРЫ

После большевицкого переворота я потерял место во Всероссийском Земском Союзе. Вскоре О. П. Герасимов, имевший дела с норвежским Обществом Ганневика, уже некоторое время до того (при царском правительстве) начавшим хлопотать о большой концессии на севере России, предложил мне вступить в это дело.

Концессионеры рассчитывали, что советская власть продлится в России недолго, но боялись потерять свои хозяйственные позиции, если они не продолжат свои переговоры и изыскания и при большевиках. Ни Герасимову, ни мне в этих переговорах с советской властью, разумеется, участвовать не приходилось. «Великий Северный Путь» — так называлась проектировавшаяся концессия — было дело безусловно интересное в своем замысле и, так или иначе, идеи, легшие в основу этого проекта северной железнодорожной магистрали, связывающей европейскую Россию с Сибирью, думаю, будут когда-нибудь осуществлены на благо русского народного хозяйства[1].

[1]Нет сомнения, что когда автор писал эти строки (ок. 1945 г.), он никак не мог знать о ГУЛаговском строительстве железнодорожной магистрали Салехард — Игарка. На ней погибли десятки тысяч заключенных, но дорога была брошена недостроенной.*(Прим. ред.)*

Работа моя в этом деле, по выработке устава Общества, была недолгая, но довольно интересная. Некоторое время спустя представители концессионеров были арестованы и дело заглохло. Во всяком случае, я не могу пожаловаться на эту мою — первую — службу для заработка. Вторая моя служба, тоже недолгая и кончившаяся на этот раз моим собственным арестом, была в Московском Союзе Кооперативных Обществ (МОСКО), где я занимал весьма второстепенное место старшего делопроизводителя. На отношение к себе в «МОСКО» я тоже пожаловаться никак не могу, но это была первая в моей жизни служба безо всякого интереса и исключительно для заработка (очень скромного).

Если после большевицкой революции, лишившей всех нас состояния, я принужден был служить, так сказать, «для тела» (я должен был содержать мать и сестру), то «для души» я принимал участие в разных тайных политических делах и организациях. Через Папа я соприкасался с работой тайной

противобольшевицкой информационной организации, так называемой «Азбукой» В. В. Шульгина (лично познакомился с ним только в Берлине в 1921-1922 гг.). По поручениям Папа мне приходилось встречаться с французским генеральным консулом в Москве Гренаром. Папа и я были тогда очень неискушены в конспиративных делах, и мне до сих пор непонятно, почему ни он, ни я не были арестованы по этому делу большевиками. Правда, события происходили еще в то время, когда ВЧК сама была далеко не так прекрасно организована, как позднее.

Зимой 1918 года Миша Лопухин, игравший роль в тайной московской Военной Организации, связанной с нами, сообщил мне о готовившемся заговоре для освобождения Государя и его Семьи, находившихся тогда под арестом в Тобольске. Дело это было задумано и велось отдельно от существовавших тогда политических и военных организаций. Лопухин познакомил меня с присяжным поверенным В. С. Полянским, душою заговора. Последний произвел на меня крайне легкомысленное впечатление. Я не подозревал его в провокации, но очень боялся, чтобы он не погубил Государя, а также и участников заговора легкомысленной подготовкой. Кроме того, я как-то мало верил тому, что рассказывал Полянский о своих сношениях по этому вопросу с французским послом Нулансом и другими иностранными дипломатами.

Полянский был в Москве вообще неизвестен, но в революционные эпохи выдвигаются новые люди, и кроме того, в такие времена необходима некоторая доля политического авантюризма, вредного в нормальное время. Какие и у кого можно было наводить о нем подробные справки в такое время и по такому делу? Во всяком случае, Полянский, видимо, обладал некоторым шармом: например, он обворожил Мишу Лопухина, человека безусловно умного. Меня Полянский звал участвовать в заговоре «на первых ролях», не определяя, в чем состояла бы моя деятельность... Условием моего вхождения в организацию я поставил привлечение к делу, хотя бы только в виде советников, двух-трех крупных государственных или общественных деятелей, известных и Государю, и союзникам. К тому же,— говорил я и Полянскому, и Лопухину,— без известных имен мы не сможем получить достаточно денег, а если деньги — «нерв войны», то они тем более — «нерв заговоров». В данном случае, для безопасности Государя, мы должны особенно стараться свести действие силой до возможного минимума и больше основываться на подкупе (нам говорили, что подкупность большевицкой стражи Царской Семьи была уже проверена).

Я назвал несколько имен, из которых мы сошлись с

Полянским на А. В. Кривошеине и А. Д. Самарине. Я взялся переговорить с обоими, я их лично знал. Как тот, так и другой (я говорил с ними отдельно), отнеслись к заговору Полянского еще гораздо скептичнее меня. Кроме тех же сомнений, что и у меня, в серьезности постановки дела и в личности самого Полянского, Кривошеин в самом принципе был против попытки освобождения Государя путем заговора. Он почему-то считал положение Государя не столь безнадежным и поэтому не хотел идти на риск*какого бы то ни было заговора.* А. Д. Самарин еще осторожнее меня отнесся к данному заговору, участвовать в котором он решительно отказался, но, в принципе, был согласен со мною, что положение Государя чрезвычайно опасно и риск для Царской Семьи будет только расти.

Так мой проект дать заговору Полянского более серьезную базу — провалился, и Полянский с Лопухиным продолжали дело тем же совершенно кустарным способом, что и раньше. Мой брат (которому, под секретом, я рассказал о своих сношениях по этому делу) и четыре двоюродных брата: Владимир Трубецкой, Николай Лермонтов и двое Соловых, в качестве рядовых исполнителей, под начальством Миши Лопухина, с группой других участников дела (почти исключительно офицеров) в январе 1918 года поехали в Сибирь. Вся эта симпатичная, но абсолютно не серьезная, рискованная затея провалилась, к счастью без вреда для кого бы то ни было. Последнее — почти чудо. Мой брат Саша написал свои воспоминания об этом заговоре. Здесь на деле проявилась жертвенная готовность многих идти с закрытыми глазами на рискованное дело ради освобождения Государя, но раскрылась также преступно-легкомысленная организация такого ответственного дела. Полянский,*зная,* как все было подготовлено — вернее, неподготовлено,— не имел права рисковать жизнью участников заговора, веривших ему на слово и*обманутых* им, и, главное, не имел права рисковать жизнью Государя.

В. С. Полянский пропал с моего горизонта. Только приехав за границу, я услышал о нем весьма неблагоприятные отзывы; он, будто бы, сделался секретным агентом ГПУ. Никаких данных в этом отношении у меня лично нет, однако самый факт, что никто из участников заговора тогда не пострадал, говорит за то, что в то время Полянский агентом ВЧК не был. Мне приходилось слышать, что позднейший арест Миши Лопухина и его расстрел, будто бы, стоял в какой-то связи с его бывшей работой с Полянским. Насколько я знаю, это не верно: Лопухин и группа офицеров, с ним связанная, пали жертвой предательства по линии военной организации, в которой все они состояли. Произошло это, по всей вероятности, не без немецкого участия.

По некоторым данным, немцы в Москве, напавшие на след военной организации «союзнической» ориентации, выдали ее на расправу большевикам.

Не припомню точно времени моего вхождения в Национальный Центр, куда меня привлекли О. П. Герасимов и Д. Н. Шипов. Последний, впрочем, в это время принимал уже очень небольшое участие в деятельности Центра, но продолжал быть его казначеем Потом Шипов был арестован и скончался в тюрьме Тело его было выдано на руки его семье, и я был на его похоронах. Не помню, чтобы кто-нибудь так переменился в гробу, как Дмитрий Николаевич, которого я не видел только несколько месяцев. Я бы его не узнал.

Шипову очень повредила его закоренелая привычка к «общественной отчетности». Как мне передавали, у него при обыске нашли полную отчетность Национального Центра. Повредить эта отчетность могла только самому Шипову, так как он не мог, разумеется, объяснить, что она означает, все же статьи расхода и имена были обозначены условными словами.

Мы не раз просили Д. Н. Шипова не вести отчетности по хранившимся у него суммам, но он никак не мог на это решиться. Говорили, что именно находка этой «шифрованной отчетности» погубила Шипова: без этого он был бы отпущен из тюрьмы, где он вскоре заболел и умер.

Когда-то Жорж Кадудаль говорил сообщникам по заговору: «Когда мы победим, нам останется только умереть,— к нормальной жизни государства мы, конспираторы, не приспособлены!» Думаю, Кадудаль, по существу, был прав, однако лично мне пришлось наблюдать в жизни гораздо больше обратных случаев, когда люди, привыкшие к нормальной жизни государства, именно поэтому оказывались неприспособленными к роли заговорщиков или «подпольщиков». Таким был, например, прекраснейший человек и замечательный земец, Д. Н. Шипов. Мне лично, волей судеб, пришлось заниматься «конспирацией» довольно долго, я начал это делать еще будучи молодым; однако все же я чувствую себя куда более приспособленным к так называемой «нормальной» государственной деятельности, чем к «подпольщине ».

Группа Национального Центра в Москве в то время состояла почти поголовно из людей, только силой вещей принужденных заниматься конспирацией, но к ней совершенно неприспособленных. Это, понятно, не могло не отзываться на его работе.

Деятельность Национального Центра под большевицкой властью развивалась, главным образом, в двух направлениях: мы,

во-первых, держали связь с нашими политическими друзьями и с противобольшевицкими силами на окраинах России (Деникин, Колчак, Юденич), а также, спорадически, с «союзниками». Насколько мы могли, мы информировали антибольшевицкие силы по вопросам политическим, экономическим и даже военным. Во-вторых, мы держали контакт с разными противобольшевицкими организациями внутри Советской России. С остатками Правого Центра и Союза Возрождения России (в который входили антисоветские социалисты разных толков) Национальный Центр состоял в постоянном общении и для этого, ввиду обстоятельств, был даже создан так называемый Тактический Центр, в который входили по два представителя каждой из трех политических организаций. От Национального Центра туда входили Н. Н. Щепкин и О. П. Герасимов (когда Щепкин был арестован и потом расстрелян, заменил его я). В свою очередь, Тактический Центр выделил из себя Военную Комиссию из трех членов, куда входили от Правого Центра мой приятель С. М. Леонтьев, от Союза Возрождения — С. П. Мельгунов, а от Национального Центра — я. Тактический Центр и особенно Военная Комиссия постепенно сделались единственным органом всех трех политических организаций, работа которых все более замирала в условиях большевицкого террора. Последнее время, фактически, работа этой Военной Комиссии лежала на Леонтьеве и на мне.

Московская Военная Организация возглавлялась тогда генерал-лейтенантом Стоговым, позднее арестованным и удачно бежавшим из тюрьмы на юг. Его начальник штаба был в то время полковник Генерального штаба Ступин (позднее расстрелян).

Военная Организация, формально, стояла вне всяких политических объединений, но работала в тесном общении с нами. В частности, она финансировалась через наше посредство. Даже когда адмирал Колчак прислал на нужды Военной Организации два миллиона рублей (аннулированными в Сибири «керенками»), дошедшие до нас деньги были внесены не непосредственно Военной Организации, а шли через вашу кассу и выдавались военным постепенно, по мере их нужд.

Военная Организация объединяла и организовывала внутренние противобольшевицкие силы, а также добывала сведения военного характера, которые сообщались нами соответствующим антисоветским вооруженным силам (главным образом, «Юга России»). Кроме того, Военная Организация получала иногда задания наступающих на большевиков армий (например, порча сообщений в тылу Красной Армии и т. п.). Военная Организация подготавливала также план вооруженного

восстания в Москве, которое должно было вспыхнуть по указанию Вооруженных Сил Юга России, наступающих на Москву.

Некоторое время после взятия белыми Орла в 1919 году мы со дня на день ожидали этого приказа и так его и не дождались. При восставших в Москве военных силах должны были быть и представители гражданской власти. Согласно плану восстания я лично должен был принять в свое ведение, немедленно после их захвата и до передачи законным властям, Государственный Банк, Казначейство и другие учреждения, где могли находиться государственные ценности. Не могу, разумеется, сказать, насколько удачно могло бы быть наше московское восстание, но планы его были все же довольно разработаны. Настроение большевиков в Москве после Мамонтовского прорыва было почти паническое, что, конечно, увеличивало наши шансы. По нашему мнению, как нами и было сообщено в штаб генерала Деникина, шансы внезапного захвата Москвы были у нас в то время довольно значительные, но мы не могли рассчитывать удержать ее в своих руках, если бы Белая армия не прорвалась к нам в ближайшие дни. Самый факт восстания в Москве, по нашему мнению, немало облегчил бы задачу прорывающимся к ней белым частям.

Я думал, и продолжаю думать до сих пор, что если был ген. Кутепов после завладения Орлом, несмотря на опасное положение на фронте, собрав кулак, двинулся на Москву, где было бы поднято восстание, судьбы всей кампании, больше того, судьбы России могли бы принять совсем другой оборот.

Многих теперь обуял какой-то исторический фатализм, и они не допускают даже возможности «белой победы» в нашей гражданской войне. Невольно вспоминаются слова Ницше: «Историк — пророк навыворот...» Я не могу встать на эту фаталистическую точку зрения. Конечно, поражение белых не было чисто случайным и имело под собою много оснований, но все же оно было прежде всего *военным* поражением, и военный успех мог бы все перевернуть. Мы ясно видим теперь политические ошибки белых, но ведь и красные их немало тогда делали.» Политические ошибки, конечно, способствовали поражению белых, но нельзя все валить на эти ошибки. В 1943 году, незадолго до кончины П, Б. Струве, я был рад слышать из его уст точно такой же взгляд на этот вопрос. В Париже же я узнал от генерала Кутепова, что после взятия Орла у него было большое желание, наперекор директивам Ставки, нанести прямой удар по Москве; в его штабе были офицеры, увлекавшиеся этим планом (в частности, М. А. Критский). Кто знает, не были ли в этот момент в руках Кутепова ключи к победе?

Деятельность моя в то время была работой не политика, а конспиратора. В такой работе, без сомнения, имеются и привлекательные стороны, особенно для молодого человека. Однако я лично не был этим увлечен. В душе моей слишком мало авантюризма, необходимого в такие эпохи и для такой деятельности, а кроме того, как я уже говорил, я не особенно люблю само чувство риска, столь радующего сердце смельчаков. Конечно, некоторое приятное возбуждение этот ежечасный риск мне все же давал, но, думаю, я шел на него почти исключительно из чувства долга и «noblesse oblige». То, что мне не пришлось воевать на фронте, еще больше заставляло меня идти на личный риск в политической борьбе за Россию. Однако, вступив на этот путь, не могу сказать, чтобы я особенно страдал от чувства всегдашней опасности, подстерегающей отовсюду; к этому, если и не совсем, то все же как-то привыкаешь, как и ко всему на свете...

Я особенно ясно помню два случая — и они были не единственные! — где мне особенно везло, но которые могли окончиться для меня совсем иначе.

Один раз это было в начале успехов ген. Деникина. В одну прекрасную ночь наш дом был оцеплен красными курсантами (что-то вроде красных юнкеров) и чекистами. К нам в дом вошло, помнится, 18 человек, которые под руководством чекиста и представителя Совета рабочих депутатов нашего участка принялись производить обыск.

Обыск этот не относился лично ко мне, а был «повальным»: обыскивали всех жильцов нашего дома (мы были «уплотнены»). Искали, главным образом, оружие.

В то время я был в доме единственным мужчиной «недемократического» происхождения. К тому же я был секретарем нашего «домового комитета», председательницей которого была (вернее — числилась) старая горничная моей тети Соловой. Так или иначе, я привлек к себе самое пристальное внимание обыскивающих: мою комнату обыскивали тщательнее других и, кроме того, я должен был сопровождать обыскивающих всюду, давая им всяческие справки.

После вооруженного восстания (в октябре 1917 г.) мой брат и двоюродные братья Соловые спрятали в *вашем* доме много оружия (одних винтовок было с десяток). Часть этого оружия была скрыта под паркетом одной из комнат, а большая его часть, в том числе винтовки и револьверы, были очень поверхностно зарыты в земле, покрывавшей чердак дома (земля служила лишним изолирующим слоем от холода). В те времена за нахождение оружия кара была одна — расстрел.

И еще, как нарочно, вечером накануне обыска я получил и

дешифровал сношение из разведывательного отделения штаба Деникина (полк. Хартуляри), привезенное гонцом с юга. На следующий день я должен был передать это сношение дальше, а на ночь я спрятал его в стоячих часах, находившихся на этажерке около лестницы. Я помню, как накануне, пряча это сношение, я колебался между двумя обычными прятками. Во вторую, оставшуюся на этот раз пустой, залез рукой один из обыскивающих, часы же остались необысканными, хотя один курсант и взял их при мне в руки, посмотрел и... вновь поставил на место.

Обыскивали нас всю ночь, до утра, но, на наше счастье, паркетов не подымали. Была очень опасная минута, когда чекисты привели меня на чердак и потребовали лопату, чтобы разрыть землю. При этом главный чекист испытующе посмотрел мне в лицо: «Ничего тут, гражданин, не зарыто?» — «Я ничего не зарывал»,— отвечал я... К счастью, у обыскивающих не нашлось подходящих лопат, а той, которую они достали у дворника, служившей для разгребания снега, рыть на чердаке было очень неудобно; все же в двух-трех местах попробовали. Слава Богу, рыли в удачных местах и ничего не нашли.

Пока обыскивали чердак, меня сверлила мысль, что в случае нахождения оружия, которого, как я говорил, было порядочно, за него мог ответить жизнью не только я один, но также мать, сестра и тетя: подобные случаи бывали нередко...

Опасность поджидала меня, однако, там, где я ее совсем не ожидал...

Мою комнату, где я ничего компрометирующего не прятал, обыскивали особенно тщательно, даже стены простукивали, но ничего в ней, конечно, не нашли. Обыскивали ее несколько человек, в том числе оба начальника — представитель Совдепа и чекист. Обыск комнаты уже кончался и чекист перешел в следующую, как вдруг, неожиданно, из-под полки столика-этажерки, недавно поставленного в мою комнату, полетели на пол приколотые к нему снизу какие-то бумажки. По-видимому, их задели чем-то. Совдепщик как кошка бросился их поднимать и, осмотрев, предъявил мне: «Это что такое?» У меня захолонуло сердце, но наружного спокойствия я, слава Богу, не потерял. «Не знаю,— ответил я,— этот столик только недавно поставили мне в комнату, он стоял раньше в сарае, где хранится мебель. Что в него положили, я не знаю». Разумеется, я понимал всю безнадежную слабость моей отговорки.

Увидев бланки, я тотчас понял, в чем было дело. Бумажки были похищены из какой-то красноармейской части, подлинные и заранее снабженные печатью и подписью, командировочные

удостоверения. На бланках не было лишь проставлено имя командируемого. Мой брат и двоюродные братья, Соловые, получали эти удостоверения от своей военной организации и снабжали ими офицеров, пробирающихся в Добровольческую армию. Только позднее я узнал, что мой брат и Соловые прятали эти бланки, пришпиливая их под полку столика-этажерки, стоявшего тогда в гостиной нашего дома и занятой тогда известным анархистом кн. П. А. Кропоткиным и его семьей. Они правильно рассчитывали, что у Кропоткина обыска не будет. Уезжая из Москвы, они, никому ничего не сказав, оставили удостоверения в их прятке. Между тем, не помню точно почему, столик от Кропоткиных был вынесен и, не зная куда его деть, ему нашли место в моей комнате.

Я понимал, что нахождение у меня бланков означало расстрел; оставалось только надеяться на непредвиденный случай. Действительно, отчаиваться никогда не стоит!

Между тем совдепщик, как мне показалось, не без иронии на меня посмотрел и, аккуратно собрав все бланки, положил их в свой портфель.

Обыск продолжался. Отдельные обыскивающие что-то присваивали себе, в частности из очень редкой тогда провизии, но, в общем, краж было мало, а в наших интересах было их не замечать.

В конце концов мне дали подписать довольно безграмотный протокол обыска, в котором — далеко не полностью — были перечислены разные найденные у нас предметы, включая офицерские седла, бинокли и т. п. Это все у нас немедленно забрали. Я, разумеется, подписал протокол, не обращая внимания на то, что тут же чекисты уносили и вещи, не внесенные в опись, очевидно, в свою личную пользу. Меня несколько обрадовало то, что найденные и отобранные у меня бланки тоже не были внесены в опись. Еще более я радовался, что меня тут же не арестовали...

Часть вещей у нас увезли сразу после обыска. Но мне сказали, что за некоторыми другими вещами, в частности за несколькими ящиками севрских и саксонских сервизов, которые у нас нашли, пришлют грузовой автомобиль. На мой вопрос, почему у нас отнимают фарфор, я получил ответ: «Нельзя держать посуду в ящиках, когда она нужна трудящимся». При этом чекист, не без наивности, производил опись содержимого ящиков; столько-то блюд, чашей, тарелок и «кукол» (фарфоровых фигурок). После отъезда чекистов мы лихорадочно поспешили заменить в ящиках старинный и очень ценный фарфор более простыми чашками, тарелками и «куклами». В то время это было очень трудно

сделать, так как в магазинах ничего достать было невозможно. Все же нам удалось почти все вовремя заменить, и присланный грузовик увез «для трудящихся» более простую посуду. Но в конце концов остались в дураках все же мы: через некоторое время к нам было прислано из ВЧК несколько грузовиков и весь спасенный нами старинный фарфор вместе со старинной мебелью и разными вещами «бывших князей Трубецких» (так было сказано в ордере) был все же увезен в «дома трудящихся» и «детские столовые». Помню, как на грузовик грубо швырнули голландский шкапчик петровских времен и он развалился на куски. «Ничего, на дрова пойдет»,— говорили грузчики-чекисты. Может быть (и то только «может быть»), мне удалось спасти тогда один дивный севрский сервиз «уник». Я, как бы невзначай, сказал начальнику-чекисту, забиравшему наши вещи, что сервиз этот стоил не меньше 10000 рублей золотом. Чекист тут же приказал погрузить его вместо грузовика на свой легковой автомобиль. Я надеюсь, что чекист продал этот сервиз в свою пользу и тем способствовал сохранению этого предмета искусства от бесславного конца в «детской столовой». Но я забежал вперед и уклонился в сторону от рассказа про наш ночной обыск.

Прошел день, и я уже начал немного надеяться, что дело с отобранными у меня бланками прошло благополучно. Вдруг мне говорят, что пришел и спрашивает меня тот самый совдепщик, который был ночью на обыске. Мы жили тогда очень уплотненно, а к себе в комнату я его звать не хотел, поэтому я вышел к представителю Совдепа в коридор. Шел я к нему с беспокойным чувством, но был встречен любезной и даже какой-то робкой улыбкой. «Вы меня узнаете? Я хотел бы поговорить...» — «Пожалуйста, говорите»,— сказал я. Мой собеседник забегал глазами; «Тут как-то неудобно...» Я ввел его в ванную комнату и затворил двери. «Так Вы обыском довольны?» — каким-то странным голосом спросил совдепщик. «То есть как — доволен?» — недоумевающе переспросил я. «Да так, все по-хорошему было, а бланочки у меня остались... Я, знаете, человек семейный... жить тоже надо... Теперь вот наша сила, а потом, может статься, опять будет ваша... Так вот, я и того... На всякий случай, значит... Уж Вы, пожалуйста, запомните мою фамилию. Уткин я... Может, когда и поможете мне, если ваша сила будет... Не забудьте...»

Я совершенно не ожидал такого поворота дела, но как только, с первых слов, понял, куда гнет товарищ Уткин, я принял не просто уверенный, но даже несколько покровительственный тон, который его очень успокоил. «Не беспокойтесь, запомню! — сказал я многозначительно.— А за вашу услугу — благодарю».

Как обрадовался Уткин! Можно было думать, что услугу (и

еще какую!) оказал не он мне, а я—ему... Я протянул Уткину на прощание руку, и он с некоторым подобострастием пожал ее. Счастливая улыбка играла на его губах, когда он уходил из дома, — очевидно, Уткин чувствовал себя теперь застрахованным на обе стороны.

Гора спала с моих плеч, и было чему радоваться...

Человек, не знакомый с Тогдашними условиями жизни, может спросить: почему я не бежал немедленно после обыска, пользуясь тем, что не был тогда же немедленно арестован?

-Отвечу: если бы я тогда бежал, а история с отобранными у меня бланками так неожиданно не повернулась бы к моей выгоде, то вместо меня, почти наверное, были бы расстреляны моя мать и сестра. Я знаю ряд подобных случаев расплаты одних за других в то время по принципу круговой поруки, в данном случае семейной. Например, так погибла жена генерала Стогова, бежавшего из концентрационного лагеря. За время моей конспиративной работы на воле, а потом в тюрьме, мне не раз приходила мысль о бегстве для избежания грозной и, казалось, неминуемой опасности. Однако всякий раз меня останавливало опасение подвести родных или связанных со мною друзей под кару на основании круговой ответственности.

Другой случай поразительного спасения произошел со мной следующим образом.

Это было, если не ошибаюсь, в самом конце лета 1919 года. Мне надо было передать зашифрованную мною депешу для отсылки по назначению. За ней должен был зайти ко мне полковник С. В условленное время он не пришел, и оказалось, что он прошлой ночью был арестован. В ту ночь были вообще массовые аресты по нашей Военной организации. Как было заранее предусмотрено, в случае ареста С. я должен был передать то, что ему предназначалось, первому его заместителю, лично известному мне по Организации офицеру, но когда я пошел к нему, то по условленному внешнему знаку на его квартире я понял, что там — засада. (Потом оказалось, что и он арестован.) Мне, следовательно, нужно было обратиться ко второму заместителю полковника С., которого я лично не знал; мне было неизвестно также, имеются ли (и какие) условные знаки о неблагополучии на его квартире.

Кстати скажу, что такие условные знаки очень часто в нужную минуту не действовали по тем или иным причинам, а делавшие на квартире засаду чекисты, в свою очередь, принимали все меры к тому, чтобы после устройства в ней «мышеловки» внешне в квартире не было ни малейших изменений, например не совсем отдернутой занавески на каком-нибудь окне, или тому

подобного. Итак, мне уже очень повезло, что на квартире у первого заместителя арестованного полковника С. были явственно заметны условные знаки неблагополучия.

Признаюсь, после ареста С. и засады в квартире его первого заместителя мне было не очень приятно идти ко второму его заместителю, даже не зная условных сигналов на его квартире (пароль явки я, конечно, знал: иначе и идти не стоило бы). Однако прислушиваться к себе тут не приходилось, а надо было действовать. Я мог послать вместо себя одного офицера для связи, но сделать так в данном случае мне было бы стыдно.

Я заложил шифрованную депешу за ленту моего «канотье» и отправился по адресу второго заместителя С. Прятка депеши за ленту шляпы могла, конечно, помочь мне в случае поверхностного обыска, но, по нашему опыту, попавшегося в «серьезную» мышеловку обыскивали так тщательно, что скрыть даже малообъемистую вещь было очень трудно. У одного знакомого, попавшегося в «серьезную» засаду (то есть по серьезному делу), при обыске не только осмотрели и переломали все папиросы по одной, но и распороли все швы на его белье и одежде. Моя прятка в шляпе была для этого случая, разумеется, недостаточной, и я это сознавал.

Депеши через фронты мы обычно посылали в виде микрофотографий. Один наш техник как-то не то утоньшал, не то вовсе снимал прозрачную подкладку под чувствительным слоем фотографической пленки, что позволяло придавать ей совершенно минимальный объем. Несколько таких микрофотографий свободно прятались в папиросе, но, как я уже говорил, прятка эта оказалась ненадежной. Один наш курьер не раз благополучно проходил через фронт с такими микрофотографиями, запрятанными в его кожаном поясе. Пояс этот был цельный — не сшитый (иначе его могли бы распороть при обыске, такие случаи были), а в толще самой кожи бритвой делался надрез, куда и вставлялась микрофотография. Разрез с наружной стороны заклеивался и немного затирался грязью: заметить его было невозможно. Прятка была идеальная и, при гибкости утонченной пленки, совершенно незаметна на ощупь. Этот способ служил нам довольно долго, но раз смущенный курьер приехал к нам без донесения: его у него отобрали красноармейцы вместе с поясом, польстившись на последний и не подозревая его «контрреволюционного» содержания...

Итак, я шел на конспиративную квартиру в одном из переулков недалеко от Арбата. Квартира была на третьем этаже. Входя в подъезд дома, я совершенно машинально заметил у двери доску, где было указано, что на четвергом этаже живет доктор «по

внутренним болезням», кажется, «Чапиков». Эту доску с фамилией доктора я заметил тогда чисто случайно и без всякого обдуманного намерения ею при необходимости воспользоваться.

Я подымался по лестнице уже на третий этаж и, как сейчас помню, дверь квартиры, куда я шел, была от меня направо... Я был на середине пролета, и мне оставалось подняться всего несколько ступеней, потом я должен был звонить (или стучать) в дверь. Что меня там встретит: заместитель полковника С. или чекистская засада? Не первый и не последний раз испытал я это чувство перед дверьми конспиративной «явки», но на этот раз у меня было как-то особенно смутно на душе. Что это? — предчувствие? Вообще, я к этому не особенно склонен, но именно какое-то неясное, но тоскливое предчувствие тяготило мое сердце.

Еще несколько ступеней и через четверть минуты я бы уже стучал в дверь квартиры... Вдруг дверь эта сама отворяется и из нее навстречу мне выходят несколько человек в кожаных куртках — чекисты...

Должно быть, в эту самую минуту происходила у них смена караула на засаде в квартире.

К счастью, хладнокровие мне не изменило, и я продолжал, не замедляя и не ускоряя шага, подниматься по лестнице навстречу чекистам. Однако у старшего из них, видимо, зародилось подозрение. «Куда вы идете, гражданин?» — окликнул он меня. «К доктору Чапикову»,— ответил я, вдруг вспомнив провиденциально виденную мною внизу доску с фамилией доктора. «А где этот доктор проживает?» — «Этажом выше»,— отвечал я. Чекисты очень поверхностно обыскали меня, ощупав карманы (вероятно, в поисках оружия), но не задержали. Я уже начал подниматься выше, на четвертый этаж, когда у старшего чекиста вновь мелькнуло какое-то подозрение. «Пройди с гражданином наверх,— сказал он одному из своих подчиненных, — посмотри, живет ли там доктор?»

Один из чекистов пошел со мною.

В голове моей роем завертелись мысли: что я буду говорить, если доктора не окажется на квартире (очень многие тогда уже годами раньше уехали из Москвы, а доски-объявления на домах остались).

Однако все обошлось как нельзя лучше. Доктор оказался не только дома, но в это время были как раз его приемные часы. Мой чекист остался за дверью, а я, дождавшись своей очереди в ожидальной, пошел к доктору. Я пожаловался на свой желудок (совершенно здоровый) и после консультации, с рецептом в кармане, вышел из его квартиры. Сопровождавший меня до двери

чекист не остался ждать. Я был свободен!..

После этого пришлось мне еще дня два проносить под лентой канотье мою шифрованную депешу. Только тогда удалось нам восстановить порванные массивными арестами связи.

Позднее я узнал, что в засаду на квартире, куда я направлялся, попало два человека нашей Организации и один посторонний, по-видимому, ни во что не замешанный господин. Все трое, как мне передавали, были расстреляны, хотя ничего у них при обыске найдено не было. Стоит ли прибавлять, что расстрелян был и сам хозяин квартиры.

БОЛЬШЕВИЦКАЯ МОСКВА

Когда я переношусь мыслями в эту эпоху гражданской войны, в моей памяти с калейдоскопической быстротой сменяются разные картины. Прежде всего — общий фон тяжелых физических и моральных переживаний. -

Физических... Хроническое недоедание, доведенное до грани голода. Не помню, чтобы я в то время когда-либо был совсем сыт, даже немедленно после завтрака или обеда. Конечно, от голода я дома никогда не лишался сознания, как это случалось со мною позже в тюрьме ВЧК, но все же скажу откровенно, что длительное недоедание воспринималось тяжело. Тогда, разумеется, никто из нас никогда друг другу в этом не признавался, но теперь время прошло и можно открыто это сказать. Особенно тяжело было недоедание в холодное время, когда в моей комнате температура длительно держалась от двух до четырех градусов Реомюра. И то, слава Богу, что она у нас, хотя и подходила к нулю, все же никогда не спускалась ниже, как это бывало у очень многих.

При таком положении в Москве было, конечно, много смертей. Организм, истощенный голодом и холодом, не мог оказывать нормального сопротивления болезням, даже не серьезным. Меня скорее удивляла, однако, другое явление: проявилась невероятная жизненная цепкость многих людей, даже весьма пожилых и считавшихся раньше «болезненными». Сколько людей тогда голодали и холодали, и лечиться не могли, и все же как-то выживали. А были и случаи, когда иные бывшие больные даже поправлялись от своих старых недугов. Помню, как позднее удивлялись доктора, когда, нажив в тюрьме воспаление кишок и некоторое время проболев им, я все же поправился, при этом безо всякой диеты и при ужасной пище того времени, да еще тюремной.

Вообще, тяжелые лишения тогда переносились все же легче, чем можно было ожидать. Помню, как профессор Шилов, с которым я разговаривал на эту тему, кажется в 1919 году, говорил мне, что, «согласно научным данным», почти все население Советской России должно было *уже* вымереть. «К счастью, как видим, наука тоже иногда ошибается!» — прибавил он...

Чем только ни питались в то время и чего только ни делали, чтобы добыть себе пропитание!

Мне лично пришлось «мешочничать» только в ближайшем к Москве районе, и то не очень много, поэтому всех трудностей я не

испытал. А трудностей было много. Во-первых, надо было иметь, на что менять продукты. В деревне ничего за деньги нельзя было достать. Меняли все, что могли. Помню, как мне удалось выменять у мужика свой почти новый, сшитый у хорошего портного, сюртук на два пуда ржаной муки. Многие мне завидовали; находили, что я произвел выгодную мену. Большое туалетное зеркало Мама, в раме из литого серебра, пришлось отдать за два или три пуда пшена... Сколько наших вещей и вещей наших родных и знакомых перешло в руки известного мне мелкого подмосковного мельника, производившего такие мены! Рассказывали, что потом его арестовала местная ЧК и он принужден был (можно догадаться, какими методами!) открыть места» где он прятал выменянные им ценные вещи. Чтобы вывезти их, потребовались воза; столовое серебро, с гербами и шифрами, валили на телеги россыпью...

Трудность «мешочничанья» заключалась, однако, не в одной только мене. Если было трудно найти и выменять продукты, то очень нелегко было доставить их к себе в Москву. Я не говорю даже о трудности самого провоза по железной дороге, которую нельзя вообразить при нормальных условиях транспорта. Всего же труднее было провезти продукты незаметно от всяких «заградительных отрядов», безжалостно их отбиравших, а часто при том и арестовывавших самих мешочников. Сколько было драм на этой почве! Один мой знакомый, Лишин, для прокормления своей семьи поехал в Пензенскую губернию, где у него были местные связи, менять свои последние вещи. Он проездил что-то около двух недель в невероятно трудных условиях (дело было зимой). Несколько раз он удачно миновал «заградительные отряды», но под самой Москвой у него*все*отняли. Более того, он был арестован как «спекулянт», схватил в тюрьме тиф, от которого и умер. Подобные случаи были тогда те редкостью.

Кстати, о тифе и его распространителях — вшах, я припоминаю два случая из моих собственных мешочнических похождений.

Я ехал как-то зимой из Москвы в Измалково (бывшее Самаринское имение), чтобы, по соседству от него, получить какие-то продукты. Вдруг я заметил, как по моему полушубку ползет вошь. Мне было противно ее раздавить и, как мне казалось, незаметным щелчком я сбросил ее на пол вагона... «Вишь, вошь пущает, а еще образованный!» — с ненавистью прошипел около меня голос какого-то рабочего, заметившего мой жест. Искра упала на сухую солому! Весь вагон воспылал ненавистью ко мне. Много я наслушался тогда про «буржуазию»,

«классовых врагов», «вредителей» и тому подобного... Мне оставалось только молчать и стараться сохранять спокойствие. На следующей же остановке поезда, к счастью близкой, я поспешил выйти из этого вагона. Не найдя нигде места внутри товарных вагонов, остаток пути я проехал на открытой платформе, было очень холодно, но вокруг меня не бушевала «классовая вражда»...

Мне припоминается также другой случай. В Москве была объявлена так называемая «неделя чистоты». На улицах висели объявления и плакаты, вроде следующего:

«Под машинку волоса,
В баню чаще телеса,
Грязное белье в корыто,
Глядишь, вошь-то и убита!»

Всюду также шла деятельная устная пропаганда в таком же духе. Имелась в виду, главным образом, борьба со свирепствовавшим тифом.

Я ехал в товарном вагоне под Москву — мешочничать. В вашем вагоне оказалась агитаторша «недели чистоты», очень типичная интеллигентка-большевичка, курсистского вида. Она настойчиво заводила разговоры то с теми, то с другими соседями, и наконец ей удалось привлечь внимание всего вагона.

Она проповедовала необходимость борьбы со вшами — распространителями тифа. Делала она это, как мне казалось, проявляя большой агитационный опыт. Аудитория, однако, была настроена далеко не в ее пользу, и среди пассажиров нашего вагона выдвинулся решительный оппонент агитаторши «недели чистоты». Это был обросший густой черной щетиной солдат самого распущенного, дезертирского вида. «А между прочим, насчет воши вы все это неверно говорите! — уверенно заявил он. — Вот насчет тифу, к примеру, сказать... Тифа-то у нас прежде не было, а если и бывал он, то по самой малости, а вошь-то — она всегда была... Как же вы агитируете,**от**нее тиф идет. Это вы совсем не в точку заявляете, товарищ!»

Аргумент солдата имел большой успех в нашем вагоне: «Это он—верно», «ишь, как срезал!»—раздавались голоса с разных сторон.

«А отчего же*по-вашему*тиф, товарищ?» — ехидным топом перешла в контратаку агитаторша. Аудитория замерла в ожидании ответа. Наш дезертир презрительно прищурился: «Отчего тиф? — спрашиваете. От гнилого овощу! Вошь — всегда была, тифа, всякий знает, не было. А теперь народу жрать нечего, только овощь гнилую и лопаем,— вот он, тиф, и пошел. А вы все насчет вши! Жрать бы народу дали, вот бы и тифа не было... а то все с чистотой, да вшами талдычете; убирались бы с ними ко всем

чертям» (солдат выразился еще сильнее).

Весь вагон загудел, одобряя высказанные солдатом мысли, явно отдававшие душком контрреволюционности...

Агитаторша, видя свой полный неуспех, замолчала и на следующей остановке поезда покинула наш вагон. «Мною их таких таперича шатается: все только языком треплют, а народ мреть...» — произнес после ее ухода какой-то хозяйственный мужичок.

Я говорил выше о некоторых материальных лишениях (всех и не перечислишь!), но несмотря на всю их тяжесть, они как-то стушевывались на мрачном фоне моральной атмосферы того времени, порой — тупо гнетущей, порой остро трагической.

Моральный гнет — тупой и невыносимо тяжкий, чувствовался все время. То был и общий гнет, тяготевший надо всей Россией, и гнет — личный, относящийся к каждому особо.

Падение — почти гибель России! Эта сверлящая мысль и непосредственное ощущение все время невыносимо тяготили сознание.

Бывали, правда, минуты просвета: надежды, как молнии, прорезывали черные тучи отчаяния и вновь потухали... Спасибо им и за это! Без этих кратких вспышек надежды было бы еще тяжелее жить.

Поражение Германии и, в связи с этим, надежды на «союзников» на время окрылили нас, хотя холодный разум и подсказывал всю иллюзорность таких упований.

Потом надежды вспыхивали и угасали в зависимости от успехов и поражений белых армий на фронтах гражданской войны.

Сколько надежд было связано с наступлением адмирала Колчака, потом — еще больше — с победоносным продвижением генерала Деникина!

Многие буквально жили этими надеждами и чуть ли не ежедневно ожидали освобождения. Дядя Миша Осоргин, например, часто упрекал меня за скептицизм и признавался, что не раз раскат грома он принимал за орудийный выстрел — предвозвестник освобождения...

Не разделяя этих радостных иллюзий, которые в Москве бывали порой очень распространены, я все же твердо надеялся на конечный успех белого оружия и никогда не предавался мрачному отчаянию, к которому, с течением времени, склонялись люди все более и более. Никогда тоже искушение «благовидного» соглашательства с большевизмом — «эволюционистов», а позже «сменовеховцев» — не касалось моей души.

Если мы, москвичи, отгороженные ото всего мира советской

стеной в политическом и военном отношении, вообще очень мало что знали из внешнего мира, то мое личное положение как члена конспиративного политического центра было в этом отношении все же несколько лучше. Я уже говорил выше, что мы непосредственно получали кое-какую информацию из внешнего мира от борющихся против большевизма сил.

Помню, какое сильное впечатление произвел на меня рассказ морского офицера, старшего лейтенанта А., командированного к нам с поручением адмирала Колчака, еще в начале своего (тогда еще удачного) наступления. Закончив официальную часть своего доклада, А., оставшись в тесной компании лично знакомых ему людей, рассказал нам о своих переживаниях в Сибири. Видя то, что там творится, и учитывая всю нашу слабость, говорил А., я никак не мог надеяться на наш успех в наступлении на Москву... Благоприятно развивающееся наступление наших армий было для меня полной и приятной неожиданностью. Когда, переходя фронт, я проходил по нашим тылам и обгонял наши части в их быстром наступлении, я все еще не мог поверить, чтобы мы могли победить. Наша армия только скелет, который, я думал, развалится от первого, даже легкого удара... И вот только теперь, перейдя красный фронт, пройдя по красным тылам, увидев собственными глазами Красную армию и выслушав все, что вы говорите мне про внутреннюю организационную слабость, только теперь я понял, что Красная армия тоже только скелет, и только теперь я начал надеяться на нашу победу. Нашему белому скелету, по счастливой случайности, удалось нанести удар красному скелету, который теперь начал рассыпаться. Слава Богу, что так случилось, потому что, если бы красный скелет нанес бы нам даже слабый удар, развалились бы мы...

Этот рассказ А. глубоко запал мне в душу. Позднейший решительный перелом в победоносном наступлении Колчака, и головокружительные быстрые его неуспехи, и конечное поражение — все это так хорошо объяснялось из рассказов А.

Красному скелету удалось нанести удар — объективно говоря, очень слабый удар — белому скелету, и тот рассыпался... Образ этот, в общем, подходит икнаступлению и поражению ген. Деникина.

Со времени, когда я услышал рассказ А., я стал судить об успехах и поражениях белых армий именно с этой точки зрения. От всей души я хотел верить в основательность успехов ген. Деникина, но невольно перед моим умственным взором вставал образ двух борющихся скелетов, скелетов безо всякой устойчивости. Элемент случайности, который до некоторой степени присутствует во всякой войне, получал в нашей

гражданской войне сравнительно большое значение. Опасение непрочности успехов белых армий не раз отравляло мне радость побед.

Тяжелы были наши чувства и переживания, связанные с судьбой борьбы на фронте, и вообще с судьбами России, но тяжесть моральной атмосферы, нас окружавшей, далеко не сводилась к ним.

В ту эпоху было много светлых явлений русского духа: преданности воле Божьей, благородства, самопожертвования, храбрости, но, в общем, нельзя не признать, что это была эпоха*морального разложения.*

Атмосфера гражданской войны и классовой ненависти все отравляла. При этом война — самая жестокая, беспощадная и подлая — шла всюду. Постепенно ряды сражающихся все более смешивались: измена и предательство, в самых разнообразных формах, как ужасные язвы, разъедали обе стороны. Конечно, я больше знал и больше болел тем, что происходило у белых, но и у красных моральное разложение зашло очень далеко: вся нация была отравлена, и яд проникал всюду.

Сколько ужасных картин и воспоминаний проносятся передо мною! Вот молодой гвардейский офицер, носитель одной из лучших фамилий России, сделавшийся секретным агентом ЧК... Вот другой офицер, предавший своих товарищей большевикам, потом заманенный в ловушку своими старыми друзьями и убитый там своим родственником — тоже офицером, мстившим за преданных на смерть товарищей... Вот молодая девушка, хорошей семьи, изнасилованная в тюрьме чекистом и потом сделавшаяся развратной комиссаршей-садисткой... Многое, многое приходит на память, о чем и вспоминать не хочется! Какой грязной вонючей тиной ложилось все это на душу...

Мой друг, Сережа Мансуров, в наши студенческие годы говорил про меня, что я — «человек до Достоевского». Действительно, при полном признании гениальности Достоевского, у меня с юности было органическое отталкивание от «достоевщины», столь близкой многим русским людям. А тут мне пришлось жить в такой «достоевщине», что иной раз, пожалуй, и сам Достоевский от нее содрогнулся бы. Для меня лично это было, подчас, просто пыткой.

На фоне всего этого — сколько забот и тревог личного характера: за своих близких и за самого себя... Анализируя тогдашние мои настроения, скажу, что к самой смерти — расстрелу — я относился сравнительно хладнокровно, но я не мог бестрепетно относиться к возможности мучений. Пытки тогда входили в практику ЧК.

По многим и разным основаниям мое положение в Москве при большевиках не могло быть совершенно легальным: я всегда был на границе легального и нелегального положения. В частности, в отношении воинской повинности мое положение при советской власти сделалось совершенно нелегальным. С началом гражданской войны все мужчины призывного возраста должны были пройти через новое переосвидетельствование «красных» комиссий. Медицинские нормы остались прежние, и, казалось, я ничем не рисковал, идя на переосвидетельствование. Однако мне невыносимо претило идти на призыв в Красную армию, даже если бы я был уверен, что меня признают там негодным к службе. На самом деле я совсем не мог быть в этом уверен, и печальный опыт многих людей «буржуазного происхождения» это достаточно подтверждал. Некоторые совершенно негодные к военной службе люди этой злосчастной категории были все же призваны в Красную армию и назначены там на нестроевые должности, где их подвергали всяческим издевательствам и гонениям. Поэтому, хотя уклоняющимся от переосвидетельствований и угрожал тогда расстрел, я от них систематически уклонялся. Несколько раз мне грозили неприятности, так как по улицам и по домам то и дело ходили специальные патрули, проверявшие документы мужчин призывного возраста. Но мне сравнительно легко удавалось избегать этих проверок. В то время по всей России было так много всяческих дезертиров, что излавливать их было очень трудно.

Однако наступили критические дни наступления па Петербург армии генерала Юденича. В связи с этим у нас в Москве была объявлена новая мобилизация и общая проверка всех по той или иной причине не призванных до сих пор мужчин призывного возраста. Все люди в моем положении должны были явиться — разумеется, под страхом расстрела — в соответствующие Контрольные комиссии. Я бы, понятно, опять уклонился, но на этот раз ответственными за явку проверяемых были объявлены домовые комитеты. Я не мог подводить нашего председателя (кооператора, жившего в нашем доме «по уплотнению»), да если бы и захотел это сделать, вряд ли бы смог: на меня бы донесли. В частности, наш дворник все более и более большевизировался.

Итак, мне надо было идти в Контрольную комиссию. Но как это сделать, если я уже больше года был «злостным уклоняющимся», приравненным к дезертирам? Я стал искать фальшивые документы, но ничего мало-мальски приличного не смог достать. С такой «липой» в комиссию лучше было не соваться. Тогда я решился, по старой памяти, отправиться в Университет, где получил подлинное, но в сущности ничего не

значащее удостоверение о том, что в 1912 году (то есть уже 6 лет тому назад!) я состоял «оставленным при Университете для подготовки к ученому званию». Оставленные при Университете в Красную армию, как и в нашу старую армию, не призывались. Впрочем, ко мне все это не могло относиться, так как уже несколько лет «оставленным при Университете» я не числился.

Кроме этого документа я раздобыл огромный лист, на котором было указано, кто именно не подлежит призыву в Красную армию и на каких основаниях. С этими двумя, конечно совершенно неподходящими, документами я в указанный день отправился в Контрольную комиссию.

Часа три прождав в огромном хвосте, стоявшем на улице, я наконец попал в здание, где работала комиссия. Надо было проходить там через несколько столов. Все шло для меня благополучно: при огромном числе проверяемых и большой спешке ничего точно разобрать было нельзя. Но вдруг у главного стола ко мне придрался какой-то «красный» военный чиновник, представитель Военного комиссариата: «Почему же вы еще не призваны в Красную армию, гражданин? У вас должен быть об этом документ, а то вы — злостный уклоняющийся. Я принужден буду вас арестовать и препроводить в Военный комиссариат». Я начал применять заранее обдуманную тактику и на листе с категориями освобождаемых от призыва указывал разные разряды «научных работников». «Декретами за такими-то номерами, от таких-то чисел,— говорил я с расстановкой,— как видите, освобождаются от призыва научные работники, к числу которых принадлежу и я. Тут перечислены оставленные при Университете для подготовки к ученому званию прозектора, лаборанты, препараторы и другие». Я особенно подчеркивал голосом непонятные большевику иностранные слова. Я надеялся таким образом попросту заговорить ему зубы и рассчитывал, что он не обратит внимания на то, что, в сущности, я только был, а не состою еще и теперь в категории, подлежащей освобождению.

Однако на этом пути я не добился успеха. Комиссар, правда, был несколько сбит с толка и, благодаря этому, не заметил никчемности моего университетского удостоверения, но полностью в своей правоте я его все же не убедил. Он все продолжал твердить: «Но почему же у вас нет документа об освобождении от призыва? Нет, надо вас отослать в Военный комиссариат». Я же, все больше и больше напирая на «ученые слова», производившие на него видимое впечатление, доказывал ему, что именно *он* должен выдать мне такой документ. Прав, разумеется, был он, а не я.

Дело затягивалось, и я чувствовал, что оно поворачивается

не в мою пользу. Отсылка в Военный комиссариат была бы для меня трагична.

Вдруг из стоявшего за мною хвоста ждавших свою очередь и задержанных объяснениями со мною представителя Военного комиссариата выскочил типичный солдат-большевик, по самые глаза заросший колючей щетиной, в растерзанной шинели и бесформенной грязной папахе. «Да чего тут еще валандаться и народ задерживать!» — закричал он, уснащая свои слова непечатными выражениями...

Я подумал, что рыжий солдат наносит мне последний удар и требует моего немедленного ареста... Наоборот, он оказался моим неожиданным защитником!..

«Вот полчаса тебе ученый человек дело объясняет,— кричал солдат комиссару,— а ты все не понимаешь! Небось, его бы на твое место посадить, он бы сразу понял,—ученый, сразу видать! А ты ни черта не понимаешь. Только народ задерживаешь. Почему ты сам не на фронте? Ишь, морду-то отъел, такой-сякой!»

«Прошу не агитировать, товарищ! — тщетно пытался прервать крики солдата комиссар— у тебя на то полных нравов нет».

Но тот не унимался и кричал все яростнее: «Что вы тут, такие-сякие, путаете! Не с такой мордой с портфелем ходить! Мы кровь бессменно проливаем... Всех бы вас на фронт и к...»

«Прекрати немедленно. Не смеешь так агитировать!» — без особой уверенности в голосе кричал ему все то же в ответ тыловой большевик. Он был, видимо, смущен и, чтобы скорее ликвидировать этот неприятный для него инцидент, быстро написал и сунул мне в руку какую-то бумагу: «Можете идти, гражданин».

Я взглянул на удостоверение в моих руках. Там было прописано, что я «освобожден как незаменимый сотрудник». Какой и какого учреждения «незаменимый сотрудник» — в удостоверении не говорилось. Документ этот, снабженный заранее подписями и печатями Военного комиссариата и Контрольной комиссии, служил мне после этого верой и правдой до самого моего ареста и никогда и ни в ком не возбуждал сомнения. Когда я вспоминаю это тяжелое время, моя мысль всегда останавливается, с чувством душевной отрады и сердечной благодарности, на маленьком светлом оазисе в этой мрачной пустыне. Я говорю об уютном уголке моей двоюродной сестры, Маши Авиновой (старшей дочери тети Машеньки Новосильцевой). Как могла она в советских условиях, в чужом доме и в большой тесноте, все же сохранить вокруг себя милый старый уют и даже следы элегантности бывшей жизни — это ее

секрет и одна из сторон ее шарма...

Милая Маша! Как я лично—и столь многие другие! — отдыхал в атмосфере ее искристой, бьющей ключом жизненности и в окружавшей ее красивой и уютной обстановке, созданной ею и носившей яркий отпечаток ее личности. Я не знаю другого места, где бы я так отходил душой от грязи, грубости и уродства советской жизни.

Не знаю, сознает ли Маша, как много она дала мне тогда...

С благодарностью вспоминаю также и другое место в Москве, где я иногда отдыхал душевно в те времена.

Долгий период времени каждую среду я ходил к Толстым, на их очень немноголюдные, музыкально-вокальные вечера. Гр. Сергей Львович (старший сын Льва Николаевича) был прекрасным пианистом и обладал тонким музыкальным чувством. Этого, конечно, нельзя было угадать по его внешности. Толстой идеально аккомпанировал А. Л. Ниловой (жене ген. Нилова), которая пела нам русские романсы и мои любимые песни Шуберта и Шумана. Голос у Ниловой был небольшой, но очень приятный. Мне приходилось слышать и лучшее исполнение этих песен, но никогда, ни раньше, ни позже, они не производили на меня того захватывающего впечатления, как тогда.

А. Л. Нилова скончалась в 1930 г. недалеко от Парижа и похоронена на Кламарском кладбище. Когда я хожу туда на наши родные могилы, я стараюсь заходить и на ее такую одинокую и заброшенную могилку...

С чувством сердечной благодарности вспоминаю я бедную Анну Львовну. Так и слышится мне всегдашняя нотка тоски в ее грудном голосе...

АРЕСТ. ТЮРЬМА

Научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод,
быть и в обилии и в недостатке.
(Филип. 4, 12.)

В двадцатых числах января 1920 г. я был арестован. События, приведшие к моему аресту, развивались следующим образом. Значительно ранее (не помню точно — когда) по нашей линии сношений с Петербургом И.Финляндией—линии, за последнее время очень заброшенной,— пришла к нам в Москву неизвестная нам курьерша, женщина-врач Петровская. Она, по ее словам, работала раньше по связи нашей петербургской организации с армией генерала Юденича, а теперь перешла к английскому «Интеллидженс Сервис», работавшему, как говорила Петровская, в самом тесном контакте с русскими противобольшевицкими силами в Прибалтике и Финляндии. Последние, по ее словам, передали англичанам нашу линию связи. Этой линией ведал у нас С. М. Леонтьев, а его помощником в этом деле был Н. Н. Виноградский. По нашему предварительному сговору в организации, в случае провала их обоих, связь эта должна была перейти в мои руки, причем я должен был выступать там под именем Сергея Павловича. Эти организационные подробности имели потом значение в моем аресте и в следствии по нашему делу.

Когда Леонтьев сообщил нам, что по линии нашей «юденичской» связи к нам неожиданно прибыл английский агент, мы были этим очень недовольны и обеспокоены. Такая передача наших связей с их условными явками, паролями и т. п. в чьи-либо — тем более иностранные — руки, без нашего предварительного согласия, была, по меньшей мере, некорректна. Более того, она могла быть для нас очень опасна. Первое время мы весьма опасались, не с ВЧК ли имеем дело в лице неизвестной нам курьерши.

Однако, так или иначе, дело было сделано, и Леонтьев с Виноградским были под возможными ударами ВЧК. Мы решили, что, кроме них, никто другой из наших организаций — военной и гражданской — в связь с «англичанами» вступать не будет, хотя познакомившийся с Леонтьевым начальник английской разведывательной организации в России Поль Дьюкс, по-видимому, искал расширения своих связей с нами. Скоро мы убедились, что имеем дело с настоящими англичанами, а не с

ВЧК. Это, конечно, пас немало успокоило, но и с «Интеллидженс Сервис» мы совершенно не стремились углублять наши отношения. С. М. Леонтьев, которому Петровская с первого взгляда не особенно понравилась, спрашивал насчет нее Поля Дьюкса, но тот дал о ней самый хороший отзыв, как в смысле ее надежности, так ц осторожности и опытности.

Через некоторое время после этого последовал крупный провал нашей петербургской группы, была арестована и Петровская. Тогда же был арестован один офицер— PL, которого она любила. То ли для того, чтобы спасти его (что, будто бы, было обещано ей ВЧК), то ли для собственного спасения, Петровская выдала Чека все, что знала, и в том числе Леонтьева и Виноградского — «представителей московских организаций». Назвала она и «Сергея Павловича» (меня), которого она, однако, никогда не видала и знала только под этим конспиративным именем. Больше никого из московских контрреволюционных организаций Петровская назвать не могла. По-видимому, ЧК подозревала, что Петровская что-то скрывает, но относительно Москвы я могу сказать с уверенностью, что от своих новых господ она ничего не утаила.

Как потом выяснилось, Леонтьев и Виноградский были арестованы не сразу же после выдачи их Петровской. Очевидно, ЧК немедленно взяла их под наблюдение в надежде открыть их конспиративные связи. Но это Ч К не удалось. Я приписываю это не столько пашей осторожности, сколько тому, что в то время (конец 1919-го) наша деятельность, под влиянием решительных поражений на всех белых фронтах, почти замерла,

Ничего не открыв путем слежки за Леонтьевым и Виноградским, ВЧК решила их арестовать. На допросах и очных ставках с привезенной в Москву Петровской их связь с английской разведкой была установлена. Несмотря на угрозы и посулы, Леонтьев, конечно, не выдал никого, Виноградский же для спасения своей жизни стал выдавать все, что он знал. Он пошел даже дальше простого предательства и, сидя в тюрьме ВЧК, сделался их секретным агентом, так называемой «наседкой». Согласно получаемым им заданиям, он выспрашивал у заключенных, к которым его подсаживали и которые считали его «своим», разные нужные ВЧК сведения и немедленно обо всем доносил, в том числе и о подслушанных в камере разговорах заключенных между собой. Меня лично Виноградский не только выдал ВЧК, но затем вел со мною в тюремной камере провокационные разговоры и доносил следователю добытые от меня сведения.

Ник. Ник. Виноградский был ярким представителем ни перед

чем не останавливающихся предателей, которые, на почве морального разложения той эпохи и под устрашающим воздействием ЧК, готовы были на все, чтобы только спасти свое собственное существование. Предатели эти распадались на две основные категории. Одни постепенно и более или менее медленно погружались в затягивающее болото измены, вначале стараясь выдавать не всех и не все, а как бы упираясь перед каждой новой ступенью падения. Другие же, раз решившись на предательство, уже безо всякой задержки сразу прыгали в болото и уходили в него с головой. Виноградский принадлежал ко второй — может быть более умной, но во всяком случае худшей — категории. В прошлом он кончил Пажеский корпус, недолго был офицером в Преображенском полку, затем был Предводителем дворянства (по назначению) где-то в Западном крае, наконец, революция застала его «чиновником 5-го класса для особых поручений при Министерстве Внутренних Дел». Административную карьеру Виноградский делал довольно быстро и заслуженно. Он был обязан этим своему живому уму и большой работоспособности. Он был человек общительный и пользовался симпатиями в разнообразных кругах благодаря своему умению быть приятным, полезным и интересным. Я его знал довольно мало, но несколько близких мне людей не только ценили Виноградского, но — более того — даже любили. Мой приятель Д. М. Щепкин и Ника Авинов (муж моей двоюродной сестры Маши Новосильцевой), например, настолько высоко его ставили, что впоследствии, против очевидности, не хотели верить его предательству. Когда летом 1920 г. я смог из Бутырской тюрьмы секретно сообщить Нике, что Виноградский—предатель и стал агентом ВЧК, он счел, что я в тюрьме заболел «шпиономанией», и продолжал общаться с Виноградским и принимать его у себя дома. Только потом, на нашем суде, наконец убедившись в предательстве Виноградского, Ника не подал ему руки. Д. М. Щепкин, человек женственно-нежной души, чуть не заболел от разочарования, убедившись в гнусной роли Виноградского в нашем деле. Между прочим, Щепкин, который считал Виноградского своим другом, сам был им предан. При этом, как потом выяснилось, Виноградский рассчитывал, что Щепкин, я и некоторые другие преданные им люди будут без суда расстреляны в ЧК (это было ему обещано) и поэтому некому будет вскрыть его измену...

Но я забежал вперед. Возвращаюсь к своему рассказу.

Попав под арест и увидав опасность (в ЧК ему, конечно, как и другим, грозили расстрелом), Виноградский решил спасти себя, топя всех остальных. Выдать он мог первоначально не очень

много, так как был лишь помощником Леонтьева в*некоторых*(не всех) конспиративных делах, но не состоял членом ни политической, ни военной организации. Сравнительно мало что зная точно, Виноградский, однако, о многом догадывался, так как был близок к Щепкину и Леонгьеву и знаком со многими членами «Правого» и «Национального» центров. Именно поэтому предательство Виноградского сразу осложнилось для пего необходимостью играть роль секретного агента ЧК. Он предавал многих как бы на ощупь, но, благодаря своему уму и наблюдательности, он очень часто догадывался правильно. Потом ему приходилось, уже сидя в тюремной камере с преданным им человеком, путем разговоров и наводящих вопросов выуживать из него то, чего он не знал и о чем только догадывался. Кроме того, следователь ЧК, давая ему задания выведать что-либо, помогал ему, сообщая разные данные, добытые из других источников. Таким образом, Виноградский в разговорах с заключенными мог производить впечатление, что он был гораздо более в курсе политических и конспиративных дел, чем это было в действительности.

Обо мне лично Виноградский точно даже не знал, что я состою в нашей организации и тем более — что я там делаю, но он имел правильное ощущение, что я постоянно вижусь с С. М. Леонтьевым не только в качестве знакомого, но и по каким-то конспиративным делам; более того, он правильно догадывался, что тот «Сергей Павлович», который в случае провала их с Леонтьевым по «юденичской» линии должен их заменить, был именно я. Все это он донес ВЧК и именно это привело к моему аресту, как и к разновременным арестам многих моих друзей и сотоварищей по работе. В частности, незадолго до меня был арестован Д. М. Щепкин и О. П. Герасимов, выданные тем же Виноградским. Про своего «друга» Щепкина Виноградский знал порядочно, про Герасимова же, как и про меня, больше догадывался, чем знал.

Арестован я был ночью. Помню, как незадолго до этого я болел легким желудочным заболеванием, при котором, однако, чувствовал себя отвратительно. Я тогда молился, чтобы в случае моего ареста я был арестован в здоровом состоянии... Эта моя молитва была, видно, услышана: когда меня арестовали, я был совершенно здоров.

Я проснулся, когда чекисты были уже в моей комнате с наведенными на меня пистолетами. Их начальник прямо от двери кошкой бросился ко мне и как будто обнял меня в постели. Сделал он это, чтобы не дать мне возможности стрелять, если бы у меня было оружие на ночном столе или под подушкой. Но

револьвера у меня не было, чекист отошел на шаг назад и приказал мне немедленно встать: «Гражданин, вы арестованы!» Еще дежа в постели, я попросил его предъявить мне ордер на арест, который и был немедленно предъявлен. Я увидел, что ордер исходит от Особого Отдела ВЧК, то есть военного ее отдела. Я не мог обольщать себя обманчивыми надеждами. Дело было явно серьезное...

В моей комнате произвели довольно поверхностный обыск. Комнату моей матери и сестры не обыскивали вовсе. Председателем нашего домового комитета был в то время интеллигент-кооператор, по тогдашней терминологии «уплотнивший» нас, то есть вселенный в нашу квартиру. Чекисты разбудили его, чтобы он присутствовал при моем аресте. Его жена любезно приготовила нам чай, и мы с главным чекистом, сидя рядом на диване, перед отъездом выпили по стакану этого редкого тогда напитка. Мама со мною вместе собрала мне в тюрьму чемодан вещей. Не зная деталей, она была в курсе того, что я состою в секретной контрреволюционной организации, и вполне понимала, чем грозит мне арест. Соня (ей было тогда 19 лет) не знала ничего про мою политическую деятельность.

Мы простились. Присущая Мама сила духа проявилась в ее полном наружном спокойствии. Это очень облегчило мне наше прощание.

Хорошо помню мое тогдашнее настроение, не передаваемое словами: спокойная и четкая ясность и в то же время ощущение какой-то полуреальности происходящего... Не могу сказать, чтобы я тогда с уверенностью считал, что еду на смерть и что это мое последнее прощание с семьей. Однако я думал, что мой расстрел очень вероятен, во всяком случае — вероятнее, чем спасение...

Мы вышли из дома, я сел с арестовавшим меня комиссаром в автомобиль, другой вооруженный чекист сел впереди, рядом с шофером, остальные чекисты разместились во втором автомобиле, следовавшем за нами

Давно мне не приходилось ездить на автомобиле! С холодной гравюрной четкостью рисуется мне эта молчаливая поездка в морозную ночь с Новинского бульвара на Лубянку.

Вот растворились передо мною двери «Внутренней тюрьмы Особого Отдела ВЧК». Меня провели не в «разборочную камеру», а прямо наверх. Я уже знал из рассказов, что это означает серьезное дело. Все признаки указывали на то же самое.

Обыскивал меня и мои вещи сам начальник тюрьмы ОВЧК, Попов. Он был русский, а не поляк или латыш, как это обычно бывало в то время в Ч К. (Отдел же ВЧК по борьбе со спекуляцией, менее опасный и наиболее доходный, был в руках евреев.)

При обыске у меня отобрали все книги, часы, вилку, иглу и даже английскую булавку: все «колющие и режущие предметы», как говорилось в «Правилах». Потом я узнал, что у многих заключенных (особенно у духовенства) отбирали нательные иконки и кресты. Впоследствии митрополит Кирилл Казанские рассказывал мне, как обыскивавший его в ЧК латыш отобрал у него деревянную панагию и деревянный же крест, при этом сентенционно заметив: «Крест у вас *в сердце* должен быть, а не на груди». Мне же был тогда оставлен золотой крестильный крест, на золотой же цепочке... Не знаю, чему это приписать, во всяком случае, не забывчивости, так как начальник тюрьмы внимательно посмотрел на мой крест и даже почему-то потрогал его пальцем.

После обыска я был отведен в камеру, где находился еще один заключенный — поляк из немецкой Польши.

В этой камере я пробыл только один день. Тут я впервые познакомился с чекистскими койками — деревянными щитами, сколоченными из нескольких досок с просветами между ними. Щиты эти клались на две деревянные стойки. Полагались нам и матрасы — мешки, сшитые из остатков всяких материй и когда-то набитые соломой. Однако давно уже эта солома превратилась в труху. В сущности, приходилось спать на мешке, набитом приблизительно на треть или четверть его вместимости грязной пылью. Но и такой «матрас» я получил не сраэу, а только через 6—7 дней. При этом матрас мне попался удивительно короткий, даже не на маленького человека, а на ребенка: когда я лежал на нем, он хватал мне только от плеча до кости бедра, так что голова и вся длина ног приходилась уже вне матраса. Впрочем, для головы у меня была взята с собой маленькая подушка-думка, а ноги не так уж нуждались в матрасе. Только много позднее, через два-три месяца, я получил матрас почти по моему росту, вне его оставались только голова и ступни ног. Приятно было то, что в тюрьме ВЧК, в отличие от того, что я испытывал потом в других тюрьмах, матрас мой не был испещрен кровяными пятнами от раздавленных клопов.

Кормили нас во Внутренней тюрьме следующим образом. Утром давали «кофе», то есть еле окрашенную в кофейный цвет тепловатую воду. Часто вода была вовсе не окрашена, почему «кофе» было скоро даже официально переименовано в «кипяток». Но и «кипятком» эту жидкость, судя по ее температуре, назвать было трудно. Кипела ли эта вода до ее охлаждения, я сказать не могу. Несколько позднее «кипятка» нам приносил» «хлебный паек» (или просто—«пайку»). Нам давали от 1/4 до 1/2 русского фунта хлеба в день, то есть от 100 до 200 грамм. Хлеб был, понятно, черный и выпечен с большой прибавкой каких-то

суррогатов, придававших ему странный вкус. Однажды, слегка нажав на особенно сырой ломоть хлеба, я выдавил из него какую-то противную сииевато-зеленую слизь... Но при настоящем голоде — чего не съешь...

Около полудня (часов у нас не было) нам давали обед: суп и кашу. Супом называлась грязная серая водичка, обыкновенно наваренная на небольшом количестве сильно мороженых картофелин. Часто картофелины в супе бывали настолько черные и сладковато-гнилые, что раньше, безо всякого преувеличения, их бы и скоту не дали. Я прекрасно помню, как у нас в Бегичеве выбрасывали такой «вредный для скота» картофель. Тут же он не только съедался заключенными без малейшего остатка, но к а к хотелось бы получить его еще и еще! Стоит ли говорить, что картофель был очень плохо промыт, отчего в жестянках и часто ржавых мисках оставался слой земли. Иногда нам давали «рыбный суп», но в таком случае мы получали, обычно, только скелеты мелких рыбок, саму же рыбу съедала стража, бросая рыбьи кости к нам в суп. Нельзя сказать, чтобы это было очень аппетитно, но что поделаешь?..

Каша, которую нам давали, была пшенная, очень плохо промытая и очищенная (часто попадались кусочки щебня и т. п.), но в общем, по тому временя, недурная. Плохо было то, что нам выдавали ее только по одной небольшой ложке, то есть примерно треть или четверть порции, которую можно было бы назвать нормальной для человека.

На ужин (часов в 6—7 вечера) нам снова выдавалась миска того же супа, что и за обедом. Часто суп этот бывал еще жиже от щедро прибавленной к нему воды. Каши на ужин не полагалось.

По воскресеньям и праздничным дням (всякого рода революционные праздники, вроде Дня Парижской коммуны) ужина заключенным вовсе не полагалось: в эти дни должен был отдыхать кухонный персонал. Правда, в эти дни за обедом мы получали немного больше супа (но не каши), чем обычно, но оставить его на вечер даже в холодном виде было нельзя, так как миски у нас после обеда отбирались.

Особенно голодно было на этом пищевом режиме во время холодов в нетопленых камерах. Во Внутренней тюрьме не все камеры отапливались. В отапливаемой камере, куда меня первоначально поместили, я оставался всего один день, на следующее же утро, после ночного допроса, меня перевели в другую.

Камеры во Внутренней тюрьме были очень разные: тюрьма эта была устроена из какой-то третьеклассной гостиницы, но размеры камер были далеко не одинако-вы.*В*нормальные, не

тюремные, окна были изнутри вделаны решетки, а стекла густо замазаны серовато-белой краской. Поэтому в камерах было темновато. Еще гораздо темнее сделалось в них потом, когда на окна были наставлены снаружи жестяные щиты-ящики, окрашенные в серый цвет. Свет и воздух могли проникать в камеры только через небольшой продух вверху между щитом и окном; внизу и по бокам просвета не было. Кроме того, сами окна, из-за нелепо вставленных решеток, почти не открывались: можно было лишь чуть-чуть приоткрывать их. Из-за этого, особенно после устройства щитов, в камерах бывало очень душно, а летом в переполненных камерах заключенные подчас просто задыхались. Мне говорили, что людей иногда вытаскивали из камер в полубессознательном состоянии. Сам я этого не видел, но, зная положение, охотно верю.

В первую же ночь моего тюремного пребывания в нашу камеру вошел стражник-латыш и разбудил меня: «На допрос!» Я стал довольно быстро одеваться, но латыш все время меня торопил: «Скорее, скорее, гражданин».

Я вышел с латышом в коридор и там он передал меня другому солдату, который повел меня по бесконечным полутемным лестницам и коридорам. Я шел впереди, а солдат с примкнутым к винтовке штыком шел за мною и только приговаривал; «направо», «налево», «вниз по лестнице». (Меня несколько раз водили на допросы по ночам, но только один раз я могу пожаловаться на конвоировавшего меня солдата. Узнав из переданного ему внутренней стражей сопроводительного листка мою фамилию, этот солдат всю дорогу ругал меня отборной бранью и грозился приколоть штыком: «Чего вас тут, князей, на допросы водить! Приколоть, да делу конец! На таких собак и пули жалко: попили народной кровушки...» и т. д. и т. д., до бесконечности. В тот раз мое ночное путешествие на допрос показалось мне особенно длинным... Несколько раз солдат старался испугать меня, вдруг с руганью и топотом догонял меня и замахивался штыком... Я шел молча, старательно ровной и будто бы спокойной походкой, что было мне очень трудно. Этого своего ночного странствования по зданиям ЧК я никогда не забуду.)

На этот — первый — раз сопровождавший меня солдат не проронил ни одного лишнего слова и наконец доставил меня в маленькую прихожую комнату, откуда открывались двери в «Кабинет тов. Менжинского» (будущего главы ЧК; тогда он был еще помощником известного Дзержинского). Я ждал перед дверьми не больше минуты; двери растворились и меня пригласили войти. Часовой остался ждать в прихожей.

Я вошел в мало освещенный, весь уставленный и завешанный восточными коврами разного стиля кабинет. Единственная горевшая лампа, с большим абажуром, стояла на письменном столе. На нем же стояла мраморная статуэтка Данте. «Оставь надежду, всяк сюда входящий,— мелькнула в моей голове строка из Божественной Комедии»...

За письменным столом сидел человек восточного типа с очень бледным лицом, длинными, черными и жирными волосами и ярко горящими глазами. Позднее я узнал, что это был особо уполномоченный ВЧК Агранов. Увидя устремленный на меня тяжелый, сверлящий взгляд, я сразу подумал, что имею дело с наркоманом: среди чекистов было много наркоманов.

Агранов слегка приподнялся мне навстречу и любезным жестом, контрастировавшим с его тяжелым впивающимся взглядом, пригласил меня сесть на стул у письменного стола напротив него. Сам стол и письменные принадлежности на нем были совсем не «канцелярского», а «богатого», но безстильного типа. Наверно, они были забраны в каком-нибудь купеческом особняке или у преуспевающего присяжного поверенного. Посреди письменного стола валялся автоматический пистолет. Садясь за стол, я, как мне казалось, незаметно смерил глазами расстояние до браунинга от нас обоих... В безнадежном случае — не попытаться ли мне застрелить чекистского следователя? Понял ли Агранов, о чем я подумал, или это было лишь совпадение, но он открыл средний ящик стола и рукой сгреб в него пистолет.

— Вы, конечно, понимаете, почему вы арестованы, Сергей Павлович? — спросил меня Агранов.

— Сергей*Евгениевич,*—поправил я его.

— Ах, простите! — сказал Агранов, но я прекрасно понял, что он нарочно назвал меня так, чтобы проверить, как я буду реагировать на этот псевдоним, который, разумеется, неприятно поразил меня в устах Агранова. Я ведь тогда не имел понятия о предательстве Петровской и Виноградского и не знал, что именно известно ЧК по нашему делу.

—— Напротив,— отвечал я на вопрос Агранова,— я совсем не понимаю, почему я арестован, и прошу вас объяснить мне это,

— Так вы будете утверждать, что ваш арест — недоразумение? — саркастически спросил Агранов.

— Ничем иным не могу его себе объяснить,— отвечал я.— Конечно, я отнюдь не буду утверждать, что я ваш сторонник: наши идеологии — противоположны, но на деле я ничего против советской власти не предпринимал и поэтому не понимаю, почему я нахожусь здесь.

— Ваши друзья — Леонтьев, Щепкин, Герасимов и другие —

не держались со мною вашей тактики и откровенно рассказали мне про вашу совместную политическую деятельность. События идут сейчас очень скоро и ваша контрреволюционная деятельность в пользу белых армий, с их полным поражением, уже отошла в историю. Ваши друзья поняли, что прямодушная откровенность в раскрытии этой прошлой деятельности еще больше укрепит нас в нашем намерении проявить великодушие по отношению к разбитому и уже не опасному врагу. Вдобавок, мы уже все про вас знаем: умолчание и отпирательство было бы только во вред вам самим...

Весь этот первый допрос Агранов вел со мной в том же тоне, убеждая сознаться и утверждая, что в этом случае дело наше будет скоро прекращено и все мы выйдем на свободу. Я же все время держался тактики непонимания, чем вызван мой арест. Я охотно признавался «в самых глубоких расхождениях с коммунистическим мировоззрением», но упорно отрицал любые контрреволюционные акты с моей стороны. Вообще, я пытался представиться Агранову «отвлеченным философом», а не политическим деятелем. Что касается моих ранее арестованных друзей, я не отрицал ни моего знакомства с ними, ни моих дружеских чувств но отношению к некоторым из них. Я не отрицал также, что некоторые *из* них «ранее» занимались политикой, но выражал полное сомнение в том, что они могли заниматься ею сейчас, в Москве, под бдительным оком советской власти. Во всяком случае, я утверждал, что мне лично об их контрреволюционной деятельности ничего не известно и что мое общение с ними не носило какого бы то ни было политического характера...

Я не знал тогда, что мой арест покоился исключительно на показаниях ничего про меня точно не знавшего Виноградского, который предал меня только «по догадке». Возможно даже, что если бы ко мне в камеру не подсадили бы потом самого Виноградского, моя тактика отпирательства даже вывела бы меня тогда на свободу, В сущности, только своим дальнейшим поведением в камере с Виноградским я подтвердил его догадки и подвел фундамент под обвинение против самого себя.

Первый допрос мой шел, таким образом, со стороны следователя в «корректных» тонах.

Припоминаю одну характерную мелочь. Отпуская меня обратно в камеру после безрезультатного допроса, Агранов вдруг почему-то спросил меня: «Может быть, вы имеете ко мне какой-нибудь вопрос или просьбу?» — «Скажите, пожалуйста, который сейчас час?» — спросил я его. Я поставил этот вопрос безо всякой задней мысли, но вдруг Агранов взглянул на меня с такой

бешеной ненавистью, что я сразу понял две вещи. Во-первых, что он счел мой вопрос издевательством над собою, а во-вторых, что я имею дело с очень кровожадным и опасным зверем, из породы кошачьих...

Агранов, однако, сразу взял себя в руки и, посмотрев на свои часы-браслет, указал мне время (было что-то около 3 часов ночи).

Снова по бесконечным коридорам и лестницам я отправился со своим солдатом обратно в камеру.

Я провел там остаток ночи, а утром вошедший тюремщик приказал мне «собирать вещи». «Куда меня ведут?» — спросил я. «Увидите»,— лаконически отвечал он.

Из моей первоначальной камеры тюремщик перевел меня в другую, на другом этаже. Когда открылась дверь моей новой камеры, я заметил в серой полутьме человеческую фигуру в скорченной позе на койке. Человек сильно оброс небритой щетиной. Я вгляделся и узнал... Н. Н. Виноградского.

Я помню тот рой мыслей, который зашумел в моей голове при виде его. Виноградский никак не был близок мне, но все же я был рад встретиться в тюрьме со знакомым. Кроме того, так как он был арестован вместе с Леонтьевым, я надеялся узнать от него, в чем точно **их** обоих обвиняли; Леонтьев же был мне несравненно ближе Виноградского. Я надеялся также, что таким образом выяснится кое-что и относительно моего собственного ареста и дела. Наконец, меня обрадовала мысль, что раз меня сажают в камеру с Виноградским — значит, нас не считают арестованными по одному и тому же делу, а это в свою очередь показывает, что о нашем деле ЧК знает довольно мало. Ни тени подозрения касательно роли самого Виноградского у меня тогда не было, но я тут же придумал применить «хитрую», а на самом деле наивную тактику. Входя в камеру, я притворился незнакомым с Виноградским, и в присутствии тюремщика подошел к нему, назвался и «познакомился». Повернувшись спиной к стражнику, я слегка подмигнул Виноградскому, чтобы дать понять, что делаю все это нарочно и рекомендую ему ту же тактику... Виноградский сразу понял меня и вошел в роль только что познакомившегося со мной человека...

Боже мой!.. как все это было комично-наивно и глупо, если бы знать всю подоплеку дела. Но я ее тогда не знал...

Между тем, вглядевшись в Виноградского, я поразился его внешности. За короткий срок, что я его не видел, он страшно переменился. Было ли это изменение только последствием страха и одиночного заключения в тяжелых физических условиях или проистекало также от нравственных мучений вследствие предательства — трудно сказать. Однако на основании

дальнейших — моих собственных и других — наблюдений за Виноградским (но, конечно, уже в свете того, что я узнал о нем позднее), я склоняюсь к мысли, что он тогда изменился под влиянием животного страха за свое существование, а не от нравственных терзании. При тех, сравнительно немногих, данных, которые Виноградвкий смог первоначально дать ВЧК, он не был уверен, достаточно ли он предал для своего спасения. Когда же, при помощи его дальнейшей агентурной работы в камерах ВЧК, раскрылось большое дело, Виноградский постепенно успокоился за свою судьбу, что и отразилось на его улучшившемся внешнем виде.

Только потом я понял, что переживал Виноградский, когда, сидя с ним в камере, я безо всякой задней мысли рассказал ему следующий случай. Один арестованный ЧК офицер, чтобы спасти свою жизнь, предал своих товарищей. Те были расстреляны, но та же судьба постигла и самого предателя. «Больше он нам полезен быть не может, а куда нам девать таких подлецов?» — сказал о нем видный чекист, кажется, Петерс (тогда я точно помнил его имя и имя расстрелянного предателя и назвал их обоих Виноградскому). Я ясно видел, как взволновал его этот рассказ, как он изменился в лице и с каким чувством повторял: «Какие мерзавцы, какие бездомные мерзавцы!» Я тогда не понял, что творилось на душе Виноградского, и сказал ему, что меня это скорее утешает: пусть погибают тоже те, кто предает, и пусть те, кто стоят на грани предательства, знают, что их подлость иногда не спасает от пули...

Виноградский потом несколько дней возвращался к этому моему рассказу, который, вероятно, страшно его мучил. Однако я был так далек от каких-либо подозрений против него, что и это не навело меня на них.

Между тем Виноградский держался со мною очень умно и ловко. Он сообщил мне, между прочим, что ему сказали при допросе, что его предал С. М. Леонтьев. «Я убежден, что это ложь, — сказал я,— Леонтьев никого не выдал и не выдаст.» — «Я тоже в этом уверен,— отвечал Виноградский,— но при допросе мне говорили, что он предал многих и, в частности, вас...» Очевидно, ЧК поручила Виноградскому вселять во мне недоверие к Леонтьеву. Это же я потом увидел на собственных допросах. «Между прочим,— говорил Виноградский,— мне сказали, что Леонтьев показал, что «Сергей Павлович» — это вы. Ведь это же верно?» — «Верно-то верно,— ответил я,— но Леонтьев этого сказать не мог, а чекисты, вероятно, догадываются по разным признакам...» Впоследствии я понял, что именно этой неосторожной фразой в разговоре с Виноградским и

аналогичными признаниями, которые он ловко из меня выуживал, я подвел базу под голословные догадки доноса Виноградского.

Таким же образом он выудил у меня опасное признание относительно В. Н. Муравьева. Виноградский знал, что Леонтьев имел какие-то сношения с «Муравьевым» (но точно не знал — с каким), и правильно чуял, что эти связи — политические, а не чисто светские. Он, конечно, поспешил донести об этом Агранову. Однако ЧК тоже не знала, о каком именно Муравьеве шла речь. Выяснить это было поручено тому же Виноградскому.

Его ежедневно вызывали из нашей камеры, будто бы «на допрос», на самом же деле он. докладывал Агранову о результатах своих разговоров со мною (я потом — с другими заключенными) и получал новые задания. По возвращении с одного из «допросов», Виноградский сообщил мне, что со слов Агранова он понял, что наше дело разрастается и производятся все новые и новые аресты. «В частности, по связи с Леонтьевым, арестован какой-то Муравьев,— говорил мне Виноградский,— и я не понял, о ком идет речь, о Валерьяне Николаевиче (дипломате), или о Николае Константиновиче (присяжном поверенном). Как вы думаете?» — «Я полагаю, что дело идет скорее о Валерьяне Николаевиче...» — сказал я и тем самым, не ведая того, подвел фундамент под предательский донос Виноградского против Муравьева. Впоследствии, в Бутырской тюрьме, я встретил В. Н. Муравьева и рассказал ему, каким образом я был невольной причиной его ареста. Тогда же мы с ним могли выяснить, что арестован он был через день или два после моего разговора в камере с Виноградским. После ареста Муравьев, как и некоторые другие мои политические друзья, сидел в той же камере с Виноградским и в свою очередь подвергался его «агентурной обработке». Своими разговорами с ним они невольно, но очень существенно, помогали ЧК и вредили самим себе и своим друзьям...

Когда я вспоминаю то время и мое сидение с Виноградским, я так ясно вижу, как однажды утром он стоит на коленях у своей койки и, как-то по-католически сложив руки, предается молитве. Вдруг входит тюремщик и вызывает его «на допрос». Виноградский поспешно встает с колен и идет... делать ЧК свой очередной донос... Была ли его. молитва только благочестивой позой, или он действительно молился? Кто знает? Душа человека — потемки...

Не много времени я просидел с Виноградским. Снова вошел в нашу камеру тюремщик и приказал мне «собирать вещи». Меня перевели в новую и значительно худшую камеру. Отопление здесь

не действовало, и это в морозное время было весьма неприятно. Тут мне суждено было просидеть в одиночном заключении несколько месяцев и пережить немало тяжелых дней.

Говорят, слова не помогают в жизненных горестях, но я не могу с этим согласиться. На стенах моей камеры какой-то сидевший там раньше заключенный тщательно вырисовал карандашом: «И ЭТО ПРОЙДЕТ». Эти три слова восточной мудрости служили мне большим утешением в то время, и я как-то настроился воспринимать происходящее со мною под другим углом зрения.

Это было первое и самое длительное мое одиночное заключение. Отсутствие книг очень давало себя чувствовать. При Внутренней тюрьме числилась «библиотека», но, за редкими исключениями, заключенным, не имевшим права получать книг «с воли», книг не выдавали и оттуда. В таком положении я провел тогда месяца три-три с половиной. Отсутствие книг (как и запрещение женщинам заниматься шитьем) входило в систему ЧК, угнетая психику заключенных.

В то время я был лишен права получать какие-либо передачи с воли, то есть еду, мыло, белье и т. п. Само собой разумеется, никаких писем я в то время не получал и свидании не имел.

В тюрьме ВЧК царствовала тишина. Заключенным в камерах некоторые караулы запрещали разговаривать, другие — более мягкие — позволяли говорить, но только вполголоса, почти шепотом. Мне лично не раз запрещали даже ходить по камере. Шагов самой стражи по коридору не было слышно, так как зимой и летом караул ходил в валенках. Это не только поддерживало тишину, но и позволяло страже незаметно подкрадываться к дверям камер и наблюдать за заключенными через «глазок». Тишина изредка прерывалась стуками в дверь камер: так заключенные вызывали стражу. Стучать полагалось «только по делу», не громко, не настойчиво и не часто, иначе на стучащего иногда накладывались взыскания, ругань же караула была всегда неизбежна.

В уборную выводили заключенных (каждую камеру отдельно) два раза в день; утром и вечером. «В крайних случаях», если в камере не было «параши», можно было проситься еще. Но если проситься больше одного раза в день, это вызывало негодование и даже бешенство стражи. Она тогда не только не выводила камеру в уборную, но потом разными способами притесняла ее... Можно себе представить, как тяжела была порою невозможность выйти в уборную чаще, чем два-три раза в сутки... В моей камере несколько месяцев не было «параши». При холоде и повышенной нервности заключенных такое положение являлось иногда просто

пыткой. Не знаю, входило ли это тоже в систему ЧК, или было только упущением, но я лично пострадал от этого немало; как я слышал, некоторые совсем расстраивали себе здоровье таким способом. Впрочем, постоянное присутствие «параш» в камерах, с чем я познакомился впоследствии, тоже имело отрицательные стороны, особенно в переполненных камерах. Когда в камере имелась «параша», заключенных, иногда даже желудочных больных, в неурочное время в уборную совсем не выпускали. Смешение остатков испорченной пищи (в частности, прокисших щей) с мочой и экскрементами заключенных создает весьма характерный и не очень приятный запах, который я слишком хорошо помню и мечтаю никогда в жизни больше не ощутить.

Ночью с 26 на 27 февраля 1920 года (по новому стилю) я был вызван на тяжелый допрос. Я хорошо помню эту дату, потому что это была как раз ночь на мой день рождения: мне должно было исполниться тридцать лет, и весь этот день я провел в убеждении, что это последний день моей жизни...

Солдат снова отвел меня по длинным лестницам и переходам в тот же «Кабинет тов. Менжинского». Помнится, именно в этот раз сопровождавший тюремщик грозил меня приколоть.

Агранов встретил меня совсем нелюбезно. «Все ваши друзья дали полные показания, во всем признались и осветили нам и вашу роль в деле. Только вы один продолжаете молчать и отрицать. Ничего нового вы не откроете, но дальнейшее молчание с вашей стороны становится просто г л у по...» На этом я прервал Агранова и, не повышая голоса, сказал ему, что до сих пор я отвечал на его вопросы, так как они ставились в корректной форме, но если он будет говорить со мною в таком тоне, я вообще ему ничего отвечать не буду...

Я совершенно не ожидал того действия, -которое возымели мои слова. Агранов привскочил со своего кресла и совершенно другим голосом сказал: «Извините, Сергей Евгеньевич, прошу вас извинить меня за эти слова... но ваше поведение заставляет нас нервничать!» Как ни странна эта фраза в устах Агранова, я ручаюсь за ее точность. Чем было вызвано такое совсем необычное для чекиста поведение — я не знаю.

«Хорошо,— отвечал я,— я буду, насколько смогу, и дальше отвечать вам, но скорее мне можно было бы жаловаться, что ваше поведение может меня нервировать...»

Мимолетный любезный тон тут же соскочил с Агранова и он начал всячески грозить мне. «Вы, может быть, думаете, что мы не можем расстрелять вас?» (Чтобы понять это странное по тогдашним понятиям заявление, надо сказать, что незадолго перед тем было опубликовано постановление ЦИКа —

Центрального Исполнительного Комитета Совета — о том, что расстрел без суда по политическим делам в Советской России ныне отменяется.) «Мы расстреляем вас не по политическому делу,—продолжал Агранов,—а за шпионаж!» Совершенно искренно я заверил Агранова, что у меня никогда и сомнения не было в том, что ЧК может расстрелять меня или кого ей угодно...

Не зная, как понять: не иронизирую ли я? — Агранов мрачно на меня посмотрел: «Да, если вы будете так держаться, мы вас, конечно, расстреляем... Но раньше мы вас все же заставим говорить!» Признаюсь, в этот момент я не без ужаса подумал о пытках, но, на мое счастье, Агранов продолжал: «Я говорю не о пытках, которых мы не применяем (он подчеркнул эти слова голосом), но у нас есть методы заставить людей давать показания...» Что именно этим хотел сказать Агранов, я не понял, но его заявление о пытках меня очень ободрило: какой смысл был ему лгать и этим меня успокаивать? В том, что ЧК порой применяла пытки, я, конечно, не сомневаюсь, этому есть достаточные доказательства.

Однако, невольно успокоив меня относительно пыток, Агранов продолжал запугивать меня расстрелом и назвал ряд ранее арестованных, находившихся в связи с нами, а теперь, по его словам,— расстрелянных. Кстати, из его слов и перечня имен я увидел, что очень многое ему неизвестно. Назвал Агранов среди расстрелянных и имя начальника штаба нашей военной организации, полковника Генерального штаба Ступина. Этим он сделал большую ошибку. Я не знал, что Ступин расстрелян и, судя по опубликованным в советской печати выдержкам из его показаний ЧК, я очень опасался для себя лично и своих друзей его возможных дальнейших признаний. Теперь, думалось мне, если Ступин правда расстрелян, а тон Агранова склонял к мнению, что он сказал правду,— это значит, что Ступин держался на допросах лучше, чем мы опасались. И во всяком случае возможность очных ставок с ним отпадала. Безусловно, говорить мне о расстреле Ступина («между прочим, за то, что он не назвал вас...») было с точки зрения ЧК ошибкой.

Я с внутренней радостью отмечал ошибки следователя, но тут же сам сделал большую ошибку, которой Агранов позднее ловко воспользовался...

«Вот выдержки из показаний ваших друзей,— сказал Агранов, подвигая ко мне несколько листов, переписанных на машинке-— Прочтите вот это.» Я прочитал две выдержки из показаний Леонтьева и Герасимова и увидел, что они действительно о многом рассказывают... если только это были их действительные показания.

«Что вы об этом скажете?» — спросил Агранов. «Выдержки написаны на машинке и даже не подписаны...» — уклончиво ответил я. Лицо Агранова перекосилось: «Вы подозреваете нас в подлоге!» — воскликнул он и, быстро открыв ящик стола, стал в нем рыться. «Я привык критически относиться к текстам»,— отвечал я, сделав неопределенный жест рукой. Между тем Агранов выложил на стол подлинные рукописные показания Леонтьева и Герасимова и, найдя нужное место у первого, протянул мне лист, что-то закрывая на нем рукою. «Посмотрите, верно ли у нас переписано!»—сказал он. Тут-то я и сделал ошибку, которую осознал только долго спустя и только после моего сидения в Бутырской тюрьме с Леонтьевым: я сообщил Агранову, что я мало знаком с почерком Леонтьева: «Я плохо знаю этот почерк и предпочитаю видеть показания Герасимова...» Эти слова, хотя и произнесенные спокойным тоном, снова взбесили Агранова. Он опять с дикой ненавистью посмотрел на меня и резким движением бросил обратно в ящик все подлинные показания. «Идите и готовьтесь погибнуть! (я точно запомнил эту театральную фразу),— воскликнул он с жестом провинциального трагического актера.— Если же вы одумаетесь и согласитесь дать показания,— прибавил Агранов,— напишите мне два слова и передайте через стражу, я вас тогда вызову. Вот вам карандаш и бумага!»

«Благодарю вас, они мне не нужны, я все равно не могу сказать вам больше того, что сказал»,— отвечал я.

«Так вы*погибнете!*» —вскрикнул Агранов.

Стража увела меня обратно в камеру.

Я был в тот момент убежден, что меня действительно ждет расстрел. Вряд ли сегодня утром,— думал я,— надо все-таки проделать кое-какие формальности и отдать распоряжение, скорее в следующую ночь, к утру...

Я, понятно, не припоминаю всех отдельных мыслей и чувств, охвативших меня, но очень ясно помню общее мое состояние. Обычно ровно текущая река душевной и умственной жизни вдруг превратилась в какой-то бешено мчащийся поток... Конечно, никакое сравнение никогда не точно, но именно нечто подобное переживал я тогда. Мысли мои то рисовались мне с необычайной для нормального сознания яркостью, то вдруг, как во сне, туманились, прерывались, смешивались и заменялись другими, как будто совсем безо всякой внутренней связи. Среди этого мчащегося потока психической жизни, мое волевое «я» напрягалось до чрезвычайности и всеми силами стремилось установить в этом хаосе какой-то порядок и стройность. «Я должен держать себя в руках, я должен быть спокоен, я должен

умереть с достоинством»,— повторял я себе. «Господи, подай мне сил и крепости умереть в спокойствии и ясности духа»,— молился я... почти только об этом и молился. Я инстинктивно — скорее, чем вполне сознательно — боялся, углубившись в другие молитвы и мысли, распустить свою до отказа натянутую волю.

Я решил, что ничто во внешнем моем поведении не должно перемениться. Поэтому, вернувшись в камеру, хотя мне совсем не хотелось спать, я немедленно лег и притворился спящим. Впрочем, что другое я мог делать в темноте, как не лежать? К утру я все же действительно заснул и проснулся только от звука отпираемой двери. «За мной пришли!» — мелькнуло в голове, но тотчас по свету из окна я понял, что для расстрела сегодня уже поздно: как правило, ЧК днем не расстреливала. Действительно, в приотворенную дверь мне только всунули половую щетку для ежедневной уборки камеры.

Так встретил я день своего рождения, своего тридцатилетия.

Я подумал о близких, прежде всего о Папа и Мама... Они не знают, что сегодня последний день моей жизни, но, наверное, думают обо мне... Но снова, как и ночью, я инстинктивно начал запрещать себе думать о близких или о себе самом, чтобы ни на минуту не ослабить струну своей воли.

Я очень ясно помню себя в это время. Я чувствовал себя как всадник на лошади, которая настороженно и напряжеяно смотрит на что-то и вот-вот готова испугаться, шарахнуться в сторону и закусить удила. Всадник, в свою очередь, весь напряжен и, храня наружное спокойствие, хочет своей волей, поводом и шенкелем заставить лошадь идти спокойно в указанном направлении... Опять-таки, этот образ не совсем точен, но все же, мне кажется, в общем передает мое тогдашнее настроение. Я чувствовал себя всадником, с той существенной разницей, что лошадь была не подо мною, а во мне самом... Я хотел быть всадником и подавить в себе готовую испугаться и обезуметь лошадь, и это мне тогда удалось. Благодарю Бога за эту милость.

День моего рождения, который я тогда считал последним днем моей жизни, прошел подобно другим тюремным дням в одиночке. Я был голоден, как всегда. Насколько помню, волнение на этот раз совсем не уменьшило чувство голода. Как я решил, внешне я вел себя в этот день так же, как и в другие дни: столько же времени ходил по камере (я говорил уже, что это надо было делать осторожно, соблюдая тишину), столько же времени сидел или лежал на койке, столько же времени делал гимнастику... Как мне казалось — не знаю, было ли это объективно верно — стража чаще обычного заглядывала в глазок моей камеры.

Настал вечер. Хотя я и решил делать «все, как обычно», я на

этот раз не надел ночной рубашки, я остался в дневном белье, чтобы не переодеваться при чекистах и быть готовым скорее, когда за мною придут, чтобы вести на расстрел.

Я лег спать, и мне, как и в прошлую ночь, удалось заснуть. Проснулся я еще ночью (было совершенно темно) от шагов нескольких человек перед дверями моей камеры. Замок ее вообще отпирался довольно трудно, но на этот раз мне показалось, что с ключом возились особенно — бесконечно — долго. Это было очень неприятное и нервирующее ощущение... Я слышал сдавленную ругань стражи, относящуюся к замку моей камеры: «Да отсюда, что ли, забирать-то?» — услышал я шепот. «Говорят тебе — отсюда!» — отвечал другой голос.

Наконец неприятная возня ключа в замке прекратилась, запор щелкнул, в камере зажглось электричество, дверь отворилась и ко мне вошли три стражника.

Во время возни с замком я чувствовал в себе нарастающее и очень неприятное чувство нервности, но с момента открытия двери на меня нашло полнейшее спокойствие и ясность духа. Мне не стоило никакого волевого напряжения их поддерживать.

Мое самочувствие превосходно,— подумал я и мысленно поблагодарил Бога за этот дар Благодати. Я приподнялся на локте на койке и спросил: «Вставать?»

«Нет, не нужно,— ответил мне один из тюремщиков,— мы за койками пришли». Надо сказать, что в моей камере помещался небольшой склад запасных коек.

Забравши две-три койки, стража вышла. Снова наступила темнота.

Это была ложная тревога! Мое спокойствие снова сменилось волнением: я почти жалел, что меня не взяли, когда я был так хорошо настроен... Теперь надо опять ждать...

Я не мог уже заснуть и невольно прислушивался ко всякому звуку в ночной тишине. Несколько раз я слышал приближающиеся шаги в коридоре, но они проходили мимо. Когда же, наконец, за мной придут? Я не хотел об этом думать, но, несмотря на все свои усилия, не мог прогнать эту навязчивую мысль.

Время тянулось мучительно медленно. Наконец дверь камеры растворилась и... мне снова всунули половую щетку. Наступила обычная тюремная дневная жизнь...

Что это такое? Почему меня сегодня не расстреляли? Конечно, инстинкт самосохранения толкал меня радоваться, но, с другой стороны, это неопределенное откладывание было очень мучительно. Нельзя, понятно, сказать, чтобы я был огорчен, что меня уже не расстреляли, но нельзя также сказать, чтобы я этому

полностью радовался: трудно словами выразить ту мешанину, которая была тогда в моей голове.

Так прошло несколько недель.

Первые дни я по утрам все ждал расстрела, но, конечно, уже менее определенно, чем в первый день. Потом ожидание неизбежного расстрела сменилось во мне неопределенной надеждой.

Время шло, и я не понимал, что происходит в нашей судьбе — моей и моих друзей. Только впоследствии я услышал версию, которую и имею основание считать правильной, хотя, понятно, документально доказать ничего не могу.

Как раз во время наших арестов советская власть вступила в сношения с английским правительством, и в московских большевицких кругах зародилась надежда на официальное признание советского правительства. В Лондон для переговоров был послан видный, старый коммунист из «ленинской гвардии» — Л. Б. Каменев (впоследствии расстрелянный Сталиным). Каменев для укрепления своих дипломатических позиций в Англии очень настаивал, чтобы декрет о прекращении бессудных политических казней ВЧК, принятый и опубликованный именно для «заграницы», проводился бы на практике... по крайней мере, во время переговоров... Между тем, в Лондоне Каменеву сделались известны наши аресты, о которых сообщил туда тот самый Поль Дьюкс (теперь уже сэр Поль Дьюкс), о невольной роли которого в наших арестах я уже говорил (именно он командировал к нам выдавшую нас Петровскую). Поэтому Каменев особенно настаивал перед ВЦИКом, чтобы по этому — известному англичанам — делу не было бессудных расстрелов. Вследствие этого ВЧК получила специальное распоряжение нас не расстреливать,— что последняя собиралась сделать,— и через некоторое время наше дело из тайников «Особого отдела», по распоряжению ВЦИКа, было передано в «Верховный Трибунал СССР», где, как я расскажу после, оно действительно было заслушано в публичных заседаниях.

Я говорю все это, чтобы объяснить, почему ни я, ни мои друзья не были тогда расстреляны ВЧК, но, конечно, я ничего этого тогда не знал и поэтому ничего из происходящего не понимал.

Единственное, что начало тогда постепенно проясняться в моей голове, это роль в нашем деле Виноградского.

Я пришел к этому убеждению не сразу и вначале даже старался противиться первым неблагоприятным для него выводам из анализа известных мне фактов. Однако постепенно уверенность в виновности Виноградского выкристаллизовывалась

в моем сознании. Тот же путь подозрений, сомнений, потом уверенности проделал, как он мне потом рассказывал, и С. М. Леонтьев. Когда через несколько месяцев мы с ним встретились в Бутырской тюрьме, мы внезапно проверили и подкрепили заключения, к которым пришли порознь, каждый своим путем.

Моя тюремная жизнь в одиночке Внутренней тюрьмы текла неумолимо серо и однообразно. Помимо полной неопределенности моего положения, вся опасность которого, при осведомленности ВЧК о нашей деятельности, была очевидна, физические условия заключения были довольно тяжелые. Температура неотапливаемой камеры в феврале месяце в Москве была более чем прохладная. Градусника в камере, разумеется, не было, но за ночь вода в моей кружке, если и не замерзала, то все же иногда подергивалась «салом» — значит, температура приближалась к 0°. Меня спасали мой прекрасный военный романовский полушубок и теплые сапоги. Особенно мучителен был холод при тюремном недоедании — даже голоде. Помню, как несколько дней подряд мне давали хлеб, явно облитый керосином. Первый раз я заявил об этом страже, которая отобрала у меня весь мой хлебный паек, ничего не дав взамен. На основании этого опыта следующие дни я ел свой керосиновый хлеб, уже ничего не заявляя страже. Наконец однажды мне дали ломоть хлеба, буквально пропитанный керосином. Я еще не начал его есть, как в камеру вошел тюремщик и сказал: «Сегодня хлеб облит керосином; если вы его меньше половины съели, то отдайте — новый паек получите». Я подошел к своему чемодану, где хранился у меня хлеб, и, заслоняя его спиной от тюремщика, быстро отломил от пайки около трети. Отдав оставшийся кусок тюремщику, я получил от него новый полный паек хлеба, без керосина. Хотя керосиновый хлеб — большая гадость, я ясно помню, что я радовался не столько тому, что наконец получил хлеб без керосина, сколько тому, что мне удалось утаить сверх того кусок в 60—70 грамм. Кажется, я никогда в жизни не ел с таким удовольствием самое вкусное блюдо, как в этот счастливый день поедал кусок суррогатного хлеба, пропитанный керосином!

Другим мерилом моего тогдашнего голода может служить то, что я однажды попробовал есть запасной кусок мыла, который захватил с собой из дома. Могу засвидетельствовать, что есть мыло даже при большом голоде не стоит: рот наполняется противной пеной и проглотить нечего!

От голода у меня тогда не раз бывали какие-то кулинарные миражи. При этом мне мерещились вовсе не утонченные яства, а, наоборот, грубые, но очень питательные и жирные блюда. Помню, например, мучительно реальный образ и запах гречневой каши,

залитой топленым салом. В прежние времена топленое сало не только не привлекало меня, но самый запах его действовал на меня отталкивающе...

Несколько раз я лишался чувств от голода. Помню, я раз пришел в себя днем, лежа на койке. Надо мной склонился начальник тюрьмы и еще кто-то. Я услышал голос докторши-чекистки: «Это — ничего: просто от голода...» Вероятно, стража, заметив, что я лежу на койке без сознания, заподозрила самоубийство и вызвала начальство. Я совершенно не помню, как я лишился сознания и сколько времени длилось это состояние. Во всяком случае, на этот раз я выиграл от беспокойства стражи. Вконец уморить меня голодом не пожелали, и на некоторое время мне был назначен «усиленный паек», то есть выдавалось больше обычного супа и приблизительно полуторная порция хлеба. И на том спасибо! На «усиленном пайке» я, хотя и продолжал страдать от голода, но все же больше в обморок не падал. Впоследствии, когда мне разрешили передачи из дома и я раз или два в неделю стал получать оттуда добавочное питание, «усиленного пайка» меня лишили. А как трудно было моим в то время доставать для меня это «добавочное питание», даже самое примитивное! Сколько людей — родных, знакомых и даже незнакомых — им в этом помогали... Много трогательного узнал я потом. Если я претерпел немало зла от людей, то много видал и добра от них; иных я не знал до того и никогда не узнал и позже. Мысленно благодарю Бога и их. Вообще могу сказать, что в жизни я получил от людей гораздо больше добра, чем сам сделал его людям.

«К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания»,— говорит Герцен в «Былом и Думах». Сам Герцен (которого, по-моему, невероятно переоценивала наша интеллигенция) имел весьма малый опыт в тюремном отношении, но, думается мне, высказал очень правильную мысль относительно. одиночного заключения. Человеку малокультурному, или не имеющему внутреннего содержания (две вещи—часто не совпадающие!), или, наконец, лишенному выдержки, оно особенно тяжело, и наша прежняя военная юстиция правильно воспрещала одиночное заключение для нижних чинов на срок больше чем 3 месяца. На опыте было установлено, что малокультурные люди нередко сходили с ума при более долгих сроках пребывания в одиночках. Обратно — более культурные люди часто предпочитали одиночное заключение заключению в общей камере. Если не говорить о заключении с интересными или симпатичными людьми при условии пользования книгами, я лично предпочитаю одиночное заключение общему. Без книг одиночное заключение, конечно,

очень утяжеляется, но и оно выносится культурными людьми обычно куда легче, чем некультурными. При этом, как мне кажется, очень многое зависит от того, как сам заключенный распределяет свое время. Самое плохое — отказ от какой-либо системы или организации в этом отношении. Я знал, что называется, «совершенно интеллигентных» людей, которые очень скоро психически расхлябывались в тюрьме, не находили нужным создавать для себя какие бы то ни было рамки, пусть даже отчасти фиктивные. Результаты для них самих получались самые плачевные. Могу только еще и еще раз благодарить мою мать, давшую мне с детства привычку к строгой дисциплине, перешедшую с возрастом в самодисциплину. Моя мать тогда не знала, что этим она очень облегчит мне тюремное заключение...

К тому, что говорит Герцен о необходимости внутреннего содержания для более легкого перенесения тюремного заключения, можно было бы, на основании опыта, прибавить еще одно необходимое и одно желательное условие: я говорю, во-первых, о привычке к строгой самодисциплине, а во-вторых, о способности относиться к вещам и событиям с некоторой иронией. Эта последняя способность тоже немало облегчала мне тюремное заключение. Я видел, с другой стороны, как отсутствие этой черты характера — кстати сказать, весьма обычное у наших интеллигентов — значительно утяжеляло им многие тюремные испытания. Часто единственный способ не воспринять вещь трагически, это — принять ее иронически. Так же, как я приучил себя в тюрьме воспринимать события под углом зрения «и это пройдет», я сознательно развивал в себе подход к вещам с иронической точки зрения. Это мне помогало. Конечно, к тому и к другому нужно иметь природную склонность; можно сознательно развивать в себе эти задатки, но трудно создать их из ничего.

Вообще можно сказать, что ирония дана человеку, чтобы утешать его в том, чем он является или что он переживает, тогда как воображение дано ему, чтобы утешать его в том, чем он *не* является или чего он *не* имеет.

Конечно, тюремное заключение — вещь весьма неприятная, вряд ли кто будет со мною в этом спорить, но лично я переносил его, слава Богу, сравнительно легче многих. Это не только мое личное мнение, но то же мне говорили и внешние наблюдатели, в частности, некоторые опытные тюремные сидельцы, социалисты, долго пробывшие в заключении и при старом режиме, и при большевиках.

Как я уже говорил выше, после того как Агранов отпустил меня со словами: «готовьтесь погибнуть!», я сидел в одиночке

безо всякого допроса несколько недель. Сидел я в довольно тяжелых условиях, но все же в двух отношениях мое положение за это время несколько улучшилось. Во-первых, после нескольких обмороков от недоедания мне все же не дали умереть от голода, и я начал получать «усиленный паек», во-вторых, я получил от одного из тюремщиков неожиданный щедрый дар...— пустую бутылку: вряд ли кто из не побывавших в аналогичных условиях заключения поймет, какое это дало мне облегчение. Дело в том, что у меня в камере все не было «параши», а выводили меня не более трех раз в сутки...

Однажды ко мне в камеру зашел стражник забрать запасную койку. Это был типичный унтер-офицер нашей армейской кавалерии. Неожиданно стражник прервал обычное молчание и вполголоса обратился ко мне с вопросом: «Казацкое — имение не ваше было?» — «Нет,— ответил я,— оно моих двоюродных братьев...» — «Хорошее имение...— задумчиво заметил тюремщик. — А у вас тут даже и параши нет...» — «Да, плохо без нее»,— согласился я. На этом разговор кончился. Однако через несколько дней, когда в мой коридор в следующий раз вернулся тот же караул, тюремщик кавалерист осторожно приотворил дверь камеры (чтобы другие чекисты не слышали) и передал мне пустую бутылку: «Возьмите». Все без «параши» легче будет!» Я от души поблагодарил добросердечного тюремщика.

Как бы то ни было — усиленный паек и пустая бутылка несколько улучшили мое положение.

Вдруг, в один прекрасный день (удивительно, что это было именно днем) меня снова потребовали на допрос.

Повели меня на этот раз не в кабинет Менжинского, а в какую-то другую комнату. Перед нею была канцелярия и щелкали на машинках типичные «советские барышни».

Мне поставили стул посреди комнаты, против двери к следователю, а рядом со мною встал сопровождавший меня солдат с винтовкой.

Так я сидел, в ожидании, довольно долго. Наконец дверь кабинета раскрылась и из него вышло несколько начальственного вида чекистов или советчиков, среди них — Агранов. Последний, с деланно любезным лицом, подошел ко мне и так, чтобы все слышали, сказал: «Извините, пожалуйста, что я вас несколько задержал, но я был очень занят».— «Пожалуйста, я не спешу»,— таким Же любезным тоном отвечал я ему. Сказал я это отнюдь не иронически, а по обычному светскому рефлексу, но по резко изменившемуся лицу Агранова я тотчас понял, что он снова счел, что я над ним издеваюсь.

Я вошел в кабинет Агранова. Он сообщил мне, что арестована

и содержится в той же Внутренней тюрьме моя сестра Соня. «Впрочем,— почему-то добавил он,— она сидит в прекрасных условиях, просто не в камере, а в будуаре. Наши сестры в царское время так не сидели. Ваша сестра все показала нам про вашу деятельность и совместную работу с нею».— «Моя сестра так вам показать не могла, потому что я никогда с ней никакой политической деятельности не вел»,— отвечал я.

«Да,— перешел на другую тему Агранов,— весь политический архив вашего отца, оставленный в Ростове,— в наших руках и он вас изобличает (это была все ложь). Кстати, Лионское радио на днях сообщило, что ваш отец умер».— «Вы можете сообщить мне подробности?» — спросил я.— «Нет, их не было.» — «Позвольте обратиться к вам с просьбой,— сказал я,— не объявляйте, пожалуйста, моей сестре про смерть отца.» — «Хорошо»,— ответил Агранов и, как я потом узнал, он действительно сдержал свое обещание.

Что это — правда, или только, чтобы меня расстроить? — сверлила меня между тем мысль, и снова вся воля моя напряглась, чтобы сохранить полное наружное спокойствие. Это мне, кажется, удалось, но в голове у меня бурно мешались и сталкивались разные мысли и чувства; даже в моих воспоминаниях об этом допросе осталась какая-то хаотичность.

Агранов почему-то устроил мне неожиданную очную ставку с Леонтьевым. Мы были рады увидеть друг друга, но оба не поняли тогда, зачем нужна была следователю эта очная ставка.

Когда увели Леонтьева, Агранов передал мне на прочтение его «собственноручные показания». Я уже говорил выше, как на первом моем допросе я неосторожно сообщил Агранову, что я плохо знаю почерк Леонтьева. Тут я не вспомнил про это и отнесся к рукописи, к сожалению, совсем не критически. Может быть, то, что я только что видел Леонтьева, который, отвечая Агранову, между прочим упомянул о своих показаниях, бессознательно вселило в меня доверие к подлинности документа, который был мне передан следователем. Возможно, сама очная ставка была задумана Аграновым именно с этой целью. Вероятно, еще большее значение имел для меня в этом отношении тот психологический шок, который причинил мне Агранов своим сообщением.

Так или иначе, когда я стал читать «собственноручные показания» С. М. Леонтьева, у меня не явилось по-доэрение о возможности их подложности. А между тем, как оказалось, эти «показания Леонтьева» оказались фальсифицированными. Я впоследствии читал в делах Верховного Трибунала подлинные его показания и узнал многое из того, что я читал тогда у Агранова,

по в «аграновской» рукописи были целые пассажи, которых в подлинникене *было;*в частности, помнится, всего, что касалось нашей Военной Комиссии.

Я полагаю, что эти «не-леонтьевские» данные (в общем, но не во всем соответствующие истине) Агранов получил от Виноградского, а может быть — отчасти — от расстрелянного ранее начальника штаба нашей военной Организации полковника Ступина. Никто из нас на допросах этих данных не подтвердил, а теперь мне была подстроена Аграновым ловушка, в которую я и попался...

Увидав из чтения «показаний», что Леонтьев о многом рассказывает, я, к сожалению, решил переменить мою первоначальную тактику и дать показания по существу дела, как все другие мои сопроцессники. Я думал этим смягчить показания Леонтьева, на самом же деле я «смягчал» то, чего он вообще не показывал, то есть я подтвердил то, о чем у ВЧК были только доносы и подозрения, но не показания обвиняемых.

В частности, я «смягченно» говорил о Военной Комиссии, о которой, как я уже упомянул, Леонтьев до того совсем не говорил в своих подлинных показаниях. Таким образом, я опасно выдался за нашу общую линию защиты, вредя и самому себе и своим друзьям. Должен сказать, что никто из них никогда ни единым словом не упрекнул меня, но я сам виню себя за эту большую оплошность.

Устно я дал свои показания Агранову, соглашаясь, комментируя или оспаривая текст фальшивых леонтьевских показаний. Однако отпуская меня с допроса, Агранов поручил мне записать свои показания в указанной им форме, то есть без ссылок на ложные показания Леонтьева. Все выяснилось только позднее, когда мы встретились с Леонтьевым в Бутырской тюрьме и смогли обо всем переговорить.

На следствии по нашему делу Агранов пользовался разными уловками, но, насколько я знаю, подложными показаниями он воспользовался тогда только со мною. Вообще же мне потом пришлось слышать, что этот метод применялся ЧК уже не раз.

Моя ошибка, о которой я тогда совсем не имел понятия, меня, конечно, не мучила, но я вернулся после допроса в камеру психически совершенно измолоченный. Может быть, если бы Агранов не объявил мне 6 смерти Папа, я бы больше взволновался известием об аресте Сони, но тут ее арест подействовал на меня не так сильно, как если бы мне было сообщено только о нем одном. Хотя Соня, которой было тогда 19 лет, действительно ни в чем политическом замешана не была и ничего не знала и даже не подозревала о моей секретной деятельности, она, конечно, все же

могла сильно пострадать от ЧК. Однако я почему-то был в этом отношении полон безотчетного оптимизма и не сомневался в более или менее скором освобождении Сони. Волновался я больше относительно условий ее заключения, особенно ввиду ее слабого здоровья и привычки всегда быть окруженной самым заботливым уходом. Главное, я волновался за Мама ввиду наших обоих арестов. Арест Сони был для нее, конечно, совершенно неожиданным и тяжелым ударом. Слава Богу, действительность даже превзошла мои самые оптимистические чаяния: Соня была освобождена, просидев всего несколько недель, и, по тогдашним понятиям, в прекрасных условиях. Я узнал обо всем этом, однако, только значительно позже.

В правдивости того, что сказал мне Агранов об аресте Сони, я почти не сомневался, хотя сознавал, что и это известие, как и известие о смерти Папа, могло быть ложно и сообщено мне ЧК по ее соображениям. Однако какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что и то и другое известие — верны. В смерти Папа (Лионское радио) у меня все же было больше сомнений.

Когда через некоторое время мне было разрешено писать по одному короткому письму в неделю и получать такие же ответы, я запросил о Папа Машу Авинову. Я сообщил ей, что не хочу спрашивать об этом Мама, не зная, знает ли она сама что-либо о Папа. Если же Мама знает о смерти Папа, я не хочу, чтобы она знала, что мне об этом известно.

Я получил ответ от Маши Авиновой, подтверждающий известие о смерти Папа; впрочем, сообщение по радио, безо всяких подробностей, могло еще оставлять место для сомнений. Маша писала, что Мама знает о сообщении Лионского радио, но решила ничего не сообщать мне об этом... Так мы с Мама несколько месяцев скрывали друг от друга, что мы знаем о смерти Папа. Известие это впоследствии подтвердилось и с другой стороны.

Время шло и условия моего заключения улучшались. С одной стороны, прошли морозы и в камере потеплело, а с другой — мне разрешили пользоваться книгами тюремной библиотеки. Это было большое облегчение, хотя книги выдавались в совершенно недостаточном количестве и, вдобавок, не по моему выбору. На долгое время (не помню точно на сколько) мне дали третий том какой-то «Всемирной истории» на немецком языке и книгу Бальзака «Contes drolatiques», у которой было оторвано и начало и конец... Но все-таки, как я наслаждался этими книгами и прежде всего самим процессом чтения! Позднее мне было разрешено получать книги из дому, и я вполне взвидел свет. Читать, впрочем, можно было не так уж много: днем камера моя была

темноватая, а вечером освещалась очень слабенькой лампочкой на потолке. На ночь же электричество в камерах тушилось, кажется, в 10 часов вечера. Но все это были пустяки по сравнению с периодом полного лишения чтения.

Я получал из дома книги разнообразного содержания и, в частности, мне доставили Библию. Упоминаю это потому, что, как мне говорили потом некоторые епископы и священники, им в тюрьме чинали затруднения в получении религиозных книг, например Евангелия.

После приблизительно трех с половиной месяцев одиночного заключения я был переведен в общую камеру той же «Внутренней тюрьмы ВЧК». Здесь тоже мне пришлось просидеть несколько месяцев. Остальные насельники нашей камеры менялись довольно часто, и мне пришлось таким образом перевидать много народа.

Тут были и старые тюремные сидельцы-социалисты, побывавшие ранее в «царских» тюрьмах и ссылках. Все они говорили, что прежние условия тюремного-заключения были куда легче нынешних. Были тут и военные, от прапорщика до генерала. Прапорщик попался мне из мелких купцов; он постоянно скулил и жаловался то на условия заключения, то на свою «нервность» и доходил даже до истерических припадков. В частности, помню — то был единственный случай среди заключенных в моей практике — этот физически здоровый молодой человек отказался мыть пол в нашей камере, когда до него дошла очередь. Я был «камерным старостой» и, только подняв на него голос, заставил его проделать то, что делали все мы (кроме больных, за которых, вне очереди, работали здоровые). Наоборот, помню, как мне было трудно не допустить мыть пол камеры старого генерал-лейтенанта Турова (ему было около 70 лет). Когда очередь дошла до него, я ему ничего не сказал и сам стал мыть камеру, как будто очередь была моя. И вот вдруг тот самый хамоватый прапорщик, которого я заставлял мыть камеру в его очередь, вслух заявил, что это «несправедливо». «Почему генерала не заставляют мыть пол в его очередь, а меня заставляют? Теперь нет генералов!» Ничего не подозревавший Туров вскочил со своей койки и начал отнимать у меня грязную тряпку. Вся камера была возмущена прапорщиком, и несколько дней с ним никто не разговаривал. Несмотря на протесты Турова и почти насильно, он был исключен из очереди мойки камеры, как старше 60-ти лет, на этот же раз все (кроме прапорщика) помогли мне домыть пол. Надо сказать, что такого хама, как этот прапорщик, кичившийся своим «демократическим происхождением» (тогда это было выгодно), я среди заключенных

военных больше не встречал. Кстати, припоминаю, как он в камере проповедовал справедливость и целесообразность аграрной реформы, по которой безвозмездно отбираются у собственников и распределяются среди «трудящихся» все имения «свыше 100 десятин». Наивный прапорщик на следующий же день сообщил нам (вероятно, проговорился!), что его отцу принадлежит участок в... 98 десятин! За что именно был арестован ЧК этот прапорщик — мне неизвестно; во всяком случае он сидел не по политическому делу.

Кого только у нас не было! Несколько дней сидели с нами два красноармейца из «заградительного отряда». Это были крестьянские парни. Они простодушно рассказывали, как они отбирали — по службе и в собственную пользу — продовольствие у мешочников, везших его в Москву (за самовольный грабеж их и засадили), и как выколачивали последнее зерно и картофель у крестьян Пензенской губернии. Один из них тут же с возмущением сообщал нам, что ему писали из дому, как у них в Смоленской губернии хозяйничали такие продовольственно-заградительные отряды; наши парни открыто одобряли какого-то крестьянина, убившего нескольких красноармейцев из такого отряда: «Туда им и дорога, с... сынам, народ только грабят!» Я заметил им, что ведь они сами делали то же в Пензенской губернии. «Ну, там дело другое,— убежденно заметил красноармеец,— у них — чернозем, а у нас земля бедная!» Sancta simplicitas!

Как-то ночью я проснулся: на койке рядом со мною. шел разговор шепотом. Один из красноармейцев лежал, а другой сидел у его изголовья. Услыхав, о чем идет речь, я, признаюсь, стал нарочно прислушиваться, притворяясь спящим. «Вот, говорят, всему виною господа... А я вот думаю, господа тоже разные бывают... Во, посмотри наших (речь шла, очевидно, о генерале Турове и обо мне). Господа хорошие... Конечно, землю-то у них отнять следывает...».— «Да, а так пущай себе живут»,— перебил другой красноармеец. «Нет, зачем просто живут,— продолжал первый,—пущай нами управляют. Они умнее нас, это по всему видать, пущай и управляют, а то наши, когда заправлять начинают, одна грубость выходит... ничего не получается... народу даже труднее...» — «Да,— согласился второй,— пущай управляют... Ну, а землю у них беспременно отнять следывает».

К сожалению, в камере еще кто-то проснулся, и красноармейцы прекратили свой разговор.

Сидел с нами несколько дней какой-то «американский гражданин» — еврейский эмигрант в США из Гомеля. Он эмигрировал во время «кровавого царизма», чтобы избежать

воинской повинности, а теперь, «услышав о свободе», вернулся обратно, проведать своих... Только у него советская власть, «против которой он ничего не имеет», отобрала все доллары, которые при нем были, да еще почему-то арестовала... «Это мне напоминает царизм!» — говорил новоиспеченный американец. «А при царе у вас отбирали деньги и арестовывали?» — спросил я его. «Нет,— отвечал еврей,— но могли арестовать...» При этом «американец» обращался ко мне всегда «мистер князь Трубецкой».

Появился у нас в камере и француз, ни слова не говоривший по-русски. Как он был рад встретить во мне человека, говорящего на его языке!

Француз говорил: «Я коммерсант, я не занимаюсь политикой. Я приехал в Архангельск заниматься торговлей, как они говорят — «товарообменом»... Они у меня все отобрали... и вот я тут! и, Боже мой, в каких условиях». Бедный француз очень мучился: «Без моей бутылки бордо я ничего не могу проглотить»,— а тут не было не только бордо, но и многого другого, гораздо более существенного. Бедный Л. признался мне, что он, конечно, «как образованный человек» в Бога не верит, но тут, в России, ему так плохо, что... «иногда я читаю молитву. Это мне во всяком случае не может повредить, и потом... кто знает? Я, видите ли, воспитывался в католической семье... Но есть все же вещи, которых я не понимаю. Например, как вы — образованные и богатые — могли жить в этой стране, когда существовала... Франция!» Так многого и не поняв, Л. был уведен из нашей камеры и пропал с моего горизонта.

В один прекрасный день к нам в камеру ввели огромного рыжего пруссака, тоже не говорившего ни слова по-русски. Это был берлинский рабочий, металлург, прошедший войну на Западном фронте солдатом в германской артиллерии. Он был «спартаковец», коммунист по убеждениям. Он, по его словам, принужден был бежать из Германии, где рисковал головой как участник какой-то попытки коммунистического «путча». Бежал он, понятно, в Советскую Россию — рай пролетариата. Тут он был устроен рабочим на какой-то завод, но условия труда и вообще жизни в России вызвали его горячее возмущение. Он не скрыл своих чувств от германских коммунистов, бывших в Москве, и «благодаря этим свиньям», которые на него донесли, был арестован. Через переводчика он «все выложил» следователю ЧК, так как он не может допустить, что настоящие коммунисты могут терпеть такие порядки, какие он видел на своем заводе. Он не сомневался, что его протесты и указания, как и что именно надо исправить, будут услышаны и он будет «триумфирен». Однако время идет, а его даже на свободу не выпускают, а держат на

голодном пайке в тесной тюрьме. «Это вы, русские,— говорил мне берлинский рабочий,— привыкли жить в таких условиях, но мы, немцы,— нет... Про здешний рай для пролетариата мне все налгали. Я предпочитаю вернуться в Германию, даже рискуя жизнью...»

Немец наивно и неосторожно наговорил мне столько, что я совершенно убедился в том, что такому коммунисту в Советской России головы не сносить. Я несколько раз убедительно советовал ему придерживать свой язык в критике здешних условий, если он хочет живым вернуться на родину, но не сомневаюсь, что при его характере и импульсивности он все равно не мог внять советам осторожности.

От немца ˆспартаковца» я услышал красочные подробности конца войны на Западном фронте и того, что тогда творилось в Германии. Помню, например, его рассказ о том, как его батарея возвращалась из Франции в Германию. На какой-то станции, где долго на запасных путях стоял поезд, он сам и многие солдаты его эшелона, как и он революционно настроенные, присоединились к «народной демонстрации» против местных булочников, «моривших народ голодом». Народ, рассказывал мне спартаковец, захватил нескольких булочников и возил их по городу в «позорной повозке». Потом на площади их заставили каждого съесть по сырой, дохлой крысе (а наиболее виновного — даже живую крысу) и, удовольствовавшись таким наказанием, решили отпустить на свободу. Однако «фронтовые солдаты», и, конечно, в первую очередь сам мой берлинский рабочий, сочли это совершенно недостаточным и, «когда крысы были съедены», растолкали штатскую толпу и с военной энергией тут же на площади повесили всех булочников — «врагов народа»...

Да, подумал я, большевизм в Германии, пожалуй, даже более жесток, чем у нас; у нас просто вздернули бы, не заставив предварительно съесть крыс... Но мой немец еще не кончил своего рассказа, и я увидел другие отличительные черты между нашей и Германской революцией.

«Повесили булочников,— говорил немец,— возвращаемся к своему эшелону и вдруг видим, как толпа штатских выволакивает из вагонов наших офицеров и рвет с них погоны. Эти мерзавцы-штатские спокойно сидели в тылу, когда мы сражались на фронте, а теперь они смеют оскорблять наших офицеров! Мы бросились на их защиту, выбили немало зубов и пустили кровь из носу у этих штатских мерзавцев... Кое-кого из них мы даже убили... это, пожалуй, было нехорошо»,— задумчиво прибавил он.

Да, подумал я опять, это не Россия... У нас солдаты-коммунисты не бросились бы на толпу, рвущую погоны с их

офицеров.

Я не скрыл от немца полного моего несочувствия к их дикой расправе с булочниками и выслушал удивительный ответ, как мне показалось, искренний и отнюдь не иронический: «Что же вы хотите, мы люди необразованные. Мы только и можем действовать «брутально»; вот если бы образованные так делали, вы бы могли их тогда бранить». Вообще, у этого пролетария было удивительное уважение к «образованным». К этой категории он причислял и меня и выражал свои чувства тем, что не допускал меня делать то, что, по его мнению, было не дело «образованных», например, выносить камерную «парашу», когда была моя очередь. «Это не офицерское дело!» —сказал он, огромной сильной рукой выхватывая у меня ручку «параши». «Я не офицер»,— сказал я. Но мой немец с хитрым видом подмигнул мне; знаем, мол, скрываешь!.. «Я знаю, что вы офицер,— сказал он мне как-то позднее,— и меня даже не удивило бы, если ваша фамилия начинается с «фон»... Но не беспокойтесь, я этого никому не скажу. Я понимаю, что это сейчас могло бы вам повредить...» Так и ушел из камеры мой «спартаковец», унеся с собой эту «тайну» про мое «офицерство», унес ее, вероятно, в чекистский подвал для расстрелов.

Попадали к нам в камеру иногда и коммунисты— «преступники по должности». Обычно они скрывали, кто они, и мы могли только об этом догадываться. Однако я помню одного, который прямо назвался каким-то комиссаром из Уральской области. Он был совершенно возмущен тем, что его арестовали и даже «доставили в центр». Сидя на койке с одним из наших сокамерников (спекулянтом), он однажды, не" понижая голоса, рассказывал про свое дело. Вся камера слышала его рассказ. В его краях были контрреволюционные восстания казаков. «Мы эту гидру выжигали каленым железом»... Как-то раз ему, комиссару, пришлось вести в степь группу приговоренных к расстрелу казачек. Расстрелы производились в каком-то овраге. «Девки и молодки подвернулись как на подбор красавицы,— говорил комиссар.— В самом соку, значит... Прямо жаль расстреливать... Ну, думаю, им все равно умирать, зачем же им перед концом ребят не утешить... одну и самому себе выбрал. Вас, говорю, от этого не убудет... Ну, а они и слышать не хотят, кричат, ругаются, ну прямо — несознательные... Ничего не поделаешь, согласия не дают, чего, думаю, на них, контрреволюционерок, смотреть... мы уж без согласия...» — «Что же, потом вы их расстреляли?» — спросил спекулянт. «А то как же? — ответил комиссар.— Все как полагается, мы свое дело знаем. Ни одна не ушла!» Генерал Туров и я слушали рассказ, не глядя на рассказчика. Мы переглянулись.

Поразителен был тон комиссара: он говорил совершенно без цинизма, даже как-то простодушно. Было видно, что он совершенно уверен в своей полной правоте и искренно не понимает, в чем его, собственно, может винить начальство: ведь свое дело — расстрел — он произвел, «как полагается»... Признаться, мы с Туровым тоже были несколько удивлены его аресту: конечно, ничего серьезного комиссару за это дело не грозило, но все же ВЧК проявила в данном случае какую-то неожиданную «буржуазную щепетильность».

Как-то раз ночью к нам в камеру ввели мальчика, лет 10—12. Утром мы его расспросили. Он оказался из крестьян какой-то южной губернии. «Красные» за что-то спалили его деревню. Отец и мать погибли, его маленькие братья и сестры куда-то разбрелись, и что с ними сталось — мальчик не знал. Сам он как-то попал в «Волчью сотню» к Шкуро и там сделался разведчиком. Пользуясь своим возрастом, он свободно проникал в деревни, занятые «красными», и потом возвращался к своим с почерпнутыми сведениями. Мальчишка ненавидел «красных», а кроме того, соответственно своему возрасту, увлекался самой разведывательной службой. Как-то раз наш разведчик попал в руки «красных». Его заподозрили в шпионаже, он отрицал, но под пыткой признался и рассказал все. Спина его была в неизгладимых рубцах, а кисть руки раздроблена рукояткою нагана при допросе. Почему мальчишку не прикончили на месте, не знаю. То ли думали, что он не все еще рассказал (вероятнее всего—так), то ли ввиду его возраста— 12 лет (с виду ему можно было дать меньше). Мальчик был поразительно способен и просто налету схватывал все то, чему (безо всяких учебников) учили его ген. Туров и я. Он прекрасно учился арифметике и с невиданной быстротой запоминал стихотворения. Помню, как однажды днем из нашей камеры одновременно увели ген. Турова и мальчика-разведчика. Потом выяснилось, что тюрьму ВЧК хотели показать какой-то делегации Коммунистического Интернационала, съезд которого происходил в это время в Москве. Однако даже проворенным иностранным коммунистам не хотели показывать в тюремных камерах убеленных сединами стариков и — еще более — детей. Поэтому их на время убрали, и пока делегация обходила тюрьму, они сидели в помещении, где жила стража. Кстати скажу, что другой раз перед обходом тюрьмы какими-то иностранными коммунистами стража по камерам спрашивала: «Граждане, есть здесь, кто на языках говорит?» Потом оказалось, что в камеры, где были люди, владевшие иностранными языками, иностранцев не водили. Продуманная организация была ВЧК! Помню, как в то время мне пришлось пережить в тюрьме пожар. Это была большая

трепка нервов.

В камере нашей однажды запахло гарью. Запах все усиливался и из коридора в дверные щели потянуло легким дымком. Я уже говорил, что в тюрьме ВЧК царила мертвая тишина. Тишина эта еще не нарушалась, но все же мы чувствовали, что происходит что-то совсем необычное. Какая-то беззвучная волна нервности прокатывалась по всей тюрьме, и каждый чувствовал это на себе самом. К большому моему сожалению, в это время в камере уже не было милейшего ген. Турова, и все население ее было тогда исключительно малосимпатично. Хамоватый прапорщик, о котором я уже говорил, и один неопределенный полуинтеллигент, советский служащий, по-видимому «преступник по должности», были на границе истерического припадка.

Вдруг где-то в коридоре раздался сдавленный крик: «Пожар!» Послышался легкий топот стражи, бегавшей по коридору в своих валенках, несмотря на летнее время. Заключенные все нервно заходили по камерам. «Выпустите, горим!» — невнятно кричали где-то из отдаленной камеры. Нервы двоих наших заключенных не выдержали, они начали плакать, кричать завывающими голосами и нервически стучать в двери. Стража отвечала ругательствами и угрозами. Но вдруг она стихла: все стражники с нашего этажа убежали. Внезапное замолкание стражи было страшнее ее криков. Тем временем через оконную щель мы слышали голоса снаружи, во внутреннем тюремном дворе. Тюрьму оцепляли стрелки и им громко отдавались приказания стрелять в заключенных, если они попытаются как-то вырваться из загорающейся тюрьмы. Я думаю, что эти повторные приказы стрелять давались нарочно громким голосом, чтобы мы это слышали... Подъехали, судя по звукам, и пожарные. Вода сильными струями била куда-то выше нас (потом мы узнали, что горел этаж над нами).

Все это вместе взятое создавало очень напряженное настроение. Я старался, насколько мог, успокаивать моих сокамерников. Это было трудно, особенно ввиду наличия двух истериков. Признаюсь, мне самому было очень трудно соблюдать полное спокойствие: нервы были натянуты, как струны. Чувство, что вокруг тебя горит дом, а ты сидишь в запертой камере,— весьма неприятное.

Через некоторое время сделалось очевидным, что пожар больше не разгорается, а, наоборот, слабеет. Запах гари в нашей камере, пожалуй, еще усиливался, но было ясно, что опасность сгореть миновала. Даже наши истерики стали успокаиваться. «И это прошло!»—подумал я...

В той же камере Внутренней тюрьмы Особого отдела ВЧК мне пришлось болеть при довольно неприятных условиях. У меня был сильный жар, болела голова и сильно опухли гланды на шее. Что именно у меня было, не знаю. Осматривавшая меня докторша-чекистка на мой вопрос ничего не ответила, только сказала, что меня надо перевести в больницу. Однако меня туда не перевели. При Внутренней тюрьме таковой не было, а больных посылали в Бутырскую тюремную больницу. Как я узнал много позже, в это время там лежал С. М. Леонтьев и, вероятно, именно поэтому (чтобы я не встретился с ним) Агранов воспрепятствовал моему переводу туда, иного объяснения «вето» Агранова я не вижу. Так я и остался болеть в нашей камере. Стояла очень жаркая погода. Маленькая камера была переполнена. Окно, как я уже говорил, не открывалось, и порой в камере было нечем дышать. Помню, как во время болезни меня особенно мучила эта духота и я попробовал сделать трубку из бумаги и, вставив ее в щель от приоткрытого окна, дышать через нее. К сожалению, мое изобретение оказалось на практике мало полезным. Так я проболел, если не ошибаюсь,- недели две,- после чего стал поправляться.

Я еще не совсем отошел от болезни, как меня перевели в Бутырскую тюрьму (не в тамошнюю больницу). Когда меня и нескольких других заключенных вывели из камер на улицу и под конвоем пешком «погнали» в Бутырки, у меня, от долгого сидения без выхода на воздух и от слабости после болезни, закружилась голова, и скоро я почувствовал, что не могу идти дальше, вдобавок неся свой чемодан с вещами. Я чувствовал себя настолько плохо, что не ясно помню, как все это произошло, но стража оказалась мягкосердечной и «реквизировала» для меня извозчика. На него сели мы с конвоиром и положили более крупные вещи всей перегоняемой партии. Извозчик отчаянно ругался, справедливо доказывая, что столько вещей он везти не может. Часть их сняли, и мы наконец тронулись.

Раза два-три по пути мы меняли извозчиков, так как им ничего не платили (денег у нас, конечно, ни у кого не было). Смена эта происходила следующим образом: когда другие порожние извозчики (а их тогда было вообще очень мало в Москве) издали замечали приближение своего собрата, везшего заключенного с конвоиром, они поспешно нахлестывали лошадей и удирали от нас куда глаза глядят. Поэтому мы должны были ловить зазевавшихся «ванек», спокойно ожидавших платных седоков и не чуявших приближавшейся к ним в нашем лице опасности. В таких случаях наш прежний возница радостно улыбался, а новый вполголоса ругался. В общем, перегрузка

происходила довольно мирно и добродушно. По-видимому, все это сделалось уже обычным бытовым явлением, и тихая ругань вновь реквизированного извозчика не носила характера страстного протеста, а была скорее ворчанием на свою несчастную судьбу. Стражника извозчик, разумеется, боялся ругать, но и меня — беззащитного заключенного — извозчики не ругали: они, как и прохожие на тротуарах, смотрели на нас, большей частью, сочувственно. Один старый извозчик обратился ко мне с вопросом:

«Вы, барин, языки верно знаете?» — «Знаю»,— отвечал я. «Ну, таких теперь и забирают,— продолжал извозчик,— скольких в тюрьмы сажают... просто стихия! как есть стихия!..» На этом месте мой конвоир оборвал извозчика: «Ты, старик, помалкивай, а то и сам туда попадешь!» Извозчик испугался: «Да мы что, мы народ простой, в ваши дела не вмешиваемся...» — «Молчи, говорят тебе!»—прикрикнул на него конвоир... Разговор пресекся.

На улицах я заметил афиши, призывающие народ раздавить «гидру контрреволюции» в лице «кровавого барона Врангеля». Я сел в тюрьму еще до окончательного поражения Деникина и тут только впервые из этих афиш узнал о новой — врангелевской — странице «Белой борьбы».

Наконец после долгого и для меня утомительного путешествия (я был совершенно опьянен воздухом) мы прибыли в Бутырскую тюрьму. Тут оказалось, что я переведен не в саму эту тюрьму, с ее отдельной — не чекистской — администрацией, а в «секретные одиночки» Особого отдела ВЧК, которые размещались в МОКе (Мужской одиночный корпус тюрьмы). ВЧК занимала там весь верхний этаж и охраняла его своей специальной стражей. Порядки там были не «бутырские», а чекистские.

Ввиду переполнения тюрьмы меня поместили в одиночную камеру —*втроем*с перегнанными, как и я, из Внутренней тюрьмы крупным промышленником инженером И. Н. Лопатиным и Товарищем московского городского Головы (после Февральской революции) соц.-рев. С. А. Студенецким. За несколько месяцев нашего совместного сидения у меня с обоими создались хорошие отношения (особенно с Лопатиным), но между собой они не слишком ладили. Известно, что совместное заключение обостряет малейшие трения между людьми, и это вполне подтвердилось на примере Студенецкого и Лопатина. Они обычно удерживались от непосредственных личных столкновений, но в разговоре со мною каждый из них постоянно пускал ядовитые стрелы в сторону своего сокамерника. «Я совсем не отрицаю относительной ценности буржуазной культуры,— говорил мне, например, Студенецкий,— но не*толстокожим толстосумам*говорить о

ней...» При этом тон и выражение его лица не оставляли ни малейшего сомнения, что к этой категории он причисляет Лопатина. «Когда люди оскотиниваются настолько, что отрицают существование Бога...» — говорил мне в другом разговоре Лопатин (Студенецкий был атеист). При этом оба были милейшие люди. На их счастье, они не были в камере вдвоем; боюсь, что заключение с глазу на глаз кончилось бы ужасным скандалом.

Одиночная камера наша была для троих очень тесна, и двигаться в ней было почти невозможно, но высокое окошко, выходившее на двор, было не замазано, как во Внутренней тюрьме, и могло открываться, поэтому воздуха здесь, несмотря на тесноту, было гораздо больше. На прогулки из «секретных одиночек», к сожалению, не выводили.

Жили мы в нашей камере «коммуной», то есть делились своими «передачами». Выигрывали от этого, безусловно, мы со Студенецким, так как передачи Лопатина были, несомненно, лучше наших. Может быть, даже именно благодаря им я остался жив: у меня случилось сильное воспаление кишок, тюремный доктор (из заключенных) настойчиво требовал перевода меня в больницу или по крайней мере диетического стола, но ни того, ни другого не добился. Пища была, по выражению доктора, «убийственная» для меня при этой болезни, и вот оба, и Лопатин и Студенецкий, трогательно выделяли для меня из нашей общей пищи все наиболее легкое. Острое воспаление кишок прошло, но у меня остался катар на очень долгое время. Многие с менее здоровым, чем у меня, кишечником и менее молодые умирали тогда в тюрьме от таких болезней.

Кормили нас так, что без передач было бы очень голодно. Но, слава Богу, передачи были, что, конечно, ложилось большим бременем на наши семьи. Как трудно (не говоря уже, что дорого) было доставать тогда самые простые продукты, потом приносить их далеко в тюрьму и иногда часами ждать своей очереди для передачи пакета и получения от нас «обратной передачи»: пустых сосудов от пищи и грязного белья для стирки.

Помню, раз нам на обед вместо обычного супа «брандахлыста» выдали великолепный наваристый рыбный суп, с большими кусками осетрины и белорыбицы. Мы были поражены изумлением и начали есть... Суп был приправлен чем-то очень острым, и вкус рыбы был не так заметен. Вдруг кто-то из нас увидел в кусках рыбы огромных белых червей (потом мы нашли и много мелких червей)... Всех нас чуть не вырвало. Мы поняли, почему суп был приправлен так остро. Меня весь день тошнило после этого. Между тем медицинский персонал тюрьмы поднял скандал, указывая начальству на опасность эпидемии, «которая

могла перекинуться из тюрьмы и на город»... Всем успевшим поесть супа дали глотать какие-то дезинфекционные порошки, а всю привезенную на тюремную кухню рыбу (на несколько дней) уничтожили. Как мне говорили доктора, вследствие этого рыбного блюда было несколько заболеваний, но, слава Богу, немного. В нашей камере никто не заболел (правда, мы успели съесть очень мало супа). На моем воспалении кишок это рыбное угощение никак не отразилось.

Потом оказалось, что эту дивную волжскую рыбу прислали в подарок Кремлю «красные» части, захватившие, кажется, Астрахань. Однако рыба эта пришла в Москву уже протухшая и с червями. Негодное для Кремля угощение было щедрой рукой разослано по тюрьмам...

Раз уж я заговорил на санитарные темы, добавлю, что в нашей камере заболел чесоткой С. А. Студенецкий. Несмотря на его заявление и требования врачей, его от нас не изолировали. К счастью, чесотка была обнаружена в самом начале, и доктора дали Студенецкому какую-то мазь. Никого из нас он не заразил.

Обед нам приносили заключенные из уголовных. Они разносили по коридорам большие баки с едой. Стража открывала специальные маленькие оконца в дверях камер. Мы протягивали в них наши «бачки» для супа или каши, в которые черпаками отмеривалась каждому его порция. Однажды, получая суп, я увидел в оконце лицо В. Н. Муравьева. Сидя в «общем» коридоре, он через докторов проведал, что я сижу в «секретных одиночках» и устроился с уголовными «уборщиками» заменить на один день одного из обычных носильщиков баков с супом. Ни одним словом мы, конечно, с Муравьевым обменяться не могли, но мы были рады видеть друг друга.

Раз как-то в том же окошке для раздачи пищи появилось чье-то добродушно-улыбающееся лицо, которое я сначала не узнал. Это был тот самый стражник, который сопровождал меня на извозчике из Внутренней тюрьмы в Бутырскую. «Значит, вас не расстреляли. Ну, слава Богу! А то как я вас сюда вез, думал— беспременно расстреляют. Значит, линия таперича другая подошла... Будьте здоровы!»—произнес он, захлопывая окошко. Больше я его никогда не видел.

Неприятное воспоминание связано у меня за это время с... электрической лампой. Действительно, над моей койкой, почти над самыми моими глазами, висела лампа с рефлектором. Ее было запрещено тушить на ночь. Я пробовал несколько раз (при разных караулах) тушить ее, немного вывинчивая лампочку, но все стражники, без исключения, стучали в дверь камеры «Ввинти пузырь!» Пробовал я закутывать лампу бумагой или бельем, но и

это не позволяли... Всегдашний свет перед глазами, даже закрытыми, очень мучителен.

Через некоторое время, по неизвестным мне причинам, судьба всех нас (троих обитателей «секретной одиночки») резко изменилась: нас перевели из «чекистского» коридора в общую тюрьму. Конечно, это было улучшением, но я его почувствовал только позднее, так как из «секретной одиночки» с приятными сожителями меня перевели в большую общую камеру с чрезвычайно пестрым населением в несколько десятков человек, в котором «политические» представляли незначительное меньшинство. Большинство было уголовное, остальные — «спекулянты», дезертиры, «преступники по должности» и т. п. Коммунистов в камере у нас не было, так как их сразу переводили в особый «коммунистический коридор», увешанный портретами Маркса, Ленина и других «вождей» среди всяких красных украшений и плакатов с благонамеренно-коммунистическими надписями. Был в Бутырской тюрьме и «социалистический коридор», где сидели социалисты разных партий и толков, Социалисты пользовались в тюрьме разными привилегиями, например, дополнительно к общей прогулке заключенных их выпускали вечером на особый двор. Одно время эта очень приятная привилегия сделалась достоянием всех «политических»; но потом ее снова оставили одним социалистам.

Мои сокамерники Студенецкий и Лопатин попали со мною в общую камеру, но на следующий же день Студенецкий как эсер был переведен в «социалистический» коридор. Я немного иронически поздравил его с этой «социалистической привилегией». Он был внутренне смущен, но не высказал этого. Напротив, он ответил мне: «Эту «привилегию», как вы ее называете, мы *отвоевали* как наше *право».*—«Но ведь и ненавистные вам феодалы *отвоевали* свои привилегии как свои *права»,*— сказал я ему... Обсуждение этого вопроса не пошло дальше: Студенецкого увели в его привилегированный коридор...

В моей памяти ясно встает первая ночь в общей камере. Черные силуэты решеток на голубом фоне лунной ночи, грубый храп уголовных и характерный запах огромной «параши», недалеко от которой мы оказались, по старой тюремной традиции, как последние пришедшие. «Новички» всегда помещались на худших местах и потом, оставаясь в камере все дольше и дольше, постепенно передвигались к лучшим местам у окошек.

Рядом со мной на койке в эту первую ночь лежал Студенецкий; ни он, ни я долго не могли заснуть. «Всю жизнь я добивался крушения Самодержавия,— задумчиво, шепотом

произнес он,— мог ли я ожидать, что при Русской Республике я попаду в такую обстановку!» — «А я именно*так* представлял себе последствия революции в России»,— также тихо ответил я ему. «Если бы я так думал, я предпочел бы кончить жизнь самоубийством»,— горячо и несколько подняв голос произнес Студенецкий. «Кто там — так его растак — разговаривает?!»— послышались голоса двух-трех уголовных... Все погрузилось в молчание...

До того момента как я заснул, я слышал нервное ворочание Студенецкого на его койке.

Обстановка в этой камере была для меня совсем новой, может быть даже и интересной, но отнюдь не симпатичной. Многие поздравляли меня с выходом из «секретной одиночки», но Лопатин тихо заметил: «Знаете, князь, а меня все тянет в нашу камеру...». Я чувствовал то же, что и он.

Мы были в старом «каторжном» коридоре, в камерах которого, между прочим, ранее сидели «потемкинцы» — матросы броненосца «Князь Потемкин Таврический», которые взбунтовались в 1905 революционном году. Когда после суда их перевели в Бутырскую тюрьму, специально для них камеры были снабжены, кроме обычных дверей, еще вторыми решетчатыми дверьми, через которые можно было, в случае чего, стрелять, чтобы сделать невозможным нападение на стражу во время открывания дверей. «Потемкинцы» были молодец к молодцу, и их военный бунт заставлял власти опасаться с их стороны возможных эксцессов. Попав в «потемкинскую» камеру, я вспомнил рассказ В. Ф. Джунковского, бывшего тогда московским губернатором. Из Петербурга приехал в Москву немецкий королевский Принц, не помню какой, и Джунковский должен был показывать ему «Белокаменную». Принцу были уже показаны обычные в таких случаях достопримечательности, а он все не уезжал, и каждый день надо было придумывать, что еще ему показать. Джунковскому пришло на ум предложить Принцу показать «каторжную тюрьму» и повести его в камеры, где сидели «потемкинцы». Принц знал только, что это — каторжники, и был совершенно поражен их молодцеватым видом и выправкой. «Таких красавцев мы были бы рады иметь в первых ротах наших лучших гвардейских полков! — говорил Принц.— Неужели это — каторжники?» Вот в одну из этих камер мне суждено было теперь попасть. Через нее же, если не ошибаюсь, прошел и сам Джунковский.

Ни красотой, ни выправкой обитатели нашей камеры в наше время не блистали...

Ничего неприятного от своих товарищей по заключению,

уголовных, ни я лично, ни мои близкие знакомые не испытали. И тут, и позже, в Таганской тюрьме, на отношение ко. мне уголовных я ни в чем пожаловаться не могу. Однако мне с достоверностью известны некоторые ужасающие случаи в этом отношении

Я познакомился позднее в тюрьме с одним провинциальным священником, произведшим на меня очень милое впечатление. С ним произошло следующее (помнится, в Орловской тюрьме). Священник попал в камеру исключительно уголовную и настроенную весьма антиклерикально. Бедного батюшку преследовали кощунственными шутками и насмешками. Раз ночью обитатели камеры решили, что каждый из них должен рассказать неприличный рассказ. Когда дело дошло до священника, он, разумеется, отказался это сделать. Тогда «в наказание» у него отобрали буквально все вещи и разделили между собою. Не удовлетворившись этим, раздетого донага священника еще высекли и всячески над ним издевались. Священник нервно заболел от пережитого и был переведен в больницу. Он не принес ни на кого жалобы. Сделал он это из христианских чувств, но, как я потом убедился из других рассказов, это было для него — лучше всего.

Вот, например, случай с инженером У., с которым я тоже познакомился в тюрьме. Это был человек атлетического сложения Ему, как я узнал, было сорок лет, но по седине и морщинистому лицу ему нельзя было не дать гораздо больше этого. У. тоже попал в скверную камеру, и уголовные, польстившись на его хорошие вещи, отобрали их у него, впрочем оставив то, что было на нем надето. При этом пригрозили, что, если пожалуется —«нехорошо будет!» Однако У. не пугался угроз и да следующее же утро, при проверке, сделал заявление начальнику тюрьмы. При атом У. просил «для своей безопасности» о немедленном переводе не только в другую камеру, но даже в Другой коридор. Это было исполнено. В камере, где У. ограбили, был произведен поголовный обыск, и многие его вещи (не все) были найдены и ему возвращены.

Однако секретная почта между уголовными действует хорошо, и в новую камеру У. было немедленно сообщено о его «доносе». В первую же ночь в новой камере уголовные схватили У. и, держа его за ноги, головою окунули в «парашу». Когда он задыхался и захлебывался в содержимом «параши», егона время вытаскивали, давали прийти в себя и снова окунали... Наконец ему сказали, что «на первый раз» этого довольно, но пригрозили, что в случае доноса «будет куда хуже»... Все возвращенные вещи он должен был «добровольно подарить» своим мучителям. Мне

говорили, что за эту ночь У., постарел на много лет. Конечно, охота жаловаться и защищать свои права у него прошла.

Я лично знал этих двух пострадавших: священника и инженера У., но аналогичных рассказов я наслышался много. Особенно опасны были в этом отношении «пересыльные тюрьмы», или хотя бы коридоры, с их постоянно текучим населением. Мне лично, слава Богу, никогда не приходилось в них сидеть.

Медицинская часть в Бутырской тюрьме во многом была тогда в руках заключенных врачей, и поэтому моим друзьям легко удалось извлечь меня из общей камеры и на короткое время устроить в больничном «околотке», хотя, по состоянию своего здоровья, в это время я уже не нуждался в больничном лечении. Не могу сказать, чтобы в санитарной области в нашем «околотке» все обстояло благополучно. Первое, что поразило меня там, была невероятно грязная ванна, куда меня хотели посадить, как это полагалось для каждого поступающего в больницу. По соглашению с санитаром, я в ванну не сел, а только, стоя в ней, облился водой. В «околоток» я попал, конечно, не для лечения, а, во-первых, для того, чтобы увидеться с моими друзьями, уже давно находившимися в Бутырской тюрьме во-вторых же, для того, чтобы за это время, при помощи тюремных связей, устроиться в хорошей камере.

Свидание с моими друзьями, особенно с Д. М. Щепкиным и С. М. Леонтьевым, было для меня очень волнительно. Тут я подучил подтверждение уже дошедшего до меня слуха о смерти О. П. Герасимова. Бедный Осип Петрович с его язвой желудка не выдержал нашего тюремного заключения. Мир праху его! С любовью и благодарностью я часто вспоминаю о нем.

Помимо радости встречи с Леонтьевым, Щепкиным и другими моими знакомыми, я еще стремился окончательно установить роль Н. Н. Виноградского в нашем деле. Как я уже говорил, я сам пришел к убеждению в предательстве Виноградского, но все же мои выводы необходимо было проверить совместно с Леонтьевым. Оказалось, что он, со своей стороны, пришел к тому же заключению, почему мы согласились с ним немедленно. Щепкин же упорно закрывал глаза на преступление своего приятеля, не желая допустить очевидности. Все остальные наши сопроцессники, с которыми мы могли снестись, если память мне не изменяет, держались нашего с Леонтьевым мнения. Кроме того, выйдя из одиночки, мне было очень интересно получить общую оценку перспектив нашего процесса на фоне советской политической обстановки. На эти темы мы говорили не только между собою, во и с представителем «Политического Красного Креста» Винавером, который поразил

меня своим оптимизмом в отношении нашего дела (или он хотел только нас ободрить?). В самом начале нашего дела я считал, что у вас — главных обвиняемых — очень мало шансов выйти из него живыми. Теперь же, помнится, в разговоре с друзьями я расценивал наши шансы в 40 против 60. Кажется, также смотрел Щепкин, другие были оптимистичнее, считая: у нас 50—60 благоприятных шансов из ста. Не могу сказать, чтобы я был раньше в угнетенном настроении, но, несомненно, выход из «секретной одиночки» и общение с друзьями подняли мое настроение,

В «околотке» я провел всего несколько дней, а тем временем мои друзья устроили мне перевод в тот же МОК (Мужской одиночный корпус), где я уже сидел на 3-м этаже, в «секретной одиночке», но теперь уже в нормальную одиночку, что после «секретной одиночки» могло казаться полусвободой. Действительно, наши камеры запирались только после вечерней поверки и до утренней, все же остальное время мы могли свободно ходить по МОКу (конечно, не на этаж «секретных одиночек»). Ежедневно у нас была прогулка, не помню точно, кажется, 15—20 минут. Гуляли мы под ленивым надзором стражи во внутреннем тюремном дворе. Самое первое время мы как политические пользовались совместно с социалистами и вечерней прогулкой, где я мог" встречаться с моими друзьями, сидевшими в общих камерах. Но очень скоро, как я говорил, привилегия эта была оставлена только социалистам.

Помню, как после запрещения этой вечерней прогулки несоциалистов я, пользуясь незнанием нового распоряжения внутренней стражей МОКа, все же вышел на двор, куда пришли (тоже незаконно, но не из МОКа) мои друзья. Однако я тут чуть было не попал в карцер На двор, где мы гуляли, пришла стража и начала проверять, нет ли здесь «несоциалистов». Мои друзья могли легко улизнуть через внутреннюю дверь -«социалистического» коридора, я же — единственный незаконный пришелец из МОКа, был от него отрезан стражей. Некоторые социалисты (в частности, их староста, известный с.-д. Крохмаль, с которым я лично не был знаком) любезно предложили мне скрыться у них в «социалистическом» коридоре, но я, поблагодарив, отказался скрываться «под маской социалиста». Однако те же социалисты устроили мое возвращение в МОК. Туда пошел, как будто вызванный по экстренному случаю, врач из заключенных, а я, надев белый халат, сопровождал его, неся перевязочный материал и лекарства. Стража нас обоих пропустила, и я удачно попал в свою камеру как раз перед самой поверкой, которая уже шла по нашему этажу.

Так с бутырским карцером мне познакомиться не пришлось; моя любознательность не доходит до того, чтобы жалеть об этом. Больше на вечерние прогулки я уже не выходил; это было для меня большим лишением, потому что очень затрудняло общение с моими приятелями.

В одиночке МОКа я провел несколько месяцев: до и после нашего суда. Я исполнял там обязанности одного из помощников библиотекаря. В частности, я должен был разносить книги в камеры неполитических смертников (приговоренных к смертной казни). Смертники почти всегда сидели в запертых одиночках нижнего этажа МОКа. Сидели они иногда довольно долго, выжидая результатов своей апелляции или прошения о помиловании. По этому случаю вспоминаю рассказ В. Ф. Джунковского, занимавшего до меня ту же должность «библиотекаря смертников». Крупный спекулянт из купцов был приговорен к расстрелу Трибуналом под председательством известного чекиста, помнится, Петерса. У спекулянта была какая-то сильная рука во ВЦИКе, куда он подал прошение о помиловании. В ожидании ответа спекулянт, как полагалось, сидел в камере смертников. Обходя этот этаж с книгами, Джунковский, человек очень религиозный, предложил купцу дать ему в камеру иконку Николая Угодника. «Не стоит,— ответил спекулянт,— у меня во ВЦИКе и посильнее протекция есть, и без угодников обойдусь!» Через несколько дней из ВЦИКа в тюремную канцелярию было сообщено по телефону, что там только что было заслушано прошение о помиловании «гражданина такого-то» (нашего спекулянта) и ВЦИК заменил ему расстрел несколькими годами заключения. Официальная бумага из ВЦИКа приходила в тюрьму всегда с несколькими днями опоздания, а по телефону передали в тюрьму о помиловании, чтобы «успокоить» приговоренного. Сама эта процедура сообщения — совершенно исключительная — свидетельствовала о том, что делец не обманывался, считая, что у него действительно сильный покровитель во ВЦИКе. Тюремная администрация сообщила купцу о телефонном извещении из ВЦИКа, что немало его ободрило.

Надо же было случиться, что на следующий день Петерс был в тюрьме и обходил камеры «своих» смертников. Не знаю почему, но это было совсем не исключение, председатели и члены Трибуналов, приговорившие людей к расстрелу, иногда заезжали посмотреть на них в тюрьму, где они сидели в ожидании казни. Итак, Петерс зашел в камеру к нашему купцу и, бросив на него беглый взгляд, уже собирался выйти, как тот вызывающим тоном сказал ему: «А вот, не удалось вам меня расстрелять! Я

помилован ВЦИКом».— «Как? — удивился Петерс,— я об этом извещения из ВЦИКа не получал». Сопровождавшее Петерса тюремное начальство почтительно доложило ему о телефонном сообщении. «А официальной бумаги еще нет? — так расстрелять его немедленно. Во ВЦИКе я все это оформлю»,— приказал Петерс. Тотчас же вызванные чекисты увели купца на расстрел, «Он был бледен как полотно,— рассказывал Джунковский, видевший, как его выводили из камеры,— и казалось, что из него уже душу вынули, он шел как автомат...»

Из тюремной библиотеки были изъяты все книги религиозного содержания, но библиотекари все же припрягали несколько Евангелий и молитвословов. Некоторые заключенные их спрашивали, но довольно редко. Обходя камеры смертников, я многим предлагал Евангелие. Конечно, это было запрещено и грозило мне, в случае обнаружения, карцером. Несколько человек с радостью взяли у меня Евангелие, но огромное большинство отказывалось. Никто меня, однако, не выдал.

Помню раз, как приговоренный хотел отдать мне Евангелие: «Хотелось бы до конца иметь... да, вероятно, сегодня*за*мною придут... Как бы вам за это не ответить!» Я просил смертника оставить Евангелие со всеми остальными книгами. Порядок был тот, что когда смертников забирали на расстрел, стража собирала у них в камере книги и при следующем обходе библиотекаря отдавала их ему. Смертник был прав: за ним приехали в следующую же ночь. На утро его камера была пуста, и стража передала мне оставленные им книги. Евангелия среди них не оказалось. Но позднее, улучив минуту, когда кругом никого не было, один из солдат стражи подошел ко мне и сунул мне в руку Евангелие. «Вот это я припрятал, а то как бы чего не вышло...» — сказал он. Ни со мною, ни, насколько я знаю, с каким-либо другим библиотекарем неприятностей на почве раздачи книг религиозного содержания не вышло: всегда нас кто-нибудь вовремя выручал.

Как «библиотекарь смертников» я на опыте убедился, насколько ригористическая кантовская мораль бессердечна. Сколько раз мне приходилось лгать на вопросы смертников! (Один из заключенных в нашем коридоре работал в канцелярии тюрьмы, через него мы часто могли знать ранее смертника о его судьбе.) Например, мне было известно, что прошение о помиловании такого-то смертника отвергнуто, а он спрашивает меня через окошко, есть ли ответ?.. Мог ли я сказать ему правду? Иногда даже мне надо было для временного успокоения человека пускаться в довольно сложную ложь. Я так делал и в этом не раскаиваюсь. Но один раз смертник просил меня вперед сообщить

ему, если мне сделается известным ответ на его прошение о помиловании: «Хочу в последний день к смерти приготовиться». Ответ был неблагоприятный, и я его от смертника не скрыл.

Мне как «политику» было запрещено общаться с политическими или «церковными» смертниками — они эдесь и не сидели. Дело я имел с «бандитами», «спекулянтами», «преступниками по должности» и т. п. Наиболее достойно вели себя, безусловно, «бандиты» и уголовные убийцы. Это обычно были грубые, но зато не «развинченные» люди: «умоли воровать, умели и ответ держать!» Часто на предложение книг они вообще от них отказывались, порой даже в грубой форме; «а на кой черт они мне нужны!» Евангелие иные (редкие) брали, другие (тоже редкие) — кощунственно ругались; большинство просто отказывалось. Многие из них внушали уважение своим спокойствием и мужеством. Помню, например, одного «бандита», который возвратил мне взятую книгу и отказался от новой: «я знаю, что за мной сегодня «черный ворон» прилетит» (так назывался автомобиль, приезжавший везти смертников на расстрел). Сказал он это с полным спокойствием и безо всякой рисовки. С этого чернобородого молодца-разбойника прямо картину было писать! Я так и вижу его: дикая, но талантливая и широкая была, должно быть, природа. Был бы он солдат, наверное, получил бы «Георгия» за какой-нибудь отчаянный подвиг... если бы только при этом голову снес. А так — разгул, разбой и расстрел... Но шел он на него молодцом.

Помню я и другого «бандита» — крупного восточного человека. Он мрачно, но с большим достоинством днями неподвижно сидел на своей койке, ничего не делал и ничего не читал (был ли он грамотен?). Когда к нему вошли забирать его на расстрел, он бросился к окну и одним взмахом как-то припрятанной им бритвы перерезал себе горло. Удар был так силен, что он почти совсем отрезал себе голову. Я был случайно в коридоре, когда его выносили. Голова его висела, как мне показалось, на узком лоскутке кожи... Камера была залита кровью.

Физически эта картина производила тяжелое впечатление, моральную же тошноту вызывали часто смертники «спекулянты» и «по должности». Животный страх, безграничная дрожащая подлость обычно читались на их лицах и в каждом их жесте. Насколько они производили более отталкивающее впечатление, чем «бандиты»!

Совершенно исключительный случай был у меня с одним евреем, «спекулянтом». Надо сказать, что евреев я Почти не встречал между заключенными. Этот старик держал себя

превосходно, и когда его уводили на расстрел (я лично при этом не присутствовал), вышел из своей камеры, как мне говорили, с удивительным и внушающим уважение спокойствием. Но, повторяю, это было исключение. Зато сколько я навидался трусости и подлости на лицах заключенных! Особенно вспоминаются мне два «преступника по должности» — оба в прошлом гвардейские офицеры (не самых первых гвардейских полков). Воспоминание о них у меня осталось самое тошнотворное. Однажды, когда я с книгами обходил камеры смертников, ко мне (через окошечко) обратился один из них, Г., бравший у меня для чтения французские романы, с просьбой достать для него папирос. С этой целью, от его имени я должен был обратиться к кавалерийскому офицеру К., сидевшему в «свободной одиночке» на том же этаже, что я сам. Когда я передал эту просьбу К., последний, мне показалось, был несколько удивлен, он даже переспросил у меня фамилию Г. «Г. говорит, что вы с ним давно знакомы»,— сказал я. «Как же,— ответил К.,— мы с Г. знаем друг друга давно, а теперь я здесь по его милости». С этими словами, К., порывшись в своих вещах, достал пачку или две папирос и передал их мне для Г. (По тогдашним условиям это был весьма щедрый дар.) Стороной я узнал о деле Г., другого офицера-смертника — назову его Н.Н. (не помню фамилии), и К.

Все трое были офицеры. К— армейский кавалерист, восточного происхождения. После революции К. добровольно пошел в Красную армию — не из принципа, конечно, а прельстившись должностью полкового командира (он был, кажется, поручиком). Г. и Н.Н. тоже «устроились» у большевиков, оба на должностях военных следователей. И вот тут-то началось «дело». Г. и Н.Н. оба знали, что К. женат на дочери богатого польского промышленника, и в их головах созрел план действия. Безо всякого реального основания они создали против К. «дело», обвиняя его в «контрреволюции», в чем К. был совершенно невинен. После его ареста они, как бы по дружбе, обратились к жене К., говоря, что последний неминуемо будет расстрелян, если вовремя не подкупить кого следует, но для этого требуются значительные суммы, и в иностранной валюте... Шантажируя жену К., Г. и Н.Н. все время разыгрывали перед ней роль верных друзей ее мужа, идущих на большой личный риск, чтобы его вызволить. Обоим мерзавцам удалось таким образом присвоить драгоценности жены К., которая им их передала, и обязательства на крупные суммы, под гарантией польских имуществ. Г. и Н.Н. хотелось уже ликвидировать инсценированное ими же самими дело против К., выпустить его на волю и пожать плоды своей изобретательности. Но тут что-то сорвалось... Не знаю точно, в

чем дело: вероятно, Г. и Н.Н. не поделились с кем следовало. Так или иначе, они сами и жена К. были арестованы. Вся махинация выяснилась, и военный трибунал приговорил обоих следователей к расстрелу. Они подали прошение о помиловании и ожидали своей участи в камерах смертников.

Узнав все это, я не мог не поразиться тому, что Г. попросил через меня папирос у своей жертвы. При этом он отлично знал, что К. вполне в курсе дела. Действительно— «душа человека — потемки»!

Забегая вперед, скажу, что Г. и Н. Н. были расстреляны, К.— по суду оправдан, а жена его «за попытку подкупа» была приговорена к нескольким годам заключения (кажется, к пяти). Когда К. вышел на волю, жена его уже сидела в тюрьме.

Чтобы покончить с моими воспоминаниями о смертниках, скажу еще, что некоторые из них пытались отравиться; во всех известных мне случаях ядом был цианистый калий. Действие его — молниеносно (если только он не выветрился на воздухе, что тоже не раз пришлось наблюдать на практике). Один заключенный проглотил цианистый калий при выходе из камеры. Не успел он сделать и нескольких шагов, как рухнул, будто громом пораженный. Однако яд этот, как я только что сказал, очень капризен — по-видимому, из-за условий хранения: часто он совсем не действует: людей, принявших изрядную долю цианистого калия, преспокойно уводили и, как я слышал, расстреливали.

Иногда брали людей на расстрел и не из камер смертников. Я знаю несколько таких случаев. Один особенно врезался мне в память. Меня лечил от воспаления, а потом от катара кишечника политический заключенный доктор Мудров. Как-то он зашел ко мне в камеру, но не в обычном своем белом халате. Мудров осведомился о моем здоровье и сказал, что в дальнейшем он уже не может меня лечить. «Вас переводят в другую тюрьму?» — спросил я. «Да, сегодня вечером переводят в тюрьму ВЧК и там расстреляют,— спокойно ответил доктор.— Я зашел проститься». — «Кто может знать наверное...» — сказал я. «Я знаю»,— ответил он. И он был прав: я узнал, что его расстреляли. Поразительно было самообладание этого человека. С полным вниманием и спокойствием он продолжал лечить больных до самого своего увоза на расстрел. При этом — никакой рисовки, а подкупающая русская простота.

В нашем коридоре почти всегда бывали камеры с надписями мелом: «голд.», «голдущ.» или другие варианты в этом роде (грамотных надписей я что-то не помню). Это наша стража отмечала «голодающих», то есть заключенных, объявивших по

какой-либо причине «голодную забастовку». Таких — даже из общих коридоров — старались переводить в одиночные камеры. Такими методами борьбы иногда добивались успеха наши социалисты, но мне совершенно неизвестны случаи удачи других. Поэтому — в советских условиях — я всегда считал голодную забастовку в тюрьме нецелесообразной (кроме как для социалистов, и то не всегда). Однако голодные забастовки объявлялись в мое время отдельными заключенными в Бутырской тюрьме довольно часто. Интересно отметить, что в то же время в Таганской тюрьме такой «моды» не было, и там голодовка была редким явлением. Огромное большинство, поголодав несколько дней, отказывались от забастовки и снова принимали пищу, другие выдерживали довольно долго, и их — иногда в ужасном виде — переводили в тюремную больницу. Сравнительно редкие забастовщики умирали, но, по словам докторов, многие сильно и непоправимо расстраивали свое здоровье.

Население одиночек МОКа было очень пестрое. Тут сидели некоторые «знатные» социалисты, например эсер Морозов, кажется, впоследствии расстрелянный. Тут же сидели палачи из заключенных, которых иначе, в общих камерах, непременно прикончили бы. В мое время среди нас сидело (не знаю за что) в одиночках два палача. Один — явный дегенерат, полуидиотского вида. На лице его была написана полная тупость и жестокость. Другой палач был китаец. Мне говорили, что его как-то, улучив минуту, «помяли» уголовные. Всякий другой от такого обхождения остался бы на месте, а китаец выжил... Летом, на прогулке в тюремном дворе в солнечный день, китаец как-то снял с себя рубашку. Было страшно смотреть на его торс: все ребра были продавлены и срослись в каком-то хаотическом беспорядке. Было совершенно непонятно, как могла держаться душа в таком продавленном теле. Когда из окон своих камер уголовные видели на прогулке нашего китайца, они бранились и угрожали ему, а он, со своей стороны, отвечал им ругательствами на смешанном китайско-русском языке: «попадись мне, кости переломаю». Не завидую уголовным, попадавшим в его руки...

Палачи сидели в камерах всегда одни, несмотря на переполнение тюрьмы. Никто не хотел жить с ними, и тюремная администрация в мое время к этому не принуждала.

В одиночке же сидел (тоже не знаю за что) бывший чин Уголовного Розыска. Он остался на службе и при большевиках; больше того, как незаменимого специалиста его даже из тюрьмы ежедневно возили работать в Уголовный Розыск. Тогда этот метод использования заключенных был еще не в моде, а редкостью. Этого «спеца» не чуждались, как палача, и с ним в камере жил

какой-то другой заключенный. От уголовных его оберегали: конечно, они тоже были не прочь «пришить» его. «Очень трудно стало работать,— жаловался чин Уголовного Розыска,— у нас все кадры специалистов разбиты и расстреляны, а в уголовном мире тоже огромные перемены. Ведь наша работа совершенно не похожа на то, что пишется в сыщицких романах: мы пользуемся, главным образом, нашим знанием уголовного мира и слежкой за ним. Именно так, а не по-шерлокхолмски раскрывается 99 процентов уголовных преступлений. Скупщики краденого стоят одной ногой в уголовном мире, а другой — в Розыске. Мы, понятно, должны немного закрывать глаза на их деятельность, если она не очень уж нахальна. Скупщики краденого для нас очень полезны, без них много преступлений остались бы нераскрытыми... Конечно, прокурорский надзор об этом знать не должен, иначе он бы нас тормозил. Уголовные прекрасно знают, что скупщики их постоянно предают, но куда им без них деться? Схоронить концы при краже часто куда легче, чем при сбыте краденого, и на этом-то большинство уголовных и попадается (это полностью подтверждали мне позже сами уголовные). Положение скупщиков тоже нелегкое: если они слишком на уголовных работают,*мы*их к ответу притягиваем, если они слишком на нас работают,*уголовные*их приканчивают...»

«Самое трудное,— продолжал рассказывать чин Уголовного Розыска,— открывать преступления лиц, никак не связанных с уголовным миром. Вот, например, недавно мы арестовали шайку студентов-грабителей. Этого, конечно, прежде никогда не было... Трудно было их поймать!.. Преступления совершают незамысловатые, но действуют по уголовным романам и кинофильмам: все в перчатках, масках и т. п. А если бы даже отпечатки оставляли, мы-то их не имеем... Как их найдешь?! Опять же раньше для сбыта краденого им без скупщиков трудно было обойтись, а теперь столько краденого всюду продается, да и хозяева свое старое продают,— что их и через наших скупщиков не нащупаешь... Поймали мы этих студентов, по правде сказать, больше случайно — просто подвезло! Ну, а будь они чуть поумнее, никогда не поймали бы... Да, стыдно сказать, теперь умный человек может выгодно и почти безопасно воровством промышлять... Прежде так не было!»

Заметную группу среди заключенных составляли военные. В мое время они резко распадались на две подгруппы. Были тут некоторые офицеры и военные врачи из «Северной» Армии (ген. Миллера). Не знаю, почему они сюда попали: почти все их сотоварищи, по их словам, сидели в ужасных условиях в каких-то специальных лагерях, а большинство — просто расстреляны. О

ген. Миллере уехавшем со своим штабом за границу, оставив Армию на милость победителей, эти офицеры отзывались, разумеется, весьма неодобрительно. Наименее страстные порицатели ген Миллера все же говорили, что *если* он действительно поверил англичанам, взявшимся будто бы спасти остатки Армии от физической гибели, то почему же он сам не остался с Армией? Интересно отметить, что позднее, за границей, я встретил военных, полностью защищавших действия генерала. Объясняется это, вернее всего, тем, что те, кто был спасен ген. Миллером из Архангельска, попали за границу и там создали благоприятное для генерала настроение; голоса же тех, кто был оставлен в России и там пострадал или погиб, почти не доходили за границу. Объективно, поступок ген. Миллера, мне кажется, никак нельзя одобрить, но тут было с его стороны скорее легкомыслие или наивность, чем предательство, в чем многие его обвиняли в России, и на каковое, по своему характеру, он был, конечно, не способен.

Другая группа военных заключенных состояла тогда из бывших офицеров, по той или иной причине попавших в состав Красной армии и арестованных уже в качестве командиров последней: большинство их держалось с нами, «белыми», не без нотки смущения. На прогулке тот или иной из них, безо всякого вызова с моей стороны, считал нужным (конечно, наедине!) упомянуть о «тяжелых семейных обстоятельствах», принудивших его вступить в ряды Красной армии, или (еще более секретно!) о «некоторых заслугах своих перед Национальным делом», которые «потом» вскроются... Многие были мне искренно жалки. Конечно, это были далеко не герои, но в большинстве своем и не мерзавцы.

А бывали и другие. Помню, как однажды на прогулке со мною познакомился полковник генштаба Щелоков, человек с живым и циничным умом. Он рассказывал мне свои довольно интересные наблюдения во время войны, в частности на французском фронте, где он был начальником штаба одной из наших «особых бригад». Ранее он был в Ставке, где, по его словам, особенно ценил и выделял его Великий Князь Николай Николаевич. Я совершенно не знал, за что он сидит, и, конечно, не спрашивал об этом На третьей, кажется, нашей совместной прогулке Щелоков начал мне рассказывать про свое «дело». «С самого начала революции,— говорил он,— я поставил ставку на «красных». По моим расчетам, «Белое дело» — безнадежно. К чему ставить ставку на безнадежную лошадь? Я не ждал призыва в Красную армию, я сам в нее пошел и решил сделать в ней карьеру. Во время *ваших* удач (Щелоков подчеркнул слово «ваших») и наших неудач, я работал с двойной энергией; кроме моей карьеры, дело шло и о моей

голове! И вот теперь, когда наш полный успех уже почти достигнут, меня вдруг арестовывают по какому-то идиотскому доносу о контрреволюционных тенденциях! Это меня,*меня*обвиняют в контрреволюции,— подымал голос Щелоков,— когда я полностью поставил свою ставку именно на Революцию! Если бы ваши пришли в Москву и меня расстреляли — даже повесили — я счел бы это нормальным, но то, что меня арестовывают красные,—это я считаю просто возмутительным: я сплел с ними свою судьбу и я не такой дурак, чтобы какими-то «контрреволюционными тенденциями ставить под вопрос всю свою карьеру. Надеюсь, впрочем, что на верхах это поймут: Троцкий все же не такой дурак, как ваши белые генералы...» Я молча слушал страстные речи Щелокова. Он посмотрел на меня и спросил: «Скажите откровенно, князь, ведь повесили бы вы меня в случае победы ваших?» — «Надеюсь, для себя, что мне не пришлось бы участвовать в суде над вами, но если бы пришлось, я, вероятно, высказался бы за ваш расстрел,— смягчающих обстоятельств в вашем случае я не вижу»,— сказал я. «Вдвойне благодарен! — иронически поклонился мне Щелоков,— и за смягчение моей судьбы (я предпочитаю расстрел—повешению) и за откровенность!» На этом мы с ним разошлись и никогда больше не разговаривали.

Много позднее, за границей (должно быть, в 1924 г.) я рассказывал о Щелокове Великому Князю Николаю Николаевичу. Он его отлично помнил и считал «многообещающим офицером». «Вот оказался мерзавец—никак не ожидал!» —говорил Великий Князь.

Полковник Генерального штаба Щелоков был, к сожалению, не единственным, но все же, слава Богу, редким исключением среди тех офицеров, которые пошли или принуждены были пойти в Красную армию. В общей же массе таких офицеров мне пришлось наблюдать интересную эволюцию настроений в связи с победами или поражениями Красной армии на Белом фронте. В начале огромное большинство этих офицеров душой еще были с «белыми» и втайне радовались их успехам. Но чем дальше шло время, тем личные интересы этих офицеров теснее срастались с судьбами «красных», и многие из тех, которые в начале радовались поражениям Красной армии, теперь радовались ее победам: их теперь шкурно страшила победа «белых» и ответственность за сравнительно длительное пребывание в рядах Красной армии. Троцкий как действительно умный человек понимал эту выгодную коммунистам эволюцию настроений среди вкрапленного в Красную армию бывшего офицерства; многие же коммунисты потупее этого не понимали.

Среди заключенных МОКа была еще одна оригинальная группа — иностранцы. Я встретил здесь, помнится, грека, нескольких поляков, эстонцев, итальянца, турка и двух американцев. Один из них был даже старостой нашего МОКа. Это был Ксенофонт Каламатиано. Его предки переселились из Греции в Россию, кажется при Екатерине, а его дед эмигрировал из России в Соединенные Штаты. Сам он родился там и считал себя кровным американцем. Это был интересный и симпатичный человек с большой волей и широкой культурой. Он владел в совершенстве несколькими языками, в частности русским, на котором говорил почти без акцента. Каламатиано прекрасно держал себя и на суде, и в тюрьме. Спасением своей жизни и потом освобождением из тюрьмы и отъездом на родину он обязан всецело своему американскому гражданству, с которым в РСФСР (тогда еще не было СССР) очень считались.

Другой американец, сидевший у нас в МОКе, был инженер Кили, наивный «специалист», приглашенный на огромный оклад консультировать советское правительство по промышленным вопросам. Он, кажется, написал своей жене несколько критических замечаний о виденном в РСФСР и... попал в тюрьму. Отсюда он писал бесчисленные письма Ленину, Троцкому и другим «вождям»; начинались все эти письма двумя словами, выведенными огромными печатными буквами: «Кили в тюрьме!» Помогли ему, однако, не эти обращения, а престиж Соединенных Штатов: Кили был освобожден и уехал в Америку вместе с Каламатиано и другими американцами, арестованными в Советской России.

Очень красочное воспоминание осталось у меня от одного из вождей армянского восстания против турок (к сожалению, я забыл его имя). Во время войны этому армянскому повстанцу, командиру отряда армянских добровольцев, был дан чин русского зауряд-офицера. В тюрьме этот турецкий гражданин и, по его словам, член турецкого парламента носил русскую военную форму, конечно, без погон. Он принадлежал к армянской социал-революционной партии «Дашнакцютюн»; за что он попал в большевицкую тюрьму, мне не известно, но мой армянин постоянно повторял, что «после султанских тюрем» ему никакая тюрьма не страшна...

С невероятно сильным восточным акцентом и с безудержной жестикуляцией рассказывал мне армянин на прогулке о своей родине и о своем прошлом. Это были — по своей фантазии и красочности — почти сказки из «1001 ночи». Мой армянин, судя по его словам, был очень крупный землевладелец и жил в условиях восточного феодализма. Я как-то спросил его, как он

примиряет свой «социализм» с положением и бытом крупного феодала, которые ему, видимо, очень нравились. «У нас нэт капыталызма! — с гордым убеждением отвечал мне армянин.— Мужик на моя земля скот пасет, лошадей пасет, земля моя пашет, но нычего нэ платит мынэ». При дальнейших моих расспросах, однако, выяснилось, что «благодарные мужики» отдают моему армянину за пользование его землей половину урожая и половину приплода скота и лошадей. «Весь молодой лошадь и скот ко мынэ пригоняют, я один жеребчик бэру, другой отдаю, одна телка бэру, другая отдаю... Всегда половину отдаю и мынэ нычего нэ платят: у нас нэт капыталызма,— с полным убеждением твердил армянин,— и всэ мужики мынэ любят и мынэ отдают все, что я хочу. Когда я у них живу, я им ничэго нэ плачу. Турки дэньги бэрут, они капыталысты, а мы живем, как сыцылысты...»

Мой армянин с группой «дашнаков» принимал участие в известной попытке захвата Оттоманского банка в Константинополе с политическими целями. Факт этот действительно имел место в 90-х годах прошлого века. Группе вооруженных армянских революционеров удалось захватить Турецкий Государственный банк; они потребовали объявления политической автономии Армении, грозясь, в противном случае, взорваться вместе с банком, содержавшим большие ценности. Банк был оцеплен турецкими войсками, но вмешательство послов Великих держав предотвратило кровопролитие. Турки дали «дашнакам» какие-то неопределенные обещания «рассмотреть» армянские пожелания; «дашнаки», в свою очередь, должны были вернуть захваченное ими здание банка в полной сохранности. Захватчикам — под гарантией послов — была обещана неприкосновенность и возможность проехать в Швейцарию. Однако не доверяя туркам, целая «армия» которых стояла вокруг банка, «каждый дашнак взял за руку свой посланник и показал ему пыстолэт: вэди нас сычас сам на пароход и вэзи в Швэцария! А если турки на нас нападут, смотри — в пыстолэте 7 пуль: пять туркам, шестая тыбе, сэдмая — мэнэ...» Так и прошли «дашнаки» «чэрэз вся армия», сели на пароход и со своими посланниками приехали «в Швэцария»... Только там, мол, «дашнаки» отпустили посланников, а те их очень благодарили за то, что они «взрыв нэ дэлали»...

Теперь мой армянин, как он говорил, мечтал об автономной Армении в составе Советской России... Пока же он сидел в Бутырской тюрьме...

Кроме одиночных камер, в МОКе была еще небольшая общая камера для уборщиков корпуса. Сидели в ней мелкие уголовные,

на тюремном языке — «шпана». Они держались совершенно обособленной, тесно спаянной группой. Почти каждый вечер из камеры уборщиков раздавалось громкое хоровое пение под аккомпанемент гармошки. Песни были уголовные, при этом самые пошлые из них. У меня осталось неприятное воспоминание об этих вечерних концертах, профанировавших наши чудные народные и солдатские песни. Особенно тошнотворное воспоминание осталось у меня от этих вульгарно-веселых подвываний под гармошку во время вывода приговоренных из камер смертников. Смерть всегда носит серьезный — иногда трагический — отпечаток, а эти ноты хамского скоморошества бросали на предсмертные минуты приговоренных тень пошлой бессмыслицы.

ВЕРХОВНЫЙ ТРИБУНАЛ РСФСР

Время шло и дело приближалось к нашему суду. Судить нас должен был Верховный трибунал Республики — высший орган советского «правосудия». Обвинителем должен был выступить известный т. Крыленко: тот самый «прапорщик Крыленко», один из главных разлагателей нашей армии, который был большевицким Верховным главнокомандующим после убийства им в Ставке генерала Духонина. Суд наш решено было, видимо, поставить «культурно»—не в виде чекистской расправы в застенке. Нам предложено было обратиться к помощи адвокатов из членов Коллегии Советских правозаступников, которым было разрешено выступать перед советскими судами. Большинство из нас смотрели на предстоящие судебные прения, как на комедию, зная, что все будет решено во ВЦИКе в зависимости от политической целесообразности, как она представится большевицким заправилам, а не от того, что будет выяснено на процессе.

Однако наши родные и близкие пригласили для нас адвокатов. Четырех наиболее серьезно обвиняемых — Щепкина, Леонтьева, Мельгунова и меня, взялись защищать — всех вместе — адвокаты: Муравьев, Тагер и Жданов. Все они были «левых», но не большевицких убеждений, а Жданов, вдобавок, в прежнее время спас на суде от тяжелого наказания одного из наших теперешних судей. Наши родные на все это надеялись. Но хотя наши адвокаты внимательно изучили дело и на суде добросовестно произнесли защитительные речи, я и тогда и теперь думаю, что все их усилия не могли иметь для нас никакого значения. Конечно, с другой стороны, отказ от приглашения адвокатов, после того что нам предложили обратиться к ним, был бы только лишним и ненужным вызовом по отношению к советскому суду. Щепкин и Леонтьев, помнится, смотрели на дело точно так же, как я, но, конечно, никто из нас нашим родным и близким в этом духе не говорил. Если советские власти разыгрывали «комедию суда», мы, в свою очередь, разыгрывали роль «подсудимых», и обе стороны—по разным соображениям — делали вид, что придают «суду» и «судебным прениям» серьезное значение. На самом деле это была, повторяю, только инсценировка, и дело наше решалось не на суде, а политическими властями и вне зависимости от судебного разбирательства.

Как бы то ни было, нам разрешили ознакомиться с нашим

«делом» в канцелярии Верховного Трибунала, для чего нас дважды приводили туда под стражей: мне это было очень приятно, так как благодаря этому я мог видеть на улице Мама и Соню, которые, с группой родных и друзей моих товарищей по заключению, дожидались нашего прохода. Потом нам даже дали возможность видеть ближайших родных в помещении канцелярии Трибунала, и я впервые после полугода имел свидание с Мама и Соней. Как я уже говорил раньше, до суда, который мог кончиться нашим расстрелом, я решил скрывать от них, что знаю о смерти Папа. Они обе тоже скрывали это от меня. Это скрывание очень утяжеляло нам свидание, но все же я был ему очень рад. Мама, как всегда в серьезные моменты жизни, сохраняла спокойную твердость и ясность духа. Только несколько натянутое выражение ее лица выдавало скрытое волнение, но голос ей не изменял и тон ее был спокоен, как всегда. Я до сих пор раскаиваюсь в том, что тогда сказал Мама: я заявил ей, что в случае смертного приговора не подпишу прошения о помиловании и прошу ее такого прошения обо мне не подавать, если бы наши адвокаты и предложили ей это сделать. Раскаиваюсь я в этом, конечно, не по существу, но с моей стороны было жестоко так говорить и этим еще обострять ее беспокойство. Ни одним словом Мама не убеждала меня переменить решение.

В канцелярии Трибунала нам дали ознакомиться с показаниями обвиняемых, но времени было дано так мало, что я далеко не все успел прочитать. Самое интересное для меня — и для многих — было познакомиться с показаниями Виноградского. Очень возможно и даже вероятно, что часть его показаний была ВЧК своевременно изъята из дела. На основании некоторых данных и соображений я думаю, что именно так было сделано. Однако в показаниях Виноградского осталось все же немало образчиков его доносительства и его провокационной работы в камерах тюрьмы ВЧК. «По вашему поручению,— писал, например, Виноградский особоуполно-моченному ВЧК Агранову,— из разговоров (с такими-то заключенными) мне удалось узнать то-то и то-то, но мне, к сожалению, никак не удалось получить у них подтверждение того-то...» (Я не ручаюсь за буквальную точность цитаты, так как не имею в настоящее время показаний Виноградского, но смысл ее передаю правильно.) Бедным Д. М. Щепкин был совершенно убит таким явным и бесспорным доказательством предательства Виноградского и уже не мог спорить против очевидности.

По своему предательству Я. Н. Виноградский занял совершенно исключительное и, к счастью, единственное место в нашем процессе, но в нашем деле, кроме показаний

Виноградского, был целый ряд других данных в весьма трусливо-подловатом тоне. В этом отношении, к сожалению, отличились несколько профессоров и приват-доцентов Московского Университета. В том же духе, но смягченно, ввиду публичности выступления, некоторые из них высказывались потом и на суде. К чему вспоминать их имена!..

Если в нашем деле были оставлены следы предательских показаний Виноградского, то, к сожалению, поддельные показания Леонтьева, о которых я говорил выше, были из него полностью изъяты. Впрочем, это совершенно понятно: о чести Виноградского, который теперь был для ВЧК и Верховного Трибунала уже «отработанным паром», заботиться было нечего, подлог же самой ВЧК — дело другое, и надо было избежать оставлять в деле письменные доказательства этого подлога. Что и было исполнено; мне говорить на суде об этой было бы не только бессмысленно, но могло быть даже для нас вредно. Кроме того, как мне было доказать подлог? Адвокаты (помнится, Н. Н. Муравьев) тоже советовали мне об этом на суде не заикаться из соображений целесообразности.

Первоначально наш суд должен был происходить в Кремле, в здании Судебных Установлений (кстати, это здание стоит на месте боярских палат наших предков, Трубецких, и я тогда вспомнил об «иронии Истории»). Потом, почему-то, наш суд перенесли в Большую аудиторию Политехнического Музея. Вероятно, не хотели пускать публику в Кремль, куда ее вообще при большевиках не допускали, с другой же стороны, суд должен был быть «культурный», то есть публичный.

Ввиду первоначальных — кремлевских — планов нас приказано было перевести на время суда в помещение бывшей кремлевской Кордегардии (под Дворцом). Благодаря этому обстоятельству мне удалось тогда побывать в Кремле, не доступном для простых смертных, и даже провести там два или три дня в арестном помещении при кремлевском карауле.

С небольшим количеством вещей, группой, помнится, в 11 человек, под стражей, мы двинулись через всю Москву в Кремль (с заходом в канцелярию Верховного Трибунала). Остальные наши вещи мы оставили в тюрьме, поручив их надежным лицам. В случае нашего расстрела они должны были постараться доставить их нашим семьям при своих собственных «обратных передачах».

Я с большим удовольствием вспоминаю эту нашу прогулку по Москве. Стоял прекрасный августовский день, какие я особенно люблю. Я думал, что, очень может быть, я все это вижу последний раз в жизни, но я ясно помню, как в то же время я чувствовал себя

как-то особенно легко — физически и душевно. Мне приятно и даже весело было видеть знакомые улицы и встречать много знакомых, которые ожидали нас по нашему пути или попадались случайно. Стража не мешала нам раскланиваться с ними, но когда жена Леонтьева попыталась идти по улице рядом с конвоем, ее отогнали. Были и забавные встречи. Так, мы повстречали знакомого некоторым из нас инженера Г., хорошо устроившегося на советской службе. Надо было видеть смущение и явную борьбу на лице бедного Г. С одной стороны, ему хотелось поздороваться с нами, а с другой — страшно комирометироваться знакомством с контрреволюционерами. Так мы и прошли мимо его подергивающегося в нерешительности лица. Разумеется, никто из нас первый не кланялся, чтобы не «подвести» знакомого, хотя, по существу, никакой опасности мы, конечно, не представляли...

Вдруг Леонтьев, шедший рядом со мною, весело рассмеялся: «Смотри, смотри — У., как жирный заяц, удирает!» Действительно, наш общий знакомый и большой трус У., нечаянно повстречав нас, испуганно бросился в поперечную улицу и «катил» по ней «жирным зайцем» — сравнение было удивительно меткое...

Наоборот, помню, как мало знакомый нам старик, Н. Н. Покровский (бывший Государственный Контролер, а потом последний министр иностранных дел Импе-раторского правительства), случайно встретив нашу «партию» на Поварской, подошел к самому тротуару, остановился и, сняв шляпу, пропустил нас мимо себя. Покровский сделал это так демонстративно, что один из караульных ему что-то крикнул... «Молодец старик,— сказал мне Леонтьев,— вот бы У. и Г. показать!..»

Так мы дошли до Кремля. Я вошел в него с особенным, трудно определимым, повышенным и радостным чувством.

На башнях Кремля в то время еще красовались двуглавые орлы, смененные теперь красными звездами, которые я, слава Богу, не видел и видеть не желаю. На Спасских Воротах висел еще чудотворный образ Спасителя. Внутри Кремль произвел на меня какое-то странное впечатление, он был как будто еще «необжит» большевиками. Старинные кремлевские Храмы-святыни, Екатерининские «Судебные Установления» и казенная громада Николаевского Дворца стояли, казалось мне, с видом холодного отчуждения от юрких интеллигентов с портфелями под мышкой и вызывающе-«пролетарски» распущенных представителей нового «первенствующего сословия», которые проходили у их подножия... Насыщенная Историей красота и даже импозантная безвкусица

Дворца как-то особенно сильно впечатлили мою душу. «Нет,— думал я,— большевики и это — несовместимы!» Тогда я был уверен, что погибнут именно большевики, а не это...

Как я был рад, что Господь привел меня попасть в Кремль! Я совсем не ожидал той силы впечатления, которую получил тогда. Никогда до того кремлевские соборы так меня не захватывали, как в этот раз. Религиозные, эстетические и исторические ощущения переполнили меня: я чувствовал себя, может быть, как никогда, живой частицей Церкви, Народа и Рода, и это чувство прекрасно гармонировало с ощущением моей личности, которая вовсе не растворялась в чем-то более широком, а органически и соборно включалась и жила в нем. Никогда в жизни я не ощущал этого, как тогда, и дни нашего «кремлевского сидения», несмотря на ожидание суда, оставили во мне светлое воспоминание. Я чувствовал, что я здесь, в Кремле, перед судом и, возможно, расстрелом — за верность Церкви, России и лучшим традициям моих Отцов и Дедов. Это сознание подымало и укрепляло меня.

Сидели мы, как я уже говорил, в арестном помещении при кремлевской страже и при каждой смене караула нас «сдавали» довольно забавным и глупым способом. В нашу камеру приходили оба караульных начальника — старый и новый — и пересчитывали койки, потом они уходили и через некоторое время возвращались вновь и пересчитывали электрические лампочки. Затем они снова уходили и опять возвращались пересчитывать «арестованных». После этого снова уходили и опять возвращались и пересчитывали одеяла и т. д. Конечно, в конце концов такой идиотский порядок сдачи и приема нас раздражил бы, но тут мы были в несколько приподнято-веселом настроении и глупость нашей добродушной стражи нас только забавляла. Помнится, один только С. П. Мельгунов несколько ворчал на нее, но и то очень мало. На второй день сидения мы научили стражу более удобному для нее самой и для нас способу «сдачи» караульного помещения. Стража охотно вняла нашему совету.

В Кремле, через посетивших нас там наших адвокатов, мы узнали, что наше дело будет слушаться в Политехническом Музее и что нас на время процесса переводят в тюрьму МЧК (Московская Чрезвычайная Комиссия). Через Спасские Ворота стража повела нас в эту новую для нас тюрьму (как и «Особая тюрьма» — тоже на Лубянской улице).

Когда проходили через Ворота, по старой московской традиции почти все мы сняли шапки. Я заметил, что большая часть нашей стражи тоже их сняла. С. П. Мельгунов как принципиальный атеист, с интеллигентской цельностью и

прямолинейностью, не снял шапки, и один из конвоиров ему заметил: «Спасские Ворота — шапку снимите!» Мельгуиов запротестовал, и стража, разумеется, не настаивала на этом, чуть ли не «контрреволюционном» требовании. Эти и другие характерные мелочи навек выгравировались в моей памяти.

В тюрьме МЧК мы почувствовали себя очень неуютно. Нам предоставили две очень маленькие смежные камеры, довольно грязные и без достаточного количества коек. Большинство из нас (я в том числе) должны были спать на полу и без матрасов. В камере были клопы и много тараканов. Пищу нам дали тоже совершенно несъедобную, а мы были довольно голодны. Невольно вспомнился известный анекдот про пищу в скверном ресторане: «во-первых,—гадость, а главное—мало!» Так, впроголодь, на грязном полу улеглись мы на ночь рядом с Леонтьевым... и оба скоро заснули. По нас бегали тараканы и мы, во сне, скидывали их с себя. А на следующее утро узнали, что Мельгунов, в ночь перед судом не могший сомкнуть глаз в этих условиях, полушутливо, полураздраженно жаловался на нас с Леонтьевым соц.-демократу В. Н. Розанову, который тоже не мог спать: «А вот, смотрите, благородное-то наше дворянство спит себе, да спит, только тараканов друг на друга во сне перегоняет!» — «Что же,— спокойно отвечал Розанов,—во всяком случае, эти покамест не выродились!» Об этом разговоре наших социалистов со смехом рассказывал нам на следующий день присутствовавший при нем В. Н. Муравьев.

Хотя я и спал эту ночь в тюрьме МЧК, все же я был рад, что на следующий день нас перевели в нашу «родную» тюрьму Особого отдела. Там у каждого из нас было по койке и было куда чище. Когда, при проверке, мы сказали начальнику тюрьмы, Попову, что мы «рады» снова попасть сюда, он улыбнулся: «Очень приятно!. В первый раз такое слышу...»

Я не стану подробно описывать нашего процесса, ограничусь общими чертами.

Крыленко произвел на меня впечатление человека, безусловно, не глупого и талантливого. В нем чувствовалось какое-то наплевательство, как ни странно, несколько сродное тому, которое я наблюдал у талантливого бюрократа Вл. Иос. Гурко (бывшего тов. мин. внутр. дел). У него была ироническая жилка, и не один раз во время нашего процесса я замечал, что он смеется там же, где и я, в то время как председатель суда чекист Ксенофонтов был совершенно непромокаем для юмора в комизма. А юмористического и даже комического в нашем процессе было немало! Особенно этому способствовали защитники из Коллегии Советских правозаступников. Одному из них — защитнику

профессора — пришла мысль принести на суд кипу книг, написанных его подзащитным, и вот защитники наших профессоров, перебивая друг друга, устремились к судейскому столу с кипами трудов своих подзащитных: «Мой написал И томов»,— спешил сказать один, «а мой еще больше — 18!» — перебивал его другой... И все это с ужимками третьестепенных провинциальных актеров или мелких еврейских «факторов»... Крыленко просто хохотал, глядя на эту сцену, и многие из числа подсудимых и публики вторили ему (я в том числе). Картина, действительно, была невероятно комическая.

Речи ряда правозаступников вызывали улыбки и даже смех среди присутствующих и, нередко, неловкое чувство у самого подзащитного. Например, крупный промышленник — Морозов, обвиняемый в том, что он дал некоторые суммы на деятельность нашей организации, во время речи своего правозаступника ворчал вполголоса: «Ну уж удружил, дурак, нечего сказать — удружил!..» И действительно, правозаступник тонким фальцетом доказывал, что его подзащитный такой добрый человек, такой добрый, что никогда никому и ни в чем отказать не мог и даже, в сущности, не понимал, на что у него просят деньги... Попросил у него деньги Леонтьев — он дал; попроси у него какие-нибудь революционеры — он, конечно, дал бы в им... Он добрый... он не мог отказать!

«А еще деньги ему плати за такую защиту,— ворчал Морозов, — сам круглый дурак и меня дураком выставляет!»

Интересно мне было наблюдать на нашем процессе Троцкого, который сам вызвался свидетельствовать по делу В. Н. Муравьева. Троцкий говорил сдержанно, совсем не по-митинговому, держался просто, без рисовки, и производил впечатление безусловно умного человека. В те времена звезда его стояла очень высоко на советском небе, почти около звезды самого Ленина и куда выше звезды Сталина. Показания Троцкого благоприятно отразились на приговоре Муравьева. К Троцкому совершенно не подходит эпитет — «джентльмен» (он, конечно, и сам на него не претендовал бы), но поступок его, то, что он по собственной инициативе явился на суд, чтобы снять часть обвинения с несомненного «контрреволюционера», тем не менее носит черты джентльменства. Весьма вероятно, впрочем, тут был со стороны Троцкого расчет. Его положение среди коммунистов было тогда так крепко, что он мог не опасаться поколебать его, но он искал также симпатий среди бывшего офицерства и высшей интеллигенции. Поступок его на нашем процессе, как я позднее слышал, произвел некоторое впечатление в кругах последней.

Как на всех типичных политических советских процессах,

обвинение базировалось почти исключительно на показаниях самих обвиняемых. При моем допросе Крыленко спросил меня, подтверждаю ли я свои показадия па следствии (в ВЧК)? Я ответил утвердительно. Тогда Крыленко спросил, подтверждаю ли я, не помню точно какой, мелкий факт. Это был факт, о котором донес ВЧК Виноградский и который я не подтвердил на следствии. «Нет,— ответил я.— Думаю, что вам не следует основываться на показаниях предателей и провокаторов».— «Кого вы называете предателем?» — спросил меня председатель суда Ксенофонтов. Повернувшись в сторону Виноградского, не повышая голоса, я ответил: «Николая Николаевича Виноградского». Виноградский сидел в первом ряду обвиняемых, находящихся до суда на свободе. При моих словах лицо его сделалось мертвенно-бледным и он, как марионетка, всем корпусом перегнулся через барьер... Весь зал на миг застыл, как в оцепенении, но раздался резкий голос Крыленко: «Я протестую против того, чтобы здесь оскорбляли обвиняемых!»

В перерыве заседания один из наших адвокатов частным образом говорил с Крыленко о Виноградском. «Конечно, он предатель и провокатор,— спокойно сказал Крыленко,— только я этого на суде говорить не позволю...»

Речи обвинителя (Крыленко) и наших защитников (я не говорю о правозаступниках) были нормальными судебными речами: не плохие, но и без всякого таланта. Помимо наличия или отсутствия таланта у представителей обеих судебных сторон в советских политических процессах обвинитель, и особенно защитники, я думаю, чувствуют всю бесполезность своих речей, имеющих только декоративный или пропагандистский характер: дело будет все равно решено независимо от них. Поэтому, при равенстве талантов, советское судебное красноречие будет всегда бледнее речей перед свободным судом. Как я уже говорил, Крыленко произвел на меня впечатление человека с талантливой природой, но даже при наличии таланта негде было развернуться в условиях советского суда.

Конечно, мы этого ожидали, нас скорее удивило бы обратное. Поэтому само требование расстрела — Крыленко требовал расстрела всех главных подсудимых — для нас в то время, когда, как говорилось «гидра контрреволюции должна была быть безжалостно выжжена каленым железом», было менее страшно, чем для обвиняемых в другие эпохи, когда требование смертной казни со стороны прокурора было менее обычным. Все же, при требовании для нас казни, Крыленко стремился придать своему голосу какой-то особый зловещий, приглушенный тон. Его небольшая, круглая фигура как-то по-кошачьи сжалась, как бы

готовясь к скачку, чтобы растерзать свои жертвы, а нижняя челюсть Крыленко приняла, наоборот, собачье — бульдожье — выражение...

Публика в огромном большинстве нам сочувствовала, она переполняла большой зал, где происходил суд, и была, по-видимому, значительно более впечатлена кровожадиым требованьем наших голов со стороны Крыленко, чем мы сами, обвиняемые. Но сказать, что все мы отнеслись к речи Крыленко совершенно хладнокровно, было бы тоже неверно... Конечно, настроение у всех нас было весьма напряженным...

Наступил «волнительный момент» ожидания перед вынесением приговора. Я пишу «волнительный момент» в кавычках, так как для меня лично он был, слава Богу, очень мало волнительным. Я понимал, как мучается, сохраняя полное наружное спокойствие, Мама, волнуются и другие близкие мне люди, и это меня не могло не мучить, но самого меня охватило какое-то полное*и*просветленное спокойствие. Я не притворялся спокойным, не «держал себя в руках», а действительно был спокоен. Не могу сказать, чтобы я в тот момент был настроен как-то особенно религиозно и в этом нашел успокоение. Нет, это было какое-то особое, светлое и как бы несколько отрешенное от мира спокойствие. Это состояние — в такой полноте — я испытал только раз в жизни и только тогда. Я не думал о том, что решается вопрос о моей жизни и смерти и что, может быть, я буду скоро расстрелян, или если и думал об этом, то как-то объективно, «со стороны», а не как действующее лицо. Подумав, что это может быть некоторым утешением для Мама, я просил С. А. Котляревского и В. Н. Муравьева (которые, как я полагал, не рисковали попасть под расстрел), в случае моей казни, рассказать моей матери, каким они меня теперь видят: «я совершенно спокоен и у меня нет страха...» Они обещали мне это сделать и— скажу без ложной скромности — смотрели на меня тогда с явным восхищеньем (что выражали и на словах). Говорю это совершенно откровенно, потому что никакой заслуги в этом я за собой искренно не признаю. В камере ВЧК, как я уже говорил, мне было трудно держать себя в руках, но тут мое спокойствие было даром Божьим, ниспосланным безо всякой заслуги с моей стороны. Благодарю за него Господа Бога.

Стража нас обыскала, нет ли у нас оружия или яда для самоубийства. Ничего ни у кого не нашли, впрочем, обыск был поверхностный. Я знал, что, по крайней мере у С. П. Мельгунова, яд имелся. Он еще раньше предложил со мною им поделиться, на случай смертного приговора. Он не хотел быть расстрелянным чекистами. Искренно поблагодарив Мельгунова, я отказался — по

принципиальным соображениям. Я предпочитаю быть убитым, чем кончить жизнь самоубийством. Если бы я опасался пытки — чего в данном случае я никак не предвидел,— я, вероятно, яд взял бы.

После обыска нас вывели в зал для выслушивания приговора.

Переполненный публикой — в огромном большинстве нам сочувствовавшей — зал в напряженном молчании ждал появления суда. Все встали. Негромким, вульгарно-звучавшим голосом Ксенофонтов прочел нам приговор. После перечня ряда имен, в числе которых было и мое, прозвучали слова: «приговорить к высшей мере наказания» (расстрел)... «Но,— продолжал вульгарный голос,— принимая во внимание амнистию, объявленную тогда-то для всех белогвардейцев, не принимавших участия в контрреволюционном выступлении Врангеля...» Нам — по группам — наказание сбавлялось. Я попал в группу наиболее виновных и получил, как Щепкин, Леонтьев и Мельгунов, «десять лет строжайшей изоляции». Наши имена стояли последними по списку, почему нам и нашим близким пришлось ждать дольше всех других, чтобы узнать нашу судьбу.

Спокойствие, слава Богу, не покидало меня во время чтения приговора, но то ли нервность многолюдного зала повлияла на меня, то ли по другим причинам,— та необыкновенная ясность сознания, которую я испытывал раньше, сменилась каким-то странным ощущеньем полуреальности происходящего. Я чувствовал себя как бы под влиянием какого-то наркотика, как бы в легком полусне.

Все мы выслушали приговор совершенно спокойно, но когда нас увели и мы остались одни, некоторые стали—с непонятной мне по тогдашнему моему настроению сдержанной страстностью — реагировать на происшедшее и на избавление от смертельной опасности. Да, я, конечно, был рад, что меня не расстреляют, но и радость я ощутил тогда как-то полуреально. Только позднее, уже в камере тюрьмы ВЧК, я почувствовал прилив той здоровой животной радости и возбуждения, которые испытываешь после большой опасности. Все мы были возбуждены и веселы.

Пока мы ждали приговора суда, Мама с Соней пошли к жившему неподалеку отцу Алексею Мечеву, очень чтимому в Москве священнику и высоко духовному человеку. Мы не раз у него говели. Он отслужил молебен о моем спасении с таким чувством и такой верой, которые и растрогали и духовно поддержали Мама. Прощаясь с Мама и Соней — они спешили обратно в суд — отец Алексей сказал им, что он верит, что все будет хорошо и... дал им яблоко для меня. Таков был отец Алексей: я не знаю другого человека, в котором так сочетались бы

духовность и детскость...

Сразу после приговора Мама, Соня и несколько родных и друзей вернулись к отцу Алексею, и он со слезами радости на глазах отслужил благодарственный молебен. Мама рассказывала, что все целовались, как на Пасхе.

Позднее я узнал, что в день нашего процесса в Москву пришло ложное известие о взятии красными войсками Варшавы. Уже начали готовить красные флаги на улицах для празднования победы. На следующее утро пришло известие о крупном поражении Красной армии... Польская война была проиграна.

Говорили, что известие о победе повлияло на мягкость приговора. Кто знает, что было бы с нами, задержись приговор еще на один день...

Надо отметить, что большевики относились к нашему «заговору», как они его называли, отнюдь не легкомысленно, этому можно привести ряд доказательств. Так, например, в статье официального органа СССР «Известия» от 27 ноября 1935 года, появившейся более 15-ти лет спустя после нашего процесса и случайно попавшей мне в руки уже за границей, говорится следующее: «ВЧК нанесла ряд жестоких ран контрреволюционным силам... Она вытащила на свет*опаснейшие заговоры*«Национального» и «Тактического» центров (выделено мною.—*С. Т.)*и обезглавила их». Подобных оценок можно было найти немало.

На следующий же день после окончания суда нас перевели обратно в Бутырскую тюрьму.

Странная вещь — память. Как ясно, с массой мелочей, я помню, как нашу партию гнали в Кремль и на суд, но у меня совершенно стерлись воспоминания об обратном пути...

Итак, мы очутились вновь в Бутырской тюрьме. Положение наше переменилось только в том, что нам начали давать свидания с родными. Все мы получили право на так называемые «личные свидания», то есть не через две решетки с коридором между ними, по которому проходит стража, а через стол, конечно в присутствии стражников, но последние мало мешали. Свидания мы имели один раз в неделю, длительностью, помнится, в 20 минут. Заключенные тесно сидели на лавке, а через стол, на другой лавке, перед ними, еще теснее сидели их посетители. При начинавшейся глухоте Мама ей было иногда довольно трудно слышать меня из-за шума разговоров вокруг. Тут же нам давали «передачу», заранее просмотренную стражей, а мы таким же образом отдавали «обратную передачу», грязное белье и пустую упаковку. Через 20 минут раздавался крик стражи «кончай свидание!», который повторялся несколько раз, пока мы

прощались. На грубость стражи я пожаловаться не могу, это были все же не чекистские автоматы.

Мама и Соня были, конечно, рады свиданиям со мной, но они были для них очень утомительны. Кроме дальнего похода в тюрьму и длительного ожидания своей очереди самые свидания в тюремной обстановке очень утомительны. Даже мы, заключенные, для которых это не связано с физическим утомлением, чувствовали большую нервную усталость в дни свиданий К этому как-то плохо привыкаешь, даже при длительном заключении. Я, по крайней мере, к этому до конца тюремного сиденья так и не привык, и, я — далеко не исключение. Помню, как жаловался на это А. Д. Самарин, просидевший в тюрьме дольше моего.

ТАГАНСКАЯ ТЮРЬМА. МАЛОЛЕТНИЕ ПРЕСТУПНИКИ

Через некоторое время после нашего возвращения в Бутырскую тюрьму моих друзей Д. М. Щепкина, С. М. Леонтьева и меня самого перевели «для отбывания наказания» в другую московскую тюрьму — Таганскую. Перевод этот состоялся по распоряжению «Карательного Отдела Республики», имевшего на нас особые виды.

Уже некоторое время тому назад в Таганской тюрьме был организован «Отдел малолетних преступников», и нами тремя Карательный Отдел решил возглавить педагогический персонал Отдела. «Отбывающие наказание» в Таганской тюрьме должны были принудительно работать (опять-таки для коммунистов и социалистов делалось исключение). При тюрьме были мастерские — швейная, сапожная, переплетная, кроме того было несколько отдельных должностей — работа в канцелярии тюрьмы, кролиководство. Теперь были созданы должности «воспитателей малолетних преступников»: на последние мы и были назначены. Во главе Отдела, разделенного на два приблизительно равных отделения, был поставлен Леонтьев, а мы со Щепкиным стали во главе обоих отделений: все трое мы получили громкое название «старших воспитателей». В каждом отделении было человек пять-шесть «воспитателей» из заключенных, кроме того были «дядьки», тоже из заключенных. Секретарем педагогического совета состоял А. Д. Самарин, но, так как должность эта почти не занимала времени, он, вместе с В. Ф. Джунковским[1], по своему желанию, занимался тюремным кролиководством. Самарин и Джунковский были таганские старожилы и оба (особенно Джунковский) занимали там совершенно исключительное положение.

[1]Свиты Е. И. В. ген.-лейт. Джунковский был ранее московским Губернатором, потом Товарищем министра Внутренних Дел и шефом Корпуса жандармов. Я его знал и раньше. Вл. Фед. был человеком исключительных нравственных качеств. Он неизменно прекрасно держался: и когда был у власти, и в большевицкой тюрьме. Скончался он в конце двадцатых годов.

(По другим данным — Джунковский сидел в лагерях на Колыме еще и в 1937 году.—*Прим. ред.)* Среди стражи тюрьмы большинство еще были старые служащие. У одного из них, помню, была медаль за 35 лет беспорочной службы (конечно, в советское время он ее не носил). Дисциплина среди персонала в то время стояла очень низко, и было забавно видеть, как при

проходе начальника тюрьмы стража небрежно отдавала ему честь (иногда сидя!) и как эти же старослужащие вытягивались в струнку и четко отдавали честь Джунковскому, проходившему по тюрьме в своем грязном рабочем фартуке. Самарину, моим друзьям и мне старая стража отдавала честь, конечно, куда менее четко, чем Джунковскому, но все же неизмеримо более почтительно, чем тюремному начальству, к которому она относилась с почти нескрываемым презрением и пренебрежением. При этом, в отношении к нам почтительность старой стражи была совершенно бескорыстной: никогда ничего мы им не давали, да и давать не могли. Один только раз один из стариков-стражников обратился к Самарину и ко мне за помощью. Во время его дежурства из его коридора убежал «политический» смертник. Старика должны были за это судить. Не знаю, с кем он посоветовался, но какой-то борзописец составил для него «прошение», которое он и принес нам с Самариным на просмотр. Боже мой! — как оно было составлено! Стражник слезно просил принять во внимание его беспорочную службу «в царское время» (более 25-ти лет), в течение которой ни один политический преступник у него не убежал (преступниками были тогда революционеры!), «потому что тогда был порядок, а теперь никакого порядка нет,— как же за ним (преступником) уследишь?». Мы с Самариным убедили стражника не подавать такого прошения, которое могло ему только повредить, и, не без смеха и не без труда, составили для него другое прошение, применяясь к его стилю и обстоятельствам...

Старые стражники, когда никого из подозрительных людей вокруг не было, нередко титуловали меня «ваше сиятельство», видимо, очень этим наслаждаясь. Они поголовно были против «новых порядков»: «Ну, на что это похоже? Вот, к примеру, генерал Джунковский, Митрополит (Кирилл Казанский) и вы здесь сидите, а кому сидеть следовало бы, всем заправляют!.. Долго ли, ва-ше сиятельство, это продлится, а то один конец — погибать!..»

Все это я говорю, понятно, о старой страже: новая была совсем иная. Часть ее держалась, как говорится, «и нашим и вашим», а часть была настроена совсем большевицки. Самые неприятные для нас, «политиков», были так называемые «колчаки». Это были казаки из армии адмирала Колчака, которые теперь перешли в другой лагерь и поэтому проявляли особое усердие против «врагов народа» — контрреволюционеров.

Однажды в тюрьме я случайно был свидетелем грубой сцены. Четыре стражника куда-то тащили упирающегося человека явно семитического типа. Его заставляли идти сильными пинками... Из

группы слышались голоса; «упирается, жидовская морда... всех бы их, жидов... так растак!» Я взглянул: еврея вела—новая стража... «Таких грубостев у нас прежде не бывало...» — сказал мне по этому случаю старый стражник.

Мы немедленно приступили к организации Отдела малолетних преступников, который находился в совершенно хаотическом состоянии. Картина была очень непривлекательная. При большевиках тогда еще не было официальных детских исправительных домов (старые были разрушены), и преступность среди подростков, по понятным причинам, страшно возрастала. И вот детей и подростков, от 10 до 17 лет, направляли в тюрьмы для взрослых, мальчиков — в мужские, девочек в женские. Легко представить себе, в какое положение попадали эти подростки, часто еще не вполне развращенные, в такой компании! Первоначально мальчиков «разбирали по камерам», а не сажали в отдельные камеры. Этих порядков, когда мы прибыли в Таганскую тюрьму, мы уже не застали: подростки были сведены в отдельные камеры, но камеры эти были расположены среди камер для взрослых. Кроме того, замки в уголовных камерах были сломаны (завоевание революции), и общение между взрослыми и малолетними было полное... можно представить себе все последствия... Создавшееся положение привлекло наконец внимание начальства.

При полной поддержке представителя Карательного Отдела, мы быстро принялись за дело организации. Наше со Щепкиным и Леонтьевым положение в тюрьме было не лишено оригинальности. С одной стороны, мы — «преступники, отбывающие наказание», да еще контрреволюционеры, то есть куда хуже уголовных; с другой стороны. Карательный Отдел обратил внимание на безобразие, творящееся в тюрьме, и назначил нас начальниками Отдела малолетних преступников... Тюремное начальство точно не понимало, какое же мы, наконец, занимаем положение, но его очень устраивало перевалить на нас большую долю ответственности за «малолетних».

Так или иначе, мы получили в наше распоряжение отдельные от взрослых уголовных коридоры, и добились особой стражи, которая не допускала взрослых уголовных в паши коридоры и — в отношении «малолетних» — была отчасти как бы подчинена нам. Конечно, при этом с нашей стороны требовалось немало такта. Свободное общение между взрослыми и малолетними уголовными вне мастерских, было, таким образом, прекращено. В мастерских же был особый надзор. Среди «малолетних», число которых в наше время редко падало ниже 100, а часто поднималось значительно выше, была введена элементарная

дисциплина, и нам было предоставлено право наказания. Наказания сводились к содержанию на срок не более двух недель в карцере, где заключенный мог быть кроме того подвергнут на несколько дней режиму «на хлебе и воде» и спанью на досках без матраса. Мальчики, переводимые нами за разные проступки в карцера, нередко бунтовали, особенно в первое время, и, чтобы реже беспокоить стражу, мы добились права назначать нескольких «дядек» (из заключенных же). Старшим дядькой Леонтьев смело назначил уголовного — несколько убийств и грабежей было на его душе — не знаю, кто бы мог это прочесть на его, скорее симпатичном, лице с ясными глазами... Это назначение было очень удачным во многих отношениях.

Наш старший дядька, как серьезный уголовный — убийца,— пользовался уваженьем среди взрослых уголовных и тем более среди малолетних. Его авторитет позволил нам избежать многих возможных скандалов. Я не поручусь, что он изредка не «прикладывал руки» к некоторым особо непримиримым бунтовщикам, но ему, как уважаемому члену уголовного мира, все это сходило, а порядок у нас в Отделе сохранялся...

Кроме того,— и этого мы первое время полностью не сознавали,— наш старший дядька был до некоторой степени нашим «гарантом» перед уголовным миром. Наши реформы вызвали вначале бурный протест среди уголовных, они теряли в связи с ними некоторые ценные для них преимущества, к которым они успели привыкнуть. «Протест» уголовных принимает иногда довольно решительные формы; так, уже после нашего выхода из тюрьмы, один из новых воспитателей, как мне передавали, был просто убит «неизвестно кем» за какую-то «несправедливость»... Вообще, как это ни кажется на первый взгляд неожиданным, уголовный мир повышенно чуток к «справедливости» и «несправедливости». Но исключительно умиротворяющему влиянию нашего старшего дядьки приписываю я то, что нам скоро удалось переменить настроение уголовных в отношении наших реформ: они скоро сами сочли их «справедливыми» и, кроме того, в большинстве одобрили наступивший «порядок»... Русский народ часто называют анархичным, но как он в глубине души ценит «порядок» и даже «чинность»! Эти чувства я наблюдал и в уголовном мире.

Возвращаюсь к «справедливости». В отношении малолетних преступников вы можете быть очень строгим, но если это будет «справедливо», то и «молодое» и «старое» уголовное общественное мнение поймет это и не будет против вас. Но малейшая «несправедливость» в глазах уголовных может вызвать бурю. Я помню, например, такой случай. Один из наших

воспитателей разрешил какому-то мальчишке что-то (не помню, что именно), что несколько дней тому назад он не разрешил другому. Конечно, это было неправильно. Начался настоящий бунт; «любимчикам можно, а нелюбимчикам — нельзя!» Жизнь этого воспитателя сделалась адом: ему делали всевозможные неприятности, в частности крали его запасы продовольствия («передачи»), а раз, ночью, когда он шел в уборную, мимо его головы пролетел какой-то тяжелый предмет... Ему пришлось «добровольно» уйти из воспитателей. А после нас, как мне говорили, одного воспитателя «за несправедливость» сбросили с балкона 5-го этажа на нижнюю площадку тюрьмы. Он, конечно, был убит, но — кем? — так и осталось неизвестным: уголовные умеют хранить свои тайны, а наказание тех, кто их выдает,— ужасное. В мою бытность в тюрьме одного такого «доносчика» — взрослого уголовного — «учили железным карандашом». Ночью «неизвестные» набросили ему на голову его же бушлат и заткнули рот тряпкой: вытянув за руки и за ноги на койке, его «учили» (били выломанной железной ножкой от другой койки — «железным карандашом»). Переломав ему кости рук и ног и несколько ребер, его оставили еле живого, пригрозив, что — «хуже будет». Несчастного нашли только утром и перенесли в больницу: судьба его мне неизвестна. Так мстят уголовные...

Однажды мне самому пришлось считаться с возможностью уголовной расправы. Дело было так. За кражу у товарищей один мальчик лет 16—17 был посажен в карцер. По правилам, сидящий в карцере лишается права на свидание. Я всегда был против этого правила, так как оно наказывает не только самого виноватого, но и его родных, пришедших на свидание. И вот дядька приходит мне доложить, что на свидание с этим «малолетним» приехали из деревни его родители, и мальчик просит разрешить ему свидание и «скандалит». Сидевший в карцере был не моего отделения, где окончательной решающей инстанцией в этом деле был бы я, а отделения Щепкина. Последний, человек исключительно мягкосердечный, однако не разрешил дать мальчику свидание. Сделал он это, опасаясь за него же самого: если воровство между «своими» не наказать достаточно строго, мальчишки сами произведут страшный самосуд. С дежурным дядькой я пошел в карцер. «Ты знаешь правила,— сказал я мальчику,— я тебя на свидание отпустить не могу, чего же ты скандалишь... Я понимаю, что тебе тяжело, поэтому пока за твой скандал я не прибавлю тебе наказание, но прекрати его немедленно!» — «Ах, так! — вскрикнул мальчик,—так я над собой такое сделаю!» Я тогда еще не знал этих уголовных нравов и только сказал: «Не говори глупостей!» — и повернулся к двери... Вдруг мальчик выхватил

где-то припрятанный тяжелый предмет и, положив указательный палец левой руки на тупой край тюремного медного кувшина с водой, с такой силой ударил по пальцу, что сустав отлетел в кувшин. Все это произошло во мгновение ока, и я увидел только фонтан крови из пальца... Я немедленно отправил мальчика в тюремную больницу.

Только тут я узнал, что такие энергичные жесты протеста делаются для того, чтобы возбудить весь тюремный уголовный мир против виновника, в данном случае — против меня. Однако никаких мер против меня уголовные не приняли, хотя сделать это им было легко. Очевидно, они сочли мои действия «справедливыми». Вероятно, мне помогло, что протестующий был вор «у своих», не вызывающий симпатий в уголовном мире.

А вот другой случай, тоже рисующий уголовные нравы. (А сколько бы их, вообще, можно было рассказать!..) Однажды ночью я просыпаюсь от крика Леонтьева (мы с ним жили вдвоем в одной «одиночной» камере). Он кричит на какого-то «малолетнего», проникшего к нам в камеру с целью «мойки» (воровства). Мальчишка оказался моего отделения, прибывший к нам несколько дней тому назад. «Утром, при проверке, скажи дежурному воспитателю, что я приказал перевести тебя в карцер», — сказал я ему...

Рано утром, когда мы еще не встали, стучится к нам дежурный воспитатель. Он ничего не знал о ночном происшествии и застал нашего воришку сильно избитого на его койке. «Он еле может говорить»,— сказал воспитатель. Я немедленно пошел с ним в камеру избитого. «Прикажите перенести меня в карцер»,— прохрипел потерпевший; сам он идти не мог... Оказалось, мальчишки моего отделения ночью же узнали о случившемся, и так как они считали нас с Леонтьевым «справедливыми», они начали «учить» провинившегося. Его покрыли одеялом и били почем зря кулаками. Тело и лицо его были в кровоподтеках и синяках. Я хотел, вместо карцера, послать его в больницу, но потерпевший взмолился: «Если вы меня не накажете, они меня еще пуще изобьют...» Наказание, наложенное начальством, примиряло с ним его товарищей.

Я, понятно, спросил мальчишку, кто его избил, но я напрасно старался, я прекрасно понимал, что без «Цыгана» (одного из заправил нашего отделения) дело обойтись не могло. Когда Цыган вернулся к обеду из мастерской, я приказал вызвать его ко мне.— «Слушай, я ведь понимаю, что ты это дело сделал; чего же вы его учили, когда я его уже наказал. Это разве хорошо два раза наказывать!» — «А он, дурак, нам не сказал, что вы его с утра в карцер послали... Ну, ничего, его поучить следовало: мы вами

довольны, «мойки» у вас не допустим».— «Здесь начальство не ты, а я, и я сам мойки ни у кого не допущу! — сказал я строго.— Иди!» На самом деле, я прекрасно понимал, что имей я отделение таких сорванцов против себя, я бы ничего добиться не мог. Мне кажется, что так же хорошо понимал это и Цыган. «Что же, господин воспитатель, вы не сердитесь, это мы от доброго сердца...» — сказал он, выходя.

Попутно приведу еще случай, рисующий нравы взрослых уголовников. Однажды я обедал в своей камере. Уголовные уборщики носят по балконам-коридорам большие баки с супом и наливают черпаками порции в подставляемую нами посуду. В дверь камеры стучат и ко мне входят двое неизвестных мне заключенных; я знал только, что это — «преступники по должности», то есть советские служащие, занимавшиеся взяточничеством и воровством в своих учреждениях.— «Что вам угодно?» — спрашиваю я.— «Да вот, заявление вам подписать принесли»,— и подают мне лист бумаги. Подписавшие — «спекулянты» и «преступники по должности» — просили тюремное начальство, чтобы им и «политикам» отвели бы камеры в отдельных от уголовных коридорах. Мне как «политику» и принесли это заявление на подпись. Не подписывая, я протянул лист обратно.— «Вы не подписываете? Почему?» — несколько наглым тоном спросил меня один из вошедших.— «Подписывать или не подписывать — мое право,— ответил я,— но если вы желаете знать, я вам объясню. Я здесь живу не по своей воле, а кто мои соседи — воровавшие ли на улице, или воровавшие в учреждениях—это мне все равно!» Мои «преступники по должности» возмущенно удалились, и я считал этот маленький инцидент исчерпанным, как вдруг на следующий день, тоже в обеденное время, когда по коридору тюрьмы ходят более свободно, опять стучатся ко мне в камеру и на пороге ее появляется неофициальный, но всем известный глава уголовных нашей тюрьмы.— «Разрешите зайти?»—«Пожалуйста».—Я остаюсь сидеть, но ему сесть не предлагаю. Он переминается с ноги на ногу у двери.

Среди серой массы уголовников, «шпаны», выделяются немногочисленные «Иваны». По большей части, если даже не исключительно, они сидят «по мокрому делу», то есть за убийство, но далеко не всякий убийца — «Иван». Для этого, кроме хорошей уголовной марки, надо иметь «общественную жилку» и задатки вождя. «Иван» возглавляет собой уголовных и пользуется среди них огромной властью» но, с другой стороны, сам он готов рисковать и даже жертвовать собой за них. Конечно, «Иваны» — не Разины и не Пугачевы, но я уверен, что и в Разине и в Пугачева

было много от «Иванов».

Мой «Иван» не знает, как начать...— «Так что вот, я пришел вам сказать, что мы, значит, очинна вами довольны...» — «То есть?» — спрашиваю я.— «Да так, наши уборщики слыхали, как вы вчерась этих... (нецензурное выражение) отделали... Так ребята очинна вами довольны... Опять же с нашими малолетними вы все по справедливости... Так что вот мы подумали от нас вас делегатом на кухню просить, чтобы, значит, все было справедливо...»

*Этого*я никак не ожидал! По старой традиции, уголовные в тюрьме имеют своего избранного «делегата на кухне» (делегатом его назвали, впрочем, только после революции), который следит за правильностью распределения порций и, вообще, чтобы уголовных на кухне не обкрадывали бы. Это место обычно занимается либо самим главой уголовных, либо близким к нему лицом. Между прочим, по неписанному закону, этот делегат имеет право на самой кухне есть из тюремного котла все и сколько ему угодно, но не может ничего с собой из кухни выносить; в наши голодные годы эта привилегия очень ценилась.

Разумеется, я с благодарностью, но твердостью, отказался от этой должности. Уходя от меня, «Иван» еще раз сказал: «Очинна мы вами довольны и, будьте покойны, мойки у вас не будет... А если что, прямо мне скажите».

«Прямо мне скажите»...— действительно, значение и власть главы уголовных в тюрьме огромны. Среди заключенных у нас был один замечательный часовщик (не уголовный, а «спекулянт»). Тюремное начальство оборудовало ему в камере маленькую мастерскую, и наш часовщик чинил — разумеется, бесплатно — часы всего тюремного штата. Слава его росла и ширилась: к нам стали посылать в починку часы из Карательного Отдела; сам начальник его прислал чинить свои золотые часы. Но тут случилось несчастье! Бледный и дрожащий часовщик пришел доложить начальнику тюрьмы, что у него из камеры «смыли» сразу 12 часов и среди них — о ужас! — часы самого начальника Карательного Отдела. Кража была произведена только что, и часы не могли быть еще вынесены из тюрьмы.

Немедленно были приняты самые экстренные меры к розыску. Ни один уголовный не мог выйти из тюрьмы без тщательного обыска; раздевали даже тех, кто под охраной шел в суд. По всей тюрьме был произведен обыск, ходили во все без исключения камеры, но у самых почтенных, в том числе и у нас, не обыскивали. К нам с Леонтьевым зашел помощник начальника тюрьмы, извинившись, что «обязан», но только посидел у нас, разговаривая, несколько минут; также поступил он в камерах

наших Епископов, Самарина, Джунковского и нескольких других. Обыски шли целый день, но ничего найдено не было. Тогда начальник тюрьмы вызвал главу уголовных и сказал ему следующее: сейчас вышел декрет о частичной амнистии для уголовных. Мы должны в канцелярии подготовить все дела по категориям. Так вот, пока все часы не найдутся, дело будет задержано и у нас в тюрьме, и в Карательном Отделе тоже... Во всяком случае на несколько месяцев затормозить можно. Никто из уголовных, кто по амнистии имеет на это право, на волю не выйдет... Представьте все часы, никто за эту кражу не ответит, и тогда дело с амнистией пойдет как по маслу.

Через час или два после этого разговора глава уголовных врывается к часовщику: «Ты, такой-сякой, сколько часов, говоришь, пропало?» — «Двенадцать».— «Двенадцать! А как же их тут, такой-сякой, тринадцать? Все твои, или нет?» — «Все мои,— сказал испуганный часовщик,— я про одни забыл».— «Забыл, мерзавец! А потом из-за лишних пропавших часов опять заварушка бы вышла. Смотри, в другой раз ты перед нами в ответе будешь, по головке не погладим!» — На этом глава уголовных и часовщик пошли к начальнику тюрьмы и заявили ему, что все часы найдены. Начальник вздохнул спокойно: все в порядке, в Карательном Отделе об этой передряге и не узнали.

Да, велика власть и значение главы уголовных! В мою бытность в Таганской тюрьме однажды ночью одному уголовному отрезали голову... Вся тюрьма знала, что это было сделано по приговору уголовных, за неотдачу карточного долга. Должник пытался скрыть, что у него была возможность отдать долг, за это его и казнили. Глава уголовных несомненно знал все дело и, очень вероятно, сам вынес, если не выполнил приговор, но следствие, разумеется, дальше нахождения трупа не пошло... Таинственен и скрытен уголовный мир! Тюремная администрация старается задевать его как можно меньше. Раз, помню, я говорил с дежурным помощником начальника тюрьмы по какому-то делу касательно «малолетних». Вдруг откуда-то издалека раздались полузаглушенные стоны; скоро они прекратились, вернее, их лучше заглушили. Мой собеседник переглянулся с другим тюремным служащим: «Учат!» — «Вы пошлете туда?» — спросил я.— «Да... Пойдите!» — обратился он к другому. Тот пошел, но мне было совершенно ясно, что для обоих это была только «демонстрация»: как-то неудобно, все-таки, полное невмешательство, при свидетелях. Но ничего сделано не будет...

Я уже говорил выше, что наш Отдел малолетних преступников распадался на два отделения. К моему отделению было еще пристегнуто так называемое «штрафное отделение», то

есть на моем попечении были все карцеры и сидельцы в них, моего ли они были отделения, или щепкинского. Это была неприятная, а иногда даже тяжелая обязанность, но мне пришлось ее взять на себя, так как бедный мягкосердечный Щепкин мог бы от этого просто сойти с ума. Один из воспитателей сочинил стихи про наш Отдел:

Мягкий Щепкин, в мягкой блузе,
Мягко мальчикам внушает,
Что нельзя друг друга тузить,
Но никто не понимает...

Про меня в том же стихотворении говорилось;

И спокойно, непреклонно
Добиваясь своей цели,
Княжит конституционно
Трубецкой в штрафном отделе...

Чтобы объяснить слово «конституционно», надо сказать, что нами троими — Леонтьевым, Щепкиным и мной — был выработан устав и правила штрафного отделения, которые были объявлены мальчикам и которых я твердо держался.

Чтобы дать понятие о — выражаясь мягко — «неприятностях», связанных со штрафным отделением, кроме уже рассказанного выше случая с отрубленным пальцем, я приведу еще другой.

Не помню, за какой проступок мне пришлось перевести в карцер мальчишку лет 14-ти. Это был ужасный, вконец испорченный мальчик. Судьба его была трагич-на, и сколько было тогда таких! Это был гимназист, сын врача. По нему еще было видно, что он — из интеллигентной семьи. Отец был мобилизован военным врачом: что с ним сталось во время революции, сын не знал: отец просто не вернулся. Мать перебивалась кое-как, продавая свои вещи. Они мерзли зимой и отапливались мебелью и паркетным полом соседней комнаты. Мать заболела и умерла, оставив сиротами его и младшую сестру. Сестра, лет 12-ти, куда-то вышла и не вернулась. Он с помощью дворника продавал оставшиеся вещи, и дворник его кормил. На улице он познакомился с несколькими беспризорными мальчишками и девчонками и попал в их шайку. Вероятно — разврат, алкоголь, кокаин, наконец тюрьма, которая и закончила его воровское образование... Потом снова краткое время свободы, снова воровство и вторая тюрьма, где я и застал его. Несмотря на всю жалость его истории, это был один из самых антипатичных моих воспитанников. С большим трудом двум рослым дядькам удалось доставить его в карцер: он бился, кусался и, думаю, если бы не мое присутствие, озлобленные дядьки его бы избили. Он поднял крик на всю тюрьму. Прибежала стража даже другого

этажа и дежурный по тюрьме, коммунист. Мальчик начал ему жаловаться на меня: «Вот, были князья и остались князья, над нами, пролетариями, издеваются и в карцера сажают...» Узнав, в чем дело, дежурный помощник начальника наставительно произнес: «Князь, не князь,— не твое дело, это дело наше, а тебе в карцер и дорога!» Тогда мальчишка начал зараз ругать и князей, и коммунистов... При помощи стражи его заперли в карцере. На некоторое время он затих. Скоро, однако, меня вызвал к нему дежурный дядька. Мальчишка нагло заявляет мне, что «требует» своего немедленного освобождения из карцера, иначе он разобьет стекла в камере (стекла были тогда очень ценной редкостью).— «Если разобьешь, я тебя оставлю в этой же камере на морозе»,— сказал я. Мороз был тогда сильный.— «Не посмеете! Вы за меня отвечаете!»—«Посмотрим»,—ответил я и направился к двери... Вдруг стоявший за мной дядька прыжком бросился на мальчика. Оказывается, когда я повернулся, мальчишка схватил доску с койки и со всей силы хотел ударить меня по затылку. Дядька вовремя успел схватить его...— «Господин воспитатель, он мне делает больно!» — визжал мальчишка. Я остановил дядьку и молча вышел с ним из камеры. Почти немедленно раздался звон разбитого стекла: мальчишка исполнил свою угрозу.

Наружная стража тотчас сообщила начальству, что у нас бьют стекла, и к нам снова поднялся помощник начальника, коммунист.— «Перестрелять бы всю эту сволочь!» — кричал он, входя со мною в камеру. Окно было разбито, на цементном полу разлита вода и в этой луже, которая, скоро должна была замерзнуть, лежал нагишом наш мальчишка. «Да что он, с ума сошел, что ли?» — спросил помощник начальника.— «Вот что со мной князья делают! — вопил мальчишка,— пусть ответит за мою смерть!»—«Никто за такую падаль отвечать не будет»,— сказал коммунист и вышел.— «Я думаю перевести его в другой карцер», — сказал я.— «И не думайте! Пусть тут, мерзавец, замерзнет. Что он нам, во всех камерах стекла бить будет! Пусть сдохнет, сволочь: другим острастка будет! Ни под каким видом не переводите».— Начальник удалился... Я послал дядьку поискать в тюрьме досок, чтобы забить ими окно: пусть будет хоть и темно, но по крайней мере не так холодно, как при разбитом окне. Дядька пошел исполнить мое поручение, но вернулся с пустыми руками. Мне не сиделось в своей камере: я снова пошел к карцерам. Не отпирая двери, через глазок я увидел, что мальчишка, уже одетый, но совершенно синий, сидит на койке и трясется от холода, кутаясь в свой дрянной бушлат. В камере почти не действовало скудное по всей тюрьме отопление и стоял мороз.

Я приказал дядьке снова открыть дверь камеры. «Не входите лучше, видите, чуть не убил. Просто—зверь лютый... Слыхали, если подохнет, ответа на нас не будет...» Я повторил приказание и вошел в камеру. «Петров,— сказал я мальчику,— ты слышал, что начальник приказал оставить тебя замерзать здесь?» — «Слышал», —глухо ответил мальчик.— «Мне жаль тебя. Если ты обещаешь мне больше не скандалить и стекол не бить, я переведу тебя в другую камеру».— «Обещаю»,— простонал мальчик. Его перевели, и я дал для него дядьке горячий «кофе» (разумеется, о настоящем не могло быть и речи), а он, по собственной инициативе, еще растер его суконкой, «чтобы кровь разогреть»... В результате этот щуплый мальчишка, с прогнившим от кокаина организмом... даже не простудился! Если такие случаи были и мне очень тяжелы, то что бы делал на моем месте милейший Щепкин, с его нежной, женственной душой!

Выше я говорил, что мальчишка, Петров, был кокаинистом. Это было далеко не исключением среди «малолетних», а почти общее правило. Можно даже сказать, что большая часть вырученных за ворованные вещи денег проигрывалась в карты и в конце концов шла на кокаин, который стоил тогда бешеных денег. При этом кокаин действовал на недоразвившийся организм, по-видимому, еще сильнее, чем на сложившегося уже человека.

В «делах» малолетние преступники значились под фамилиями, но между собой они звали друг друга только по прозвищам, обычно очень метким. Это отчасти вызывалось необходимостью; мальчики, как и взрослые уголовные, старались как можно чаще менять паспорта и фамилии, чтобы скрывать прежние судимости: они жили по «липе» (фальшивые документы). Не раз освобожденный при мне «Иванов» возвращался к нам через короткое время уже как «Семенов», но для «своих» он всегда оставался «Паразитом», «Брюхом», «Цыганом» и т. п. Другая уголовная традиция, для них бесполезная, им сильно вредила. Я говорю про страсть к татуировке, которая часто позволяла Уголовному Розыску простейшим образом устанавливать тождество между «Петровым» и «Николаевым». В тюремных банях, где мы мылись вместе с уголовными, я видел много татуированных тел, при этом ни одной, сколько-нибудь художественной татуировки мне никогда не попадалось. Многие уголовные открыто признают, что привычка татуироваться их губит.— «Почему вы это делаете?» — «По глупости... так уж повелось!»

Как я уже говорил, мы с самого начала многое упорядочили в Отделе малолетних преступников. Польза в отношении того, что во всех странах преследуется полицией нравов, была

несомненная, хотя, конечно, полностью наша цель были недостижима. Внешнюю дисциплину среди «малолетних» мы несколько подтянули. Например, в первое время мальчишки из «карманников» очень любили похищать носовые платки из карманов воспитателей и потом подавать их им: «Вот, гражданин воспитатель, вы платок уронили!» Эта «шутка» имела неизменный успех среди мальчишек, но, понятно, не способствовала престижу воспитателей. Такие «шутки» мы совершенно вывели и вообще несколько подняли авторитет воспитателей. Однако в других отношениях сделали мы мало. И что, в самом деле, можно было сделать, скажем, с обучением, когда мы никак не могли добиться ни учебников, ни бумаги, ни письменных принадлежностей? Обучение, которое шло в тюрьме всего успешнее, было, конечно, взаимообучение наших воспитанников всем видам преступлений и разврата... Если к нам попадался полупреступный и полуразвращенный мальчик, то он выходил от нас уже совершенно преступным и полностью развращенным. И ничего с этим мы поделать не могли. Щепкин бесплодно терзался, мы с Леонтьевым пожимали плечами.

Некоторые «малолетние» приговаривались к заключению не на определенные сроки, а «до исправления». Мы всегда отмечали у всех «признаки исправления», чтобы возможно скорее освободить их от заразительной атмосферы, которой они у нас дышали. Конечно, и на воле они попадали в дурные условия, но все-таки в той лотерее было больше выигрышных номеров, чем в нашей, тюремной. Помню я один редкий случай. Простой крестьянский мальчик попал как-то случайно при облаве с беспризорниками и поступил к нам «для перевоспитания». Мы хлопотали, как могли, и его освободили месяца через три... Тяжело было видеть, насколько он успел за это время развратиться. Кстати, о «перевоспитании». К нам однажды был прислан из Минска какой-то мальчишка: в его деле была только одна бумага, где не говорилось за какое преступление он осужден, а только значилось: «препровождается в Москву в*крематорий*(так!) 1-го разряда для перевоспитания новейшими педагогическими методами» (очевидно, в Минске что-то слышали о «реформаториях», но смешали их с крематориями)... Горьким смехом посмеялись мы над нашими «новейшими педагогическими методами»: конечно, посылка мальчика в настоящий крематорий была бы методом более радикальным и действенным... Мы имели удовольствие освободить этого подростка еще в полу, а не в окончательно-развращенном состоянии.

Очень было трудно бороться среди наших воспитанников с

азартными играми (а все игры они имеют тенденцию превращать в азартные). Игра—единственное развлечение и в то же время — бич тюрьмы. В карты проигрывают все, в частности — пищу. У нас кормили — по тогдашним понятиям — довольно прилично, но все же на самой грани голода, и вот мальчики проигрывали друг другу свои порции хлеба и еды, иногда на несколько дней вперед. Одни ели несколько порций, другие буквально голодали. А неплатеж долга среди уголовных карается, как я уже говорил, безжалостно и самым диким образом.

Мы боролись против карточной игры, но какое другое развлечение мы могли им дать вместо него? Кроме того, наши воспитанники все равно никак не могли понять, как можно играть «ни на что».

В моей памяти живо воспоминание об одном «революционном празднике» в тюрьме.

К нам должен был приехать и произнести речь заключенным сам «наркомюст» (народный комиссар юстиции) — Курский. В связи с этим событием в тюрьме приготавливалась целая артистическая программа: тюремный балалаечный оркестр и артисты (из заключенных), а также—коренной номер—приезжие артисты и между ними известный Москвин из Художественного Театра. Представление шло на площадке балкона 2-го этажа, мы смотрели и слушали с нашего пятого этажа. Мы жили в то время среди уголовных (только позднее мы перешли в коридор «малолетних») и стояли в их густой толпе во время речей и концерта. Характерно, что когда мы, с Митрополитом Кириллом Казанским и Самариным, во время всеобщего пения «Интернационала» спешно протискивались среди уголовной толпы в наши камеры, мы не слышали ни одного слова протеста или насмешки, хотя мы не могли не мешать стоящим и цель нашего ухода была очевидна.

Концерт был слышен по всей тюрьме. Москвин, с присущим ему талантом, читал смешные рассказы Чехова, а тут же, в соседнем коридоре, сидело несколько «смертников», ожидающих расстрела, может быть, в эту самую ночь...

«Гвоздем» праздника должна была быть речь наркомюста и, действительно, это был — «номер». Вся речь была сплошная демагогия по адресу уголовных. «Могло ли случиться,— говорил народный комиссар,— что царский министр юстиции приветствовал бы вас речью?» — «Нет!»—заревела толпа...—«А вот я приветствую вас! — продолжал Курский,— и знаю, что вы только жертвы старого режима и что он и только он привел вас сюда. Но в свободной Советской России не будет уголовных преступников: мы перевоспитаем вас, а новые поколения будут

расти в таких условиях, когда преступление будет уже ненужно и невозможно,— всем будет открыта дорога и перспектива плодотворного труда, и нужды всех будут удовлетворены... Эти стены, воздвигнутые царизмом и буржуазией, падут! — патетическим жестом наркомюст указал на стены тюрьмы.— А почему они еще стоят? Потому что нам еще не дают жить свободно, потому что среди нас еще есть контрреволюционеры, замышляющие вновь надеть на народ оковы царизма и капитализма... Вот почему стоят эти проклятые стены и будут стоять, пока окончательно не раздавим эту безобразную, кровавую гидру контрреволюции!..» — и так далее и так далее в том же духе...

Во время речи Курского я смотрел больше не на него, а на толпу уголовных. Их было в тюрьме больше тысячи человек, нас же, «контрреволюционеров», сидело тогда в Таганке может быть человек тридцать... И вот советский «министр юстиции» натравливал эту толпу на нас... Я был с ним в одном согласен: действительно «в царское время» министр юстиции не мог произнести такой речи!

В конце снова общее пение «Интернационала» и снова Митрополит Кирилл и я протискиваемся в мою камеру... Ни одного загоревшегося ненавистью взора на людей, «из-за которых еще стоят стены этой тюрьмы», мы не встретили: толпа пропускала нас так же охотно, как и раньше...

На следующий день я вышел на прогулку в тюремном дворе с моим отделением «малолетних». В тот же двор выходила дверь с кухни. Около нее стоял «делегат на кухне» от уголовных, один из немногочисленных видных «Иванов» нашей тюрьмы (убийца). Он, по-видимому, ждал меня, подошел и поклонился: «Разрешите вас побеспокоить?» — «Пожалуйста, что такое?» — «Так вот, как вы есть человек образованный, а мы, значит, люди темные, так вот я вас дожидался и хотел вас спросить... Ведь вы вчерась речь наркомюста слышали..?» — «Слышал».— «Ну вот, значит, хотел спросить вас — да и ребята тоже — может ли это так быть, чтобы за убийство и воровство не наказывали и чтобы тюрем совсем не было бы?..» —,«Не думаю»,— отвечал я. Лицо моего собеседника просияло: «Ну так и есть! Значит врет, пропаганду эту делает!.. Конечно! Я и сам думаю, да и ребята наши тоже, как же это так можно без наказаниев? Что же, за убийство да за грабеж по головке что ль гладить?! Нет, не выходит это!.. Спасибо вам большое, счастливо оставаться!» — он отвесил мне глубокий поклон и пошел на кухню.

Вот оно, «здоровое народное сознание», подумал я... Между прочим, из наблюдений над уголовными я вынес заключение, что

они, в общем, чрезвычайно ценят корректное с ними обращение. Их невероятно грубый язык и обращение друг с другом этому не противоречат. При встрече двух друзей они приветствуют друг друга совершенно непечатными выражениями, и весь воздух уголовной тюрьмы как бы пропитан ругательствами. Однако эти же уголовные очень ценят, когда с ними обращаются вежливо. Сколько раз и мне самому и моим друзьям и знакомым приходилось убеждаться в этом. Идешь, например, вечером по едва освещенному узкому балкону-коридору нашего этажа; стоит группа разговаривающих и ругающихся уголовных и загораживает собой дорогу. Если даже, при желании, их можно обойти, сделав крюк по мостику, то лучше этого не делать. Уголовные очень чутки и щекотливы, могут принять это в дурном смысле: «брезгуют нами... обходят» (мне такой случай известен). Я всегда шел прямо на ругающуюся толпу и спокойным, «светским» тоном говорил: «Позвольте пройти!». Результат—всегда был тот же: перед вами немедленно расступались, а если кто замедлил это сделать, на него кричали: «Чего ты, такой-сякой» и т. д. При этом вас еще больше уважают, если вы не заискиваете перед уголовными из желания им угодить, а держитесь со спокойным достоинством. Уголовные, в общем, очень ценят «настоящих господ» и ненавидят или презирают «господ ненастоящих» (отчасти, иллюстрацией этого является мой инцидент с «преступниками по должности»). Особенно характерно было отношение уголовных к А. А. Рачинскому[1], человеку исключительной «деликатности обращения». Он долго помещался в камере с уголовными, что, конечно, не могло быть приятно даже человеку менее утонченных вкусов, чем он. Но Рачинский держал себя так просто и с таким достоинством, что уголовные в нем души не чаяли. Характерно также: Щепкин и Леонтьев (оба — бывшие тов. мин. внутр. дел), Самарин (бывш. министр), генерал Джунковский (тов. министра), Митрополит Кирилл и другие, в том числе и я сам, свободно ходили вечером по уголовным этажам, куда боялись показываться в одиночку заключенные коммунисты. Обо мне среди уголовных почему-то пронесся слух, что я, будто бы, «царской крови». Опровержение не помогало, но слух этот мне совершенно не вредил, иногда даже — наоборот. При этом говорить о каком-то «монархическом» настроении среди уголовных, конечно, было нельзя. Понятно, среди них были и монархисты («без Хозяина нельзя!»), но, вообще, доминирующее настроение, если только можно говорить о таковом в области их политических убеждений, было скорее всего — анархическим. Уголовные песни (и вообще песни) не носят политического характера, однако одну, довольно типичную уголовную частушку,

я слышал:

Бога — нет, Царя — не надо!

Мы урядника убьем,

Податей платить не станем

И в солдаты не пойдем...

Такое политическое настроение, понятно, не могло удовлетворять ни монархистов, ни коммунистов, хотя начало частушки последним и должно было нравиться.

К духовенству отношение уголовных было двойственное: одни поносили, другие защищали (я не раз вспоминал евангельских двух разбойников). Тюремная церковь была закрыта и в здании ее помещался клуб, но нам как-то полуофициально разрешали церковные службы (скорее **их** допускали, чем разрешали). Для этого, под охраной добровольных стражников из верующих, нас вели в большую камеру, оборудованную под коммунистическую школу. Архиерейская служба шла под ироническими взглядами Ленина и Троцкого, портреты которых украшали стены. На время службы мы пожелали их снять или завесить, но этого нам не позволили. В этой бедной тюремной обстановке я особенно оценил великолепие службы Митрополита Кирилла: он входил в мантии настоящим «князем Церкви».

Помню услышанный мною разговор после службы: «Господи, — говорил какой-то купец,— вот на Первой неделе не поговел, а до Страстной меня в другую тюрьму перегоняют...»—«Что ж,— отвечал ему другой купец,— говейте на Крестопоклонной: тоже очень действительное говенье!»

Помню, раз в камеру ко мне пришел какой-то уголовный: «Вы не из Петербурга будете?» — «Нет».— «Жаль! Я вор и там в самом аристократическом квартале работал... У ваших родственников, значит... Но одолжите ли пайку хлеба?» Аргументация была несколько неожиданная, но хлеба я ему, конечно, дал, без всякого расчета на отдачу, в чем я не ошибся... Этот вор, изображая религиозное рвение, несколько раз ходил в камеру к нашим епископам. В день его перевода в другую тюрьму он их начисто обокрал.

Вспоминая Таганскую тюрьму, я часто представляю себе типичный тюремный вечер. Работы в мастерских кончились, заключенные вернулись в свои камеры. В тюрьме начинается массовое пользование «динам» для согревания воды или супа. «Динамами» назывались примитивнейшие, самодельные машинки, которые, варварски используя электрический ток для освещения, могли нагревать жидкость, в которую они опускались. Тока для этого, по словам инженеров, расходовалось в несколько раз больше, чем в нормальных аппаратах для нагревания, а при

нагревании супа обычно получалось короткое замыкание и перегорали предохранители. Наши электротехники из уголовных ухитрились заменить свинцовые предохранители простыми гвоздями, но тогда вместо предохранителей стали загораться и перегорать сами провода. И почти каждый вечер, от неумеренного пользования «дипам», по несколько раз потухал свет, иногда в отдельных коридорах, иногда во всей тюрьме сразу... Водворялась темнота, наполненная криками и руганью стражи, тонувшими в криках и ругани уголовных. «Келлер,— кричали со всех балконов тюрьмы,— чини, такой-сякой, свет; что нам, в темноте что ли, такой-сякой, сидеть!» Келлер был электротехник, а в тюрьме сидел за убийство.

В начале вечера, при первых перегораниях электричества, Келлер и его помощники кричали в темноту: «Снимай, такие-сякие, динамы!» — и приступали к починке. С каждым последующим перегоранием ругань с обеих сторон усиливалась в геометрической прогрессии, и, наконец, доведенный до белого каления Келлер, приправляя свои слова затейливой руганью, кричал, что он света больше чинить не будет... В тюрьме на более или менее долгое время водворялась темнота, но отнюдь не тишина...

Такие вечера мы проводили не раз. Помню как-то, по случаю чьих-то именин, кажется Джунковского, у нас в камере собралось несколько гостей. Между тем, после нескольких ночинок Келлер наотрез отказался чинить электричество и мы были приговорены провести вечер в темноте. Тогда я, ощупью в потемках, пробрался по коридору к Келлеру (в другое крыло тюрьмы) и — новая иллюстрация действия «деликатного обращения» — попросил его «на сегодняшний вечер, для наших гостей» не допускать темноты в нашем коридоре. Келлер не узнал меня, когда я вошел в его темную камеру, и встретил, как полагается, руганью, но узнав, тотчас извинился и немедленно и совершенно бескорыстно исполнил мою просьбу и чинил нам свет еще два-три раза за этот вечер.

Тем временем, в моей судьбе готовились большие перемены. По инициативе А. А. Грушка, декана историко-филологического факультета, Университет возбудил перед ВЦИКом ходатайство о командировании меня для научных занятий в Университет. Архив покойного профессора Л. М. Лопатина должен был быть разобран, и эту работу было целесообразно поручить одному из его учеников. Университет и ходатайствовал о моей командировке из тюрьмы для этой работы. Конечно, работа эта легко могла стать работой Пенелопы, которая давала бы мне возможность выходить из тюрьмы. ВЦИК вынес постановление, согласившись исполнить

просьбу Университета командировать меня на работу, но оставил все жевтюрьме. Я мог уходить из тюрьмы после утренней поверки и возвращаться туда до вечерней поверки; разумеется, в праздничные дни я должен был оставаться в тюрьме. В тюремную канцелярию я должен был представлять ежедневные удостоверения Университета, когда я пришел туда для работы и когда вышел. Для более свободного обращения с часами работы и для свободного хождения по городу, я взял на себя еще небольшую дополнительную работу для нашего Отдела малолетних преступников: мне нужно было, от времени до времени, «анкетировать» в их семьях.

Как я узнал позже, прокурор Верховного Трибунала Крыленко протестовал против постановления ВЦИКа относительно меня, но его протест, на мое счастье, был оставлен без последствий. Однако до того, как я приступил к своим «работам» вне тюрьмы, Крыленко затребовал меня к себе. Под стражей меня повели в Георгиевский переулок на частную квартиру Крыленко: он был болен. Я довольно долго прождал перед дверью его спальни и любовался его дивными ирландскими сеттерами. Наконец меня ввели... В богато убранной постели возлежал Крыленко. Войдя, я, по привычке, любезно поклонился, но, Крыленко не отдал мне поклона и не извинился за такой странный прием. В комнате были кресла и стулья, но он оставил меня стоять. Хотя все во мне кипело, я старался сохранить наружную ледяную холодность.

— Вы с вашим университетом добились своего! — язвительно начал Крыленко.- Но знайте,— повысил он голос,— за малейшее уклонение с вашей стороны ответите и вы сами, и ваши друзья...

— Я не намерен их подводить,— сказал я.

— Ах да, я знаю, вы ведь «джентльмен»!—в это слово Крыленко вложил всю для него возможную презрительную иронию.

(Я не могу уже со стенографической точностью воспроизвести весь наш разговор с ним, но всем старым революционерам, которым я его тогда точно передал в тюрьме, такой прием и такие речи советского прокурора казались совершенно чудовищными по сравнению с прошлым. «Нельзя ничего подобного вообразить себе в царские времена»,— говорили они.)

Крыленко был сердит па ВЦИК и старался выместить это на мне. Для чего, собственно, он меня вызывал и запугивал? Неужели надеялся, что я, испугавшись, сам откажусь воспользоваться постановлением ВЦИКа?

— Так вы намерены прятаться за ВЦИК? — язвил Крыленко.

— Я ни за кем прятаться не привык,— отвечал я,— но я действительно намерен опираться на постановление ВЦИКа и

имею на это право по советским законам, которые обязательны и для вас.

— Можете идти! — резко сказал мне Крыленко. Я повернулся, удержав естественный рефлекс поклона, и вышел из комнаты. Под стражей я вернулся в тюрьму. Никаких последствий этот непонятный вызов к прокурору для меня не имел. Тем временем шли хлопоты о командировании моих друзей, Щепкина и Леонтьева, на работу в советские учреждения. Ходатайства эти тоже были утверждены ВЦИКом. Никого из них Крыленко к себе не вызывал, хотя положение моих друзей и мое было совершенно аналогичное.

Вероятно, все эти «откомандирования из тюрьмы» объяснялись зарей НЭПа. В нашем положении это было несколько неожиданно, так как мы не только были приговорены Верховным Трибуналом к «строжайшей изоляции», но еще и самим ВЦИКом зачислены в списки заложников за «белые убийства», если бы таковые были... Во всяком случае и как бы это ни объяснялось, положение всех нас троих очень облегчалось.

МОСКВА. ВЫСЫЛКА ЗА ГРАНИЦУ

Я ежедневно — по будним дням — стал ходить в город. Для формы и за подписями о своем присутствии на работе я, сперва ежедневно, а потом лишь иногда, заходил в Университет, большую же часть времени я проводил у своих па их новой квартире в Малом Ржевском переулке, около Поварской; из дома Соловых на Новинском бульваре их принудительно выселили, и им редкостно посчастливилось найти хотя бы и не очень хорошую квартиру.

Полтора года я не видел Москвы — срок сравнительно небольшой, но в такие революционные периоды можно, как во время осады городов, считать месяц за год, если не больше... Москва страшно переменилась во всем. Когда я садился в тюрьму, тип «бывшего человека», или «недорезанного буржуя», встречался куда чаще на улице, чем теперь. Прошлое, во всех видах, уходило в историю с невероятной быстротой. Так быстро сохнет песок после отлива моря: трудно даже поверить, что тут еще так недавно была вода... Как растаяла за эти 30 месяцев старая Россия! Те, кто жил в Москве день за днем, не могли заметить перемены столь резко, как я, вернувшийся из другого мира.

Кроме того, резко переменилась вся политическая обстановка. Я попал в тюрьму во время гражданской войны, со всеми ее надеждами... Теперь — большевики уже бесспорные победители. Для меня лично эта перемена была наиболее значительной, для большинства же других на первый план выступило другое противоположение, конечно, тоже немаловажное: период «военного коммунизма» сменился периодом НЭПа. Многие, очень многие возлагали на него радужные надежды и считали, что я утратил всякую гибкость ума и ожесточился в тюрьме, когда я говорил, что не для своего личного удобства, а для России, я предпочел бы продолжение «военного коммунизма»,— он был тяжелее для населения, но при нем было больше надежд на освобождение... Многие же считали, что именно НЭП — заря освобождения. В этом отношении — с противоположных точек зрения — я сходился с оценкой Ленина. Он боялся продолжения старого курса политики, а я на него надеялся; он надеялся, что НЭП даст коммунистам передышку, а я этого боялся... Меня совсем не удовлетворяла мысль, что «мы с Лениным» оказались правы (как я был бы рад, если бы мы с ним ошиблись!), но признать это приходится: Ленин поступил мудро для большевиков, учредив НЭП.

Я уже говорил, что кроме моих — фиктивных — университетских работ по приведению в порядок архива Л. М. Лопатина я еще немного занимался анкетами в семьях малолетних преступников. Случаев для таких анкет было вообще довольно мало, да и не все такие случаи попадали мне. Огромное большинство наших воспитанников были либо «беспризорные» — наследие военного беженства и революции, либо жили «по липе», то есть по фальшивому паспорту: если у них и были семьи, они это скрывали. Только у немногих числились семьи, и только если они жили в Москве, мы ходили туда для анкет. При этих анкетах я увидел другую сторону жизни наших «малолетних», картину тоже очень непривлекательную и тяжелую... Я уже говорил, что Сережа Мансуров звал меня «человеком до Достоевского», но зато какими массивными дозами «достоевщина» вливалась в мою жизнь в это время!

Помню один случай, только косвенно связанный с моим «анкетированием», но особенно ярко рисующий совершенно невероятные нравы того времени. Это была Россия под господством «бесов»!

Я шел делать анкету куда-то на окраину Москвы, где я до тех пор никогда не бывал. Я проходил через полузаброшенную товарную станцию: поездов ходило тогда очень мало. Вдруг я слышу женские крики. Какая-то баба в платочке плачет и просит ей помочь... Несколько человек, в том числе я, к ней подошли. Она приехала откуда-то в Москву в товарном вагоне (случай тогда обычный). У нее был ребенок и несколько кульков вещей. Она вышла из вагона с ребенком и одним кулем, перенесла через рельсы, положила куль, а на него ребенка, «около этой самой стены», и пошла за остальными кулями. Прошло несколько минут, но за эти минуты и куль и ребенок исчезли. «Хоть бы вещи одни, проклятые, взяли,— вопила баба,— хоть бы ребенка оставили!.. И на что им ребенок-то?!» — «Действительно, на что им ребенок-то?» — поддакивали слушатели...

Я пошел на станцию за милицейским (революция переименовала полицию в милицию) и привел его к бабе. Она все снова рассказала ему.— «Ну, а ребенок-то твой завернут был во что?» — спросил милицейский.— «В одеяло».— «А одеяло-то хорошее?» — «Хорошее».— «Ну, тогда понятно,— спокойно произнес страж порядка,— одеяло-то они и украли».— «А ребенка-то зачем унесли?» — «А как же, они спешили, развертывать времени не было... потом выбросят: на что он им нужен?.. Это уже не впервой здесь так: одеяло украдут, а ребенка выбросят...» — «Надо искать его!» — закричала мать.— «Ищи... а

где его сыщешь? Они его, небось, не на виду бросят, это им опасно... Вот одного потом на свалке нашли...» — «Живой был?» — спросила мать.— «Куда там,— спокойно ответил милицейский, — живым ли, мертвым ли бросили,— не знаю, а когда нашли, собаки уж половину его обглодали... Нет уж, пропал ребенок твой, нечего и говорить. Ну, не плачь, мы его все-таки поищем»,— добавил он.

Быстрое разложение всего прошлого коснулось тоже, конечно, и быта нашей семьи. Я был арестован и увезен в ВЧК из нашего прежнего солововского дома, где мы были очень «уплотнены», но где хотя бы видели поломанные и потрепанные рамки прошлого. Теперь я застал Мама и Соню в дрянной маленькой квартирке «необитаемого» для нас раньше типа. На этой новой квартире они были опять «уплотнены» советским служащим и его сожительницей — легких нравов, да еще и воровкой, она их сильно обворовала. К довершению беды, в другом месте пропали ценные бриллианты Мама. О каком-либо заработке Сони нельзя было и думать, вследствие ее здоровья. Она и раньше серьезно не зарабатывала, а тут врачи еще нашли у нее начало туберкулеза... Я сидел в тюрьме и был только экономическим грузом для семьи («передачи»)... Но тут тот самый НЭП, который я считал вредным для судеб России, лично мне помог и при этом неожиданным для меня образом.

В один прекрасный день, когда я вернулся в тюрьму «из Университета», а на самом деле — из дому, меня вызвали в канцелярию и сообщили, что завтра утром меня «под стражей» должны вести в Народный Комиссариат Земледелия по вызову пом. народного комиссара Ш. (помню только начальную букву его немецкой фамилии)[1]. Очевидно, он узнал обо мне через Леонтьева, откомандированного уже раньше из тюрьмы для работы в «Наркомземе».

[1]Вероятно, А. Г. Шлихтер.— Прим. ред.

Итак, на следующий день я со стражником отправился в Комиссариат Земледелия и там предъявил мой вызов. Через несколько минут меня вызвали к заместителю наркома земледелия Ш. (Как я узнал позже, Ш. был очень оригинальный большевик, до некоторой степени вроде наркома иностранных дел Чичерина. Он был Сыном генерала и воспитывался в Пажеском Корпусе, откуда был исключен за революционные идеи. Давно» отрекшись от семьи, он сделался политическим эмигрантом и большевиком. Теперь он занимал видное положение. Во всяком случае, ему надо отдать справедливость — он был человек идейный, а не большевик-карье-рист, каких много развелось со времени прихода коммунистов к власти. Такие

люди, конечно, симпатичнее беспринципных оппортунистов, но для России они были, пожалуй, опаснее.)

Ш. любезно поздоровался со мной (это был не Крыленко) и, усадив в кресло, спросил: «Вы, Сергей Евгеньевич, были уже на советской службе?» — «Нет, не был».— «Почему? По принципиальным соображениям?» — «Да».— «Но, вот видите, дело теперь несколько иное. Во-первых, гражданская война кончилась, а во-вторых, дело идет о вашей службе не в правительственном учреждении, а во вновь образуемом автономном Государственном Сельско-Хозяйственном Синдикате («Госсельсиндикат»), куда должны войти все губернские тресты совхозов. Будучи управляющим делами этого Синдиката, вы не будете считаться советским служащим (это, конечно, была фикция!). Именно эту должность я вам предлагаю занять. В правление Синдиката войдут, между прочим, некоторые ваши знакомые — Леонтьев, только что давший мне свое согласие, и Чупров... других вы не знаете» (коммунисты). (На аналогичную должность в другом учреждении был только что назначен из нашей тюрьмы Д. М. Щепкин.)

«Вы агроном?» — спросил меня Ш.— «Нет, я историко-филолог».— «Гм... но вы помещик и имеете нонятие о сельском хозяйстве?» — «Да, я помещик и в хозяйстве кое-что понимаю»,— ответил я.

В результате этого разговора и переговорив с друзьями, я дал согласие занять предлагаемую должность, но все трое мы попросили, чтобы Комиссариат возбудил бы перед ВЦИКом ходатайство о предоставлении нам права «для пользы службы» жить не в тюрьме, а в городе. Сравнительно скоро ходатайство это было удовлетворено, и мы попали в довольно оригинальное положение (не привыкать стать). По документам мы значились заключенными в Таганской тюрьме, но имели право жить в городе, «не занимая особой комнаты» (!). Мы были обязаны каждую неделю, в определенный день, регистрироваться в тюрьме и, кроме того, мы трое были связаны между собой круговой порукой, на тот случай, если бы кто-нибудь из нас скрылся. Условие «не занимать особой комнаты» (квартирный кризис) было для нас не так страшно: Леонтьев и Щепкин поселились в комнатах их жен, а Мама и Соня имели две комнаты — общую их спальню и столовую, в которой я и поселился. Служащие в Госсельсиндикате оплачивались, по тем временам, исключительно хорошо, и, считая в золоте или в твердой валюте, я далеко не получал потом в эмиграции такого высокого вознаграждения, как тогда. Это было для нас более чем кстати.

Госсельсиндикат — было одно из тех новых учреждений,

которые возникли в то время по принципам НЭПа. В эпоху «военного коммунизма» жили безо всякого хозяйственного расчета, и декреты стремились вогнать всю хозяйственную жизнь страны в прокрустово ложе «социализма». Обжегшись на этом, теперь повсюду заговорили о «хозрасчете» и, взявши наружную форму успешных крупных капиталистических хозяйств и трестов, решили декретами же вгонять государственное хозяйство в новые формы, но, по существу, наполненные тем же коммунистическим содержанием. Напрашивалось сравнение с басней «Квартет» и вспоминалось ее заключение: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»

Подчас забавно было видеть, как некоторые коммунисты, еще вчера считавшие, что слова «хозяйственный расчет» — «попахивают капитализмом», теперь с головой ушли в него, но чрезмерным планированием убивали живую ткань хозяйственной жизни.

Председателем нашего Правления был еще молодой идейный коммунист, Демченко. Как я слышал, он был недоучившийся студент-медик. Это был человек безусловно честный и даже симпатичный. По отношению ко мне он вел себя более чем безупречно и, как я скажу далее, я ему многим обязан: Кроме него, в Правление входили «буржуи»: мой приятель Леонтьев и Чупров (последний — человек умный и с большим хозяйственным опытом), а также два коммуниста—один из многочисленных братьев Кагановичей, брат «великого» Кагановича, занимавшего и занимающего очень крупное положение в СССР, и Уралов, человек определенно чекистского характера. Многих в многочисленный персонал Синдиката мы с Леонтьевым набрали по нашему выбору, из известных нам людей. Другие были назначены к нам из Комиссариата Земледелия. Понятно, как и всюду, среди них были «сексоты» (секретные сотрудники ЧК). С этой точки зрения приходилось гораздо больше опасаться не «партийцев» (коммунистов), а «беспартийных» и даже «белых». Но мы с Леонтьевым никакой «политикой» здесь не занимались — глупо было бы в нашем положении «конспирировать»! — и агентов ЧК мы не боялись. Я опасался за некоторых наших служащих, ведших иногда слишком неосторожные разговоры. В частности, один почтенный мировой судья никак не мог привыкнуть к мысли о возможности существования у нас «сексотов» и даже провокаторов; сколько раз я призывал его к осторожности... Мне, отбывающему наказание контрреволюционеру, было бы смешно, если бы я даже этого хотел, драпироваться в тогу «сменовеховца», но публичных политических разговоров я избегал.

Однажды Демченко поставил меня в затруднительное положение: войдя в мой кабинет с каким-то другим коммунистом, он с улыбкой дал мне русскую «белую» газету, издаваемую, помнится, в Болгарии. Там я прочел хамски-разухабистую статью — «Собаке — собачья смерть», написанную по случаю смерти... Ленина! Надо сказать, что в то время Ленин еще преблагополучно жил и принимал самое деятельное участие в государственных делах. Меня очень неприятно поразила неосведомленность белых, а кроме того хамский тон статьи, говорящей о Ленине как о дураке и ничтожестве. Именно потому-то он и был так опасен, что он не был ни тем, ни другим! Демченко меня спрашивает: «Ну, как вам нравится ваша газета?» Как ему ответить? Единомышленнику я просто выругал бы газету, но сделать это перед коммунистами мне не хотелось, чтобы они не подумали, что я «подлаживаюсь»...— «Мне противно видеть в белых газетах тон ваших». Демченко засмеялся: «Вы неисправимы, Сергей Евгеньевич!» Но быть может, за эту самую неисправимость он меня уважал и доказал это потом на деле.

Среди случаев, бывших со мною во время службы в Госсельсиндикате, мне припоминается сейчас следующий. Курьер докладывает, что меня желает видеть председатель калужского Треста Совхозов (коммунист). Войдя в мой кабинет и осторожно оглянувшись, председатель попросил меня устроить, чтобы его Тресту было увеличено ассигнование. В виде аргумента он добавил: «Ваше имение в нашем Тресте и если вы увеличите наше ассигнование, мы сделаем в него крупное капиталовложение...» Что это было; предложение мне весьма проблематичной взятки, или — провокация? Я ответил, что ассигновки уже утверждены и вообще меня не касаются...

Как я уже говорил, тогда я никакой политической деятельностью не занимался, считая, что в моем положении это было бы просто глупо и безо всякой пользы подводило бы не только меня самого, но и других. Однако, справедливо считая их совершенно не политическими, я иногда бывал на собраниях по религиозным вопросам, которые устраивал на своей квартире католик (восточного обряда) о. Владимир Абрикосов. Там собирались католики и православные. С католической стороны, кроме хозяина, бывали папский протонотарий о. Федоров, Д. В. Кузьмин-Караваев (тогда еще мирянин) и др. Со стороны православных бывали: московский викарий епископ Илларион, прот. Арсеньев и другие священники, а также миряне, как то Арбузов (бывший директор департ. общих дел мин. внутренних дел), кн. С. Д. Урусов (бывший товарищ министра внутр. дел) и др. С докладами на этих собраниях я никогда не выступал, но

иногда участвовал в прениях. Целью собраний было взаимное ознакомление православных и католиков и рассмотрение вопроса об условиях, при которых мыслилась бы возможность соединения Церквей (вопрос этот, разумеется, нами практически не ставился и от нас совершенно не зависел). Мне тогда не приходило в голову, что участие в этих собраниях ГПУ может поставить мне в вину.

Однако в одну прекрасную ночь, летом 1922 года (помнится, в июле) в мох» комнату вошел комиссар ГПУ. Он произвел обыск, понятно безрезультатный, и арестовал меня. Опять меня повезли на автомобиле в ту же знакомую «Внутреннюю тюрьму» на Лубянке; переменилось только название: было ВЧК, теперь стало ГПУ.

Я сначала совершенно не догадывался, за что именно меня арестовали, да и потом, когда следователь говорил мне о религиозных собраниях, это было как-то «сбоку-припеку» и не очень серьезно. Может быть, это послужило поводом к моему аресту, но вряд ли основной его причиной.

Меня посадили на этот раз в общую камеру, где я снова встретился с Митрополитом Кириллом Казанским, с которым простился в Таганской тюрьме. Кроме того, из знакомых там был философ С. Л. Франк и несколько незнакомых: кооператор, офицер-артиллерист, студент и др.— смесь, которая может показаться необычной только человеку, не знакомому с практикой ВЧК — ГПУ. С Франком мы были арестованы в одну и ту же ночь, в он тоже не догадывался о причинах ареста. На собраниях у о. Абрикосова он не бывал. По-видимому, в эту ночь было много арестов — «большая операция», как говорят чекисты, — и Франк и я, подъезжая в разное время ночи к тюрьме, видели несколько подъезжающих туда же автомобилей, очевидно с арестованными.

Кажется, через день я был вызван на первый допрос и, идя туда, встретил возвращающегося с допроса

Н. А. Бердяева. Какое-то поветрие на философов! — подумал я.

Попал я к довольно тупому следователю, который не умел толком ставить вопросы и еще хуже понимал ответы. Так, на обычный вопрос: «Как вы относитесь к советской власти?» — я ответил; «С интересом наблю- -даю за ее развитием».— «Значит, записать, что вы ей сочувствуете?» — с недоумением спросил следователь.— «Нет, я прошу вас точно записать мой ответ; хотите, я вам его продиктую?» — «Что-то непонятное...»ˆ— бормотал следователь. Потом он предъявил мне обвинение в том, что я бывал на собраниях у о. Абрикосова. Я не отрицал этого,

сказав, что не вижу здесь никакого преступления против советской власти, но отказался назвать других участников собраний.

«Вы привлекаетесь по статье такой-то за контрреволюционную деятельность,— заявил мне следователь,— наказание высшее (расстрел)».- «Привлекать меня вы можете по любой статье, но от этого я не более виноват»,— сказал я... Водворилось довольно продолжительное молчание... Вдруг следователь, можно сказать, совсем огорошил меня. «А не желаете ли вы вместо этого уехать за границу?» — спросил он. Надо знать общую обстановку в те времена, чтобы понять всю чудовищную неожиданность такого предложения. Получить разрешение на выезд за границу было почти невозможно даже для самого безобидного советского гражданина; я же был присужден к «строжайшей изоляции», числился заключенным Таганской тюрьмы и, вдобавок, был одним из заложников за «белые убийства»...

Я был поражен. А следователь продолжал: «Право, поезжайте!.. Подумайте, как вы здесь живете: все по тюрьмам, а сейчас мы вас опять по статье с высшим наказанием привлекаем... А там — брата встретите, Петра Бернгардовича (он говорил о Струве), других... Вам рады будут и ценить вас будут на вес золота. А тут вы пропадете... Вот прошение о визе в Германское консульство — подпишите...»

Если я раньше совсем не понимал, куда гнет следователь, и все искал и не находил подвоха, то тут меня внезапно осенила мысль (совершенно неправильная), что ГПУ почему-то надо найти доказательство, что я собираюсь убежать за границу. Конечно, при желании бежать подавать в консульство прошение о визе было бы весьма мало целесообразно, но все же «нахождение при обыске» в моих бумагах такого заготовленного прошения могло, думал я, входить в планы ГПУ. Вместо того чтобы подделать мою подпись, ГПУ хочет побудить меня самого подписать этот опасный для меня документ... «Я не хочу подписывать это заявление»,— сказал я.— «Почему же?» — «Я вообще не хочу уезжать из России, а кроме того, я не могу бросить здесь на произвол судьбы мою семью».— «Ну, об этом не заботьтесь,— сказал следователь,— при желании ваша семья может следовать за вами...»

«Скоро он пообещает мне выплатить миллион долларов за границей, если только я соглашусь подписать это прошение,— подумал я.— Чего стоят все эти слова и обещания?»

«Нет, я во всяком случае не хочу уезжать из России»,— сказал я.— «Что мне с вами делать? — развел руками следователь,—

другие радуются, мечтают уехать; а вы предпочитаете в тюрьме сидеть и по расстрельной статье привлекаться! Не поймешь вас!»

Так мы друг друга и не поняли, и я был снова водворен в камеру. Когда я тотчас же подробно рассказал о своем допросе Митрополиту и С. Л. Франку, оба были удивлены не менее моего и не понимали, «что сей сон означает»...

Через некоторое время был вызван на допрос Франк и ему тоже было предложено выехать с семьей за границу. Однако его не привлекали по «расстрельной статье», а просто сказали, что его «направление» знается в СССР, нежелательным и ему предлагается ехать за границу. Франк, после моих рассказов, был более меня подготовлен выслушать такое предложение и ответил, что со мной все, что им угодно,— говорил он,— почему мне не попробовать? А вдруг они правда хотят выслать меня за границу?» С. Л. Франк был прав. Через несколько дней его снова вызвали на допрос, он подписал требуемые бумаги и вышел на свободу. Как я узнал впоследствии, все высылаемые проходили приблизительно через те же стадии сомнений, но, в конце концов, все подписали прошение о визах. Изо всей этой группы остался в тюрьме я один.

Прошло недели две и меня снова вызвали на допрос. На этот раз, кроме моего следователя, на допросе присутствовал заведующий одним из главных отделов ГПУ, видный чекист Артузов. Мне снова предложили назвать лиц, бывавших на собраниях у о. Владимира Абрикосова. «Ведь вы сам говорите, что преступления здесь никакого не было, почему же вы отказываетесь их назвать? Кроме того, они нам все известны. Мы хотим только, чтобы вы сделали благожелательный жест по отношению к нам».

«Я продолжаю считать, что преступления здесь никакого не было,— отвечал я,— но вы меня все-таки в нем обвиняете, поэтому я не хочу никому вредить и никого не назову».— «А если мы вам дадим гарантию, хотя бы за подписью самого Ленина, что никто из названных вами не пострадает, тогда вы их назовете нам?» — спросил Артузов.— «Я думаю, что мы доверяем друг «подумает». Он склонялся к тому, чтобы подписать прошение о визе: его положение, говорил он, было совсем другое, чем мое, и такой документ был ему куда менее опасен, чем мог бы быть мне. На мой вопрос, как бы он поступил на моем месте, Франк ответить затруднился. «В общем, они так или иначе могут сделать другу приблизительно одинаково...» — отвечал я с улыбкой. Артузов засмеялся, и больше вопрос о религиозных собраниях уже не поднимался.

Перешли опять к моему прошению о визе для выезда в

Германию. Мне вновь предложили его подписать. Я сказал, что, обдумав вопрос, я согласен подписать прошение в Германское консульство, но в несколько иной форме, чем мне предложенной. Следователь и Артузов переглянулись: «Как же вы хотите писать?» Я написал вводную фразу к трафаретному прошению о выдаче визы: такого-то числа следоватедь ГПУ мне предложил покинуть пределы СССР, ввиду этого я имею честь просить... и т. д. Если мои опасения правильны, думал я, такая форма прошения меня выгораживает.

Чекисты внимательно прочли русский текст моего прошения, отошли в сторону, переговорили между собой и потом Артузов сказал мне: «Ну ладно, будь по-вашему; все не хотите делать, как люди!..»

Позднее я узнал, что из-за моей формулы прошения мне чуть не было отказано в визе. «Германия — не место ссылки» — говорил немецкий консул. Но через друзей, имевших связи в консульстве, слава Богу, удалось все уладить. А с другой стороны, как я тоже узнал только впоследствии, мое нежелание подписать прошение о визе чуть не привело к замене ГПУ моей высылки за границу ссылкой на Соловки... К счастью, мое «хитроумие» и упорство не имели для меня таких тяжелых последствий.

Я тогда же заявил следователю, что со мною наверное поедут за границу моя мать и сестра, но также, «очень возможно», поедет и «живущая на моем иждивении» (это было неверно!) двоюродная сестра с ее ребенком, но я должен прежде узнать ее окончательное решение...

Дело в том, что я решил использовать свою высылку, чтобы помочь выехать за границу к мужу моей двоюродной сестре Соне Щербаковой (рожд. Новосильцевой) с ее маленьким сыном. Вся история с Соней была тоже довольно типична для того времени. Во время Мировой войны Соня Новосильцева была сестрой милосердия на фронте и там познакомилась с молодым студентом-юристом А. Щербаковым. Позднее Щербаков пошел вольноопределяющимся в артиллерию и скоро был произведен в офицеры. Он доблестно проделал Корниловский поход и вообще «Белое Движение». Соня вышла за него замуж и у них родился сын. Между тем, после крымской эвакуации армии Врангеля Щербаков со своей частью попал за границу, Соня же с ребенком застряла на Кавказе. Легально уехать за границу к мужу она, конечно, не могла. Чего только она ни пыталась делать, чтобы уехать! Так, например, она фиктивно — «по-советски» — вышла замуж за старого лавочника-армянина, турецкого подданного, уезжавшего с Кавказа к себе на родину. Но и это не удалось: армянина через границу турецкую пропустили, а ее — нет.

Зная желание Сони уехать к мужу каким угодно способом, я и заявил ГПУ, что она состоит «на моем иждивении» (непременное условие) и, вероятно, пожелает уехать со мной за границу. Соня просто уцепилась за мой план и ей, слава Богу, таким образом удалось соединиться с мужем. В Германии Соня бросила ненужную ей более армянскую фамилию, которая ей так и не помогла, и восстановила свою настоящую. Все это может казаться теперь взятым из плохого романа-фельетона, но на самом деле это было*так,* и случай Сони Щербаковой казался тогда не столь уж исключительным.

Когда после последнего моего допроса, на котором я подписал прошение о визе, я вернулся в свою камеру, Митрополит Кирилл не поверил, что меня действительно высылают за границу. Он, конечно, не сказал этого мне, но я видел, что он считает куда более вероятным, что меня расстреляют. Для проверки того, что меня действительно освободили, он просил меня сходить в монастырь, откуда ему приносили «передачи» (еду и белье). Я должен был там попросить в препроводительной записке к следующей передаче пометить «хлеб» не как обычно, на первом месте, а на последнем. Таким образом Митрополит в тюрьме мог узнать, что я жив и на свободе. Я так и сделал. Еще раз встретиться с ним мне не было суждено: он скончался в ссылке, когда я был уже во Франции. С достойной простотой и твердостью нес он свой крест до конца, подавая пример многим и являясь немым укором тоже для многих... Мне навсегда останется памятным его последнее благословение, когда меня выводили из камеры.

Перед тем, как выпустить меня из тюрьмы ГПУ, мне дали подписать бумагу, где мне объявлялось, что я высылаюсь из пределов СССР — без обозначения срока высылки — и что, если я вернусь в Советский Союз, я подлежу расстрелу, который будет приведен в исполнение первым же органом власти, в руки которого я попаду... Кроме того, мне было приказано, до самого выезда моего за границу (задержка с визами) ежедневно являться в ГПУ вместе с другими высылаемыми для получения указаний относительно нашего отъезда.

Уже «на воле» я познакомился со статьей Троцкого (тогда находившегося еще на вершине власти) «Превентивное милосердие», бросавшей свет на происходящее с нами. Советская власть, писал Троцкий, победила всех своих внутренних врагов и жалкие остатки их ей не страшны. Однако мы можем быть уверены, что эти уцелевшие внутренние враги непременно примкнут к внешним врагам Республики, если дело дойдет— что не исключено в будущем — до столкновения с ними. Конечно,

наши внутренние враги и тогда не будут нам опасны, но мы все же принуждены будем их тогда уничтожить И вот превентивное милосердие (отсюда и само заглавие статьи) побуждает нас заранее выбросить из пределов страны эти остатки наших внутренних врагов. Так говорил Троцкий... Эта статья объясняла кое-что, хотя далеко не все, в нашем положении. Во всяком случае, можно отметить, что опыт «превентивного милосердия» был в СССР очень скоро прекращен. «Недобитых врагов народа» было выслано из Советского Союза всего несколько больше сотни и на этом дальнейшие высылки прекратились. Да и в числе высылаемых были лица, неизвестно за что изгоняемые. Зная методы ГПУ, невольно напрашивалась мысль, не пытается ли оно, пользуясь случаем высылки, ввести в среду нашей эмиграции еще новых своих агентов, примешанных к составу высылаемых и получающих тем самым ярлык патентованных «контрреволюционеров»?

Мы деятельно готовились к отъезду. Для этого прежде всего требовались деньги, так как мы должны были ехать на свой счет, и деньги по тогдашним понятиям не малые. За пароходный билет от Петербурга до Штеттина надо было платить, помнится, не то восемь, не то одиннадцать английских фунтов (тогда еще не девальвированных). Нам надо было спешить и, хотя бы за гроши, продавать, что было возможно, из того немногого, что у нас еще оставалось. Кроме стоимости проезда, надо было иметь хоть немного денег хотя бы на первое время за границей, до того как мы там устроимся. Вывозить с собой ценностей мы имели право не больше как по двадцать пять золотых рублей на человека, то есть чрезвычайно мало. Мы, понятно, ухитрились пользоваться и нелегальными способами для перевода наших небольших денег за границу, и друзья наши нам много помогли в этом отношении. В смысле денег мне совершенно неожиданно очень помог Госсельсиндикат, в лице председателя его правления Демченко, о котором а сохранил благодарную память.

Оказалось, что как только меня арестовали для высылки, Госсельсиндикат получил грозную бумагу от ГПУ. Последнее высказывало удивление, что такого «контрреволюционера», как я, держали там на такой должности, как управляющий делами (будто ГПУ не знало об этом с самого начала!). ГПУ предписывало считать меня уволенным со дня моего ареста. Однако когда я явился в Госсельсиндикат, Демченко предложил мне начать хлопоты, чтобы меня оставили в Советской России на его поруки. Я поблагодарил его и отказался, сказав, что я не собирался эмигрировать, но раз меня высылают, я не хочу просить, чтобы меня оставили на родине. «Я и ждал такого

ответа»,— сказал Демченко. И прибавил, что все распоряжения о моем расчете им уже сделаны. В финансовом отделе, куда я направился для получения расчета, меня ждала приятная неожиданность: мне не только было приказано выдать содержание за все время моего заключения, но еще за два месяца вперед, как полагалось только увольняемым «за сокращением штатов». На мой удивленный вопрос заведующий финансовым отделом тут же сказал мне, что таково распоряжение Демченко. Он тут же сказал мне, что это распоряжение сделано в прямое нарушение требования ГПУ, о котором Демченко не сказал мне ни слова. Хотя я уже простился с Демченко, тут я, не взяв денег, снова пошел к нему и обратил его внимание на опасность, которой он лично подвергается от ГПУ, производя со мной такой щедрый расчет наперекор чекистам. Конечно, формально ГПУ не имело права вмешиваться во внутреннее дело расчета со мною Госсельсиндиката, но все знали, что власть ГПУ, в сущности, не имеет границ. Демченко рассердился на заведующего финансовым отделом за то, что он рассказал мне про бумагу ГПУ, и, поблагодарив за мое отношение к нему в этом деле, настойчиво просил не отказываться от «заштатных денег». Я их взял, и эти деньги нам очень помогли. Я сохраняю благодарную память к Демченко за его исключительную заботливость и благородное поведение по отношению ко мне. Во всяком случае, он мне доказал, что и среди коммунистов могут быть высокопорядочные люди.

Почти весь персонал Госсельсиндиката— «буржуи» и коммунисты — очень тепло простились со мною и пожелали мне много хорошего в дальнейшей жизни. Только очень немногие — при этом именно из «буржуев»! — постарались избегнуть прощания со мною как с «высылаемым», и, кажется, только один коммунист и чекист Уралов прошел мимо группы прощающихся со мною служащих, демонстративно подчеркивая, что *он* прощаться со мною не желает. В сущности, я должен быть ему благодарен: я избег рукопожатия чекиста.

(Маленькая забавная подробность: когда я был арестован ГПУ и посажен во Внутреннюю тюрьму, я, понятно, не мог явиться на недельную проверку в Таганскую тюрьму. Поэтому там хотели вновь арестовать и заключить в тюрьму Щепкина и Леонтьева, связанных со мной круговой порукой. Только после долгих сношений с ГПУ причину моей неявки сочли уважительной и моих друзей оставили в покое.)

Не только наши родные и друзья, но даже почти незнакомые люди старались всячески помочь нам в это время. Все мы видели к себе исключительно трогательное отношение. Кстати скажу, что

английская миссия (посольства тогда еще не было) любезно предложила мне предоставить автомобиль для поездки на вокзал: вопрос транспортных средств стоял тогда очень остро. Я горячо Поблагодарил, но просил не посылать автомобиля. Шутя я сказал, что, приехав на вокзал на английском автомобиле, я боюсь продолжить свое путешествие не в поезде — в Петербург, а на чекистском автомобиле — во Внутреннюю тюрьму...

Нам все-таки суждено было уехать на вокзал на автомобиле: Ника Авинов устроил для нас кооперативный грузовичок.

Последние дни перед отъездом были очень тяжелы и волнительны: в душе беспорядочно клокотали противоречивые чувства. Мне скорее хотелось уехать из Советской России, чем оставаться в ней, но то, что Тютчев остроумно называет Rausweh (тяга вырваться) в противоположность Heimweh (тяга, тоска по родине), все же не уничтожало последнее, и я смутно чувствовал, что расставание с Родиной будет очень надолго, если не навсегда...

Мне хотелось увидеть за границей брата Сашу, дядю Гришу Трубецкого и многих других, но и разлука с остающимися близкими была мне тяжела... Чувства были сложны и боролись друг с другом, но все же я ясно сознавал, что если бы мне вдруг сказали, что наша высылка отменяется и мы остаемся в Москве, это было бы для меня большим ударом. Но *ликования* от отъезда, которого ожидали и даже как бы требовали от меня многие (особенно дядя Миша Осоргин), у меня совершенно не было... Не часто приходилось мне в жизни так ясно чувствовать, что переворачивается большая страница в нашей «Книге живота»...

Для высылаемых нашей группы и сопровождающих их семей был отведен целый вагон 3-го класса, однако в нем уже сидело несколько пассажиров, занявших места до нашего прихода; в пути ни одного пассажира в наш вагон не пускали, хотя некоторые и пытались в него залезть, а в вагоне были свободные места. По всей вероятности, «пассажиры», допущенные в вагон, были на службе ГПУ. В частности, недалеко от нас сидела женщина с грудным ребенком на руках. Ребенок был так укутан, что ни лица его, ни рук нельзя было видеть, но к тому же, в течение всего пути он не издал ни звука и мать его ни разу не кормила... На одной из станций, где наш поезд долго стоял, двоим из нас разрешили пойти за кипятком (вообще до Петербурга мы из вагона не должны были выходить). Ходившие за кипятком видели, как за столом в станционном буфете сидела ехавшая вместе с нами женщина в компании чекистов в форме, а ее «ребенок» стоял прислоненным к стулу. Надо отдать справедливость ГПУ, его методы обычно бывают гораздо тоньше.

Но что, собственно, хотели подслушать от нас чекисты? — это мне осталось непонятным.

В Петербурге нас встретило неприятное известие: немецкий пароход, на котором мы должны были плыть в Штеттин, почему-то отправлялся не на следующее утро, как это следовало, а только через два дня, и мы не могли тотчас на него грузиться, как мы рассчитывали сделать. Где же нам приткнуться на это время, как пропитаться? В те времена это были большие и жгучие вопросы. Но и тут нас выручило исключительно сердечное отношение со стороны совершенно незнакомых людей. Кто из высылаемых не имел в Петербурге родных или знакомых, могших их приютить, был тут же приглашен к себе чужими людьми. А надо понимать, что тогда означало приглашение к себе, да еще таких нежелательных людей, как «высылаемые». Помимо больших трудностей материальных, тут был еще риск попасть на замечание ГПУ. И однако нас всех немедленно пригласили. В частности, наша семья была приглашена заведующим, или помощником заведующего Публичной библиотекой. Это была интеллигентная семья, разумеется совершенно не болыпевизантствующая, но некоторые члены которой пострадали во время гражданской войны — как евреи — от Белой армии, нашей Армии... Чувства благодарности к нашим хозяевам, которые и стесняли себя и даже рисковали собой ради нас, смешались с чувством неловкости и даже некоторого стыда, хотя мы сами ни в чем не были виноваты перед ними... Мы и так хотели поскорее уехать, а тут каждый час нам был вдвойне тяжел...

Как в Москве перед отъездом я постарался обойти город и проститься с ним, так и тут я прощался с Петербургом, с его видами, памятниками, Эрмитажем...

Какая разница с Москвой! И тут и там на все легла печать большевизма, но легла она не одинаково. Старая московская жизнь была убита, но Москва все же интенсивно жила какой-то новой, чуждой и злобной жизнью, по все же это был живой город. Петербург же производил впечатление какого-то полумертвого царства. Старая жизнь была здесь убита, а новая еще не полностью завладела им. Петербург был как бы огромной, стильной барской усадьбой, из которой ушли старые хозяева и которую еще не освоили новые и чуждые ее духу пришельцы. По сравнению с Москвой, Петербург казался полупустым. Народа было мало, на улицах между камней пробивалась трава, и запущенность придавала дворцам и памятникам какую-то особую, щемящую красоту...

Я стоял перед памятником Петра Великого. Неужели дух его

не изгонит отсюда это мерзкое отродье? — думал я... Но может ли его дух бороться с большевизмом? Конечно, Петр—не большевик a la lettre, каким выставляют его некоторые, но все же духовная зараза, которая бушует сейчас по России, была и в его душе... Отход от Церкви, глумление над ней («Всепьянейший Собор»!), отрешенность ото всех традиций и даже ярая вражда к ним, дикая грубость, «брутальность», всех приемов, порой даже садизм (пытки сына, казни стрельцов)... Нет, думал я, не дух Петра призван бороться и победить дух большевизма: Медный Всадник, который *стяжелым топотом скакал*за безумным Евгением, не имеет духовной силы, чтобы вздыбить своего коня на раскосого Ленина, осквернившего и разрушившего его творение. Я стоял перед памятником, а по пустынной площади шли, в одиночку или маленькими группами, какие-то безличные, серые люди-термиты. Я вдруг почувствовал острый прилив Rausweh. Раз я ничего не могу здесь сделать, остается бежать отсюда, бежать, бежать скорее и не видеть...

Последний день, последние часы в России тянулись для меня, казалось, бесконечно... Я опасался того только, что вдруг что-то помешает нам уехать. До самой последней минуты наш отъезд продолжал мне казаться сверхъестественным и невероятным.

Но вот, наконец, наступил час погрузки на пароход. «Oberburgermeister Hagen» стоял на Невской пристани. Таможенный досмотр (количество вещей было строго ограничено и мы должны были заранее дать на утверждение их список), потом—погрузка. Мы сели на пароход днем, но он должен был идти только на следующий день рано утром. Вместе с нами на пароход взошли и несколько чекистов. Я говорю про чекистов в форме, секретные агенты, конечно, тоже были... Наши паспорта нам на руки выданы не были, они остались у чекистов.

Неужели мы все же уедем и ничто нас не задержит? Неужели это не сон? — думалось мне...

Я проснулся утром и посмотрел на часы. Было уже на несколько часов позднее назначенного для отплытия времени, а наш пароход все стоял на том же месте...— Что случилось? — Оказывается, капитан все еще не может добиться от властей разрешения на отплытие. — Почему? — Неизвестно. — Опять волнительное ожидание... Наконец мы трогаемся, но паспортов нам не передали и наши чекисты с парохода не сошли... Как? Почему? Ведь мы же не остановимся теперь нигде до Штеттина...

Вот вырисовывается Кронштадт и Толбухин Маяк. От нашего парохода на ходу отваливает лодка, в ней наши чекисты... Пароход ускоряет ход. «letzt konnen Sie ruhig Ihr Kaffee trinken,— говорит нам наш капитан.— Ihre Passe sind bei mir»[1],— и он

ударяет себя по нагрудному карману.

Тяжелый камень сваливается с моего сердца — слава Богу! — мы едем... В то же время нет и легкого чувства радости, щемящая тоска охватывает меня. Я впиваюсь глазами в последний краешек родной земли. Безнадежное серое небо, серое море, серый профиль маяка. Даже чайки почему-то кажутся серыми. Грусть, тоска, безнадежность!.. Но это — Россия, страна наших отцов и дедов. Сердце сжимается... Неужели навеки?! Нет! нет! — отталкиваюсь от этой мысли, а душу гложет тяжелое сомнение. Я надеваю на себя маску бодрости — для Других и, главное, быть может, для самого себя...

Помнится, три дня шли мы по Балтийскому морю. Я, как всегда на море, страдал от морской болезни, хотя качка была и небольшая.

Мы были в море в день именин Мама и Сони (17 сентября ст. стиля, 30 сентября нов. стиля). Писатель М. А. Осоргин (псевдоним, на самом деле—Ильин), тоже один из высланных, говорил витиеватую заздравную речь в честь всех многочисленных именинниц: «С нами Мудрость (София), Вера и Надежда, но нет — ...Любви, Любовь осталась там... в России!»

Ранним утром мы прибыли в Штеттин. На благоустроенной пристани стояло несколько упитанных немцев с толстыми, налитыми пивом животами...— «Ну, видно немцы за войну не похудели! — заметила Соня Щербакова,— у них все по-прежнему...» Конечно, это поспешное суждение было неправильно: в Германии за время войны очень многое изменилось, но для нас, приехавших из страны, пережившей катаклизм, менее резкие изменения в других странах могли казаться на первый взгляд несущественными, или даже несуществующими.

В тот же день поездом мы приехали в Берлин. И русские и немцы, знавшие о нашем прибытии, рассчитывали встретить в нашем лице жалкую, голодную и оборванную толпу беженцев. Как я потом слышал с нескольких сторон, их поразил наш «приличный» вид. Я думаю, они представляли себе нас такими, какими мы на самом деле были, когда нас «перегоняли» из тюрьмы в тюрьму в Советской России, но в Германию мы приехали сравнительно «буржуями». Всем нам удалось, относительно легко и скоро, более или менее прилично устроиться; до «ночлежек», слава Богу, никто не опустился.

Мне посчастливилось встретиться в Берлине со знакомым мне по Земскому союзу А. С. Хрипуновым. Теперь, в беженстве, он возглавил заграничные остатки Союза и как раз главный Комитет его только что переехал в Берлин. Благодаря Хрипунову мне

удалось получить в Союзе приличный по тому времени, для нищей Германии, заработок. Я — крайне скромно — но все же мог прокармливать и Мама, и Соню.

Я провез мать и сестру в Баден под Веной, где тогда жили со своей семьей дядя Гриша и тетя Маша Трубецкие, которые их звали к себе, и через несколько дней вернулся на службу в Берлин. В Австрию для свидания с нами приехал из Франции брат Саша. Он проходил довольно обычную беженскую карьеру: из ротмистра гвардейской кавалерии он сначала сделался кашеваром в беженском лагере в Константинополе, потом студентом в Пражском университете, где закончил свое прерванное юридическое образование, начатое в Московском университете, потом он стал вагоновожатым в Лилле и теперь надеялся сделаться шофером такси в Париже... Я был очень рад его видеть и нашел его, более чем ожидал, изменившимся и потрепанным жизнью. Кроме всех переживаний в связи с Гражданской войной, эвакуацией Армии и беженством, у него были еще тяжелые личные переживания — несчастная любовь. Мама была потрясена свиданием с ним и его состоянием. Слава Богу, Саша стал потом «отходить», и Мама стала несколько менее беспокоиться за него.

В Вене и особенно в Бадене под Веной мы попади в многочисленную и милую родственную среду.

Мой двоюродный брат и сверстник Котя Трубецкой был профессором Венского университета (славянская филология), в Вене же жил Дмитрий Капнист, в Бадене дядя Гриша и тетя Маша Трубецкие, с сыновьями и старыми графом и графиней Хрентович-Бутеневыми, а также Поля и Маня Бутеневы с их многочисленной семьей. Все встретили нас очень мило и сердечно, но особенно я начал сближаться с дядей Гришей Трубецким, которого я любил с детства, но раньше недостаточно знал...